

*НОВЫЙ
Журнал*

76

*THE NEW
REVIEW*

**THE
NEW REVIEW
Новый Журнал**

Основатели

М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН

С 1946-го по 1959-й редактор М. КАРПОВИЧ

Двадцать третий год издания

КН. 76

НЬЮ ИОРК

1964

РЕДАКЦИЯ:

Р. Б. ГУЛЬ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАСHEB

NEW REVIEW, June 1964

Quarterly, No. 76

2700 Broadway, New York 25, N. Y.

Subscription Price \$9. — for one year

Publisher: New Review, Inc.

Second Class Mail postage paid

at New York, N. Y.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Елена Ишутина</i> — Нарым	5
<i>Неизвестный</i> — Стихи о Камчатке	55
<i>Ив. Бунин</i> — Записи	76
<i>Иван Елагин</i> — Стихи	78
<i>Христина Керн</i> — Город А.	81
<i>Л. Волынцева</i> — Стихи	89
<i>Христина Керн</i> — Патетическая симфония	90
<i>Николай Туроверов</i> — Стихи	101
<i>Виктор Свен</i> — Волк. Тим.	103
<i>Вл. Злобин</i> — Стихи	113
<i>Георгий Адамович</i> — Оправдание черновиков	115
<i>Ирина Одоевцева</i> — Стихи	126
<i>Гайто Газданов</i> — О Чехове	128
<i>К. Померанцев</i> — Стихи	140

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>Галина Кузнецова</i> — Грасский Дневник	143
<i>С. Сатина</i> — Образование женщин в дореволюционной России	161

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>Н. Ясный</i> — Начало второго послесталинского 10-летия в сельском хозяйстве	180
<i>Д. Шуб</i> — О социализме наших дней	202
<i>Ю. Денике</i> — Воспоминания И. Г. Церетели	218
<i>Н. Тимашев</i> — О сущности советского государства	227
<i>А. Шик</i> — Первопечатник Федоров	234
<i>В. Семенов-Тянь-Шанский</i> — П. П. Семенов-Тянь-Шанский	244

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

<i>Переписка И. А. Бунина с ребенком</i>	260
--	-----

БИБЛИОГРАФИЯ:

Д. Чижевский — А. Шмидт. Вклад Брюсова в теорию литературы. *А. Боголепов* — А. Карташев. Вселенские соборы. *Н. Тимашев* — С. Тимошенко. Воспоминания. *И. Одоевцева* — Ю. Терапиано. Избранные стихи. *Д. Чижевский* — Л. Добровольский. Запрещенная книга в России. *Н. Тимашев* — С. Мельгунов. Воспоминания и дневники. *В. Варшавский* — Н. Зернов. Русское религиозное возрождение 20-го века. *Т. Фесенко* — А. Цивчинская. Незабвенное, немеркнувшее. *Д. Шуб* — С. Барон. Плеханов — отец русского марксизма. *А. Шмеман* — Никита Струве. Христиане в Советском Союзе. *Р. Плетнёв* — К. Пигарев. Жизнь и творчество Тютчева. *В. Завалишин* — Автобиография Рудольфа Нуреева. *Р. Гуль* — Андрей Седых. Замело тебя снегом, Россия. *Р. Гуль* — А. Кашина-Евреинова. Н. Н. Евреинов в мировом театре XX века 265

Н А Р Ы М

Дневник ссыльной

Это было так давно, а в ушах часто повторяется жуткий стук, раздавшийся ночью в дверь нашего дома. Николай открыл, и небольшую спальню заполнили трое вооруженных людей, один в штатском. Обыск. «Мы ищем оружия!» — «У нас нет оружия». — «Если бы не было, — мы бы не пришли». Прежде всего были изъяты все документы, некоторые фотографии и некоторые вещи, как например, фотографический аппарат. Все было разбросано, опрокинуто. Короткая реплика: «Жене можно объявить: — ваш муж переводится в другой район, будет работать по специальности, сможет писать письма и посылать посылки, адрес оставим, а теперь, приготовьте зимнее белье, одеяло».

Я уложила всё что можно в чемодан и связала ремнями постель. В пустой бумажник Ника положил выброшенную ими иконку Николая Угодника и мой любительский снимок. Простились тихо, не зная, что прощаемся навсегда. Проводить или помочь снести багаж не разрешили. Был уже рассвет. Через полчаса один из военных вернулся и спросил — хочешь ли быть вместе с мужем? Я сразу согласилась. «Собираться — 20 минут». Стала машинально класть в раскрытый чемодан белье и платья с деревянной вешалкой. — «Да что ты деревяшки берешь — бери что получше», — указал на висевший ковер. Поднял с пола один из разбросанных альбомов и положил в чемодан со словами: «захочется своих посмотреть». Сборы продолжались коротко — надо было спешить. Мама плакала, умоляя остаться: «ведь мы больше с тобой не уви-

Мы открываем эту книгу нашего журнала не художественной прозой, как обычно, а человеческим документом, дневником ссыльной. Мы делаем это, желая привлечь внимание наших читателей к этому человеческому документу исключительной ценности. Мы получили этот дневник с оказией из СССР от родственника Е. Ишутинной, которая недавно скончалась. РЕД.

димся». И мы простились тоже навсегда, не зная этого. Мама умерла через 2½ года. Уходя из дома, я увидела в передней пальто Ники. Разрешил взять. Придя на станцию ж. д., увидела вдоль ж. д. полотна массу людей с вещами. Меня присоединили. На вопрос, где муж, ответил: «потом будете вместе». Очередь росла, ежеминутно увеличиваясь. Подходили в одиночку, семьями, с большим багажом. Вскоре настал рассвет, но Нику я нигде не могла увидеть. Отойти было нельзя — нас окружали вооруженные люди. Недалеко от меня остановились знакомые — лесничий с женой. Мы обменялись взглядами. Через несколько минут лесничего очень вежливо увели, чтобы «дал несколько необходимых сведений». Когда он уходил, я обратила внимание, что одет он был крайне наспех, в истоптанной обуви. Примерно через час я вдруг увидела грузовой автомобиль с мужчинами и среди них успела различить нашего лесничего. Ники не видала. Мужчин изолировали. Но нас все время успокаивали, что по приезде мы все будем вместе. А вереница людей, в большинстве женщин и детей — все росла. Подъезжали подводами, на автомобилях.

Через несколько часов были поданы товарные вагоны-теплушки, со специальным отверстием вместо уборной. Громадный состав. Началась посадка и погрузка багажа. У многих было много вещей. Я была налегке. Я соединилась с О. И., и мы заняли место рядом, на верхней полке у узкого оконца за железной решеткой, которая мешала видеть происходящее на станции. «Пассажиры» продолжали прибывать и число охраны увеличивалось. По мере наступления дня, к нам стали приходить родные и знакомые «осужденных людей», приносили вещи, еду, «передачи». Постепенно число пришедших превратилось в большую толпу, стоявшую вдоль поезда. Но это были люди без оружия и их легко было остановить и отогнать оружием. Сестра моя получила разрешение у властей принести мне дополнительный багаж, в который она вложила все, что было в то время дома — деньгами, продуктами, платьем, бельем и даже дамский велосипед, оставленный у нас на хранение двоюродным братом. Этот велосипед впоследствии был обменян на хлеб, пополнивший нашу небольшую норму.

После проверки людей в вагоне, оказалось, что я лишняя, не числюсь. И только после того, как я категорически заявила, что я еду вместе с мужем — меня оставили. Двери вагонов снаружи заперли, ни войти, ни выйти было нельзя. Толпу провожавших заставили разойтись. Надо бы-

ло как-то устраиваться в новом жилище. Благодаря заботам сестры у меня оказался матрац, постельное белье. Разложив постель мы лежали или сидели на ней. Внизу, под нами были жильцы нижнего этажа. Из сундуков, чемоданов и простынь была сооружена уборная. Стояла ужасная жара, вагон был загружен людьми и вещами. Воздуха не было, а в уборной беспрерывно кто-то был. В вагоне судьба соединила людей с самыми разнообразными привычками и манерами и надо было ко всему приспособливаться.

Происшедшее всех оглушило и первую ночь многие пролежали с открытыми глазами. Не спала и я с О. И. Мы с ней были мало знакомы — сблизило сразу общее горе. Хотя тогда мы еще верили, что по приезде «в другой район» нас соединят с мужьями, но случившееся было сильнее нас и сон не приходил. На следующий день — это была суббота — с самого утра стали приходить родные и знакомые с утренними завтраками. Я сидела на своей постели у окна. Из толпы вышел молодой крестьянин и, получив разрешение, подошел к нашему вагону, протянув мне в оконце булку. Нервы были напряжены и, принимая булку от незнакомого человека, я заплакала. Это были последние минуты перед отъездом, часов около трех пополудни.

Многолюдная толпа провожавших была отделена от вагонов густым строем военных. Раздался сигнал, поезд медленно начал двигаться и в вагоне и в толпе остающихся раздался плач, последние слова, люди осеняли себя крестным знаменем, отдавая свою судьбу Тому, кто скрылся от нас на много дней. Ночевали в Волковыске. В воскресенье проехали Слоним, Барановичи, Столбцы. 19 июня в Минске во время остановки, неподалеку от товарной станции, по два человека, под конвоем вышли за кипятком. Раздалась стрельба, какие-то взрывы. Нас вернули без воды и поезд пошел с невероятной скоростью. Мы думали, что это маневры, т. к. не знали, что война началась и что наш эшелон бомбардировали немцы. Нас обгоняли многочисленные поезда с мелькавшими в оконцах человеческими лицами. 24 июня мы были в Смоленской области, ночевали в Вязьме. 25-го в Калуге была остановка, получили второй кипяток. Из встретившегося военного эшелона узнала о войне, бомбардировке Бреста. Кто-то из мобилизованных бросил нам в вагон газету. В час ночи была первая горячая пища и хлеб. 26 июня ночевали в Калуге. Второй горячий обед. Я была в числе выходящих по два из вагона за водой и хлебом. На наши вопросы, где мужья

— нам отвечали, что из Вязьмы мужчины уехали вперед к месту назначения, чтобы приготовить жилище. Появились поезда с беженцами, видевшими ужасы войны. А что же там дома с оставшимися?!

Эшелонов с беженцами встречалось все больше. Раненые, перепуганные люди, плач детей, мысль о судьбе близких, оставшихся там, неизвестная собственная судьба и тех, что уехали вперед, тревога за них, — не давала ни минуты покоя. Ехали с необычной скоростью для товарных поездов, нас неизменно толкало, подбрасывало и особенно чувствительно было ночью, в лежачем положении, когда вагоны с лязгом ударялись буферами, налетая друг на друга. Казалось, что поезд вот-вот сойдет с рельс.

В Туле встретили жителей из Волковыска, известие о боях в Бресте, Ломже, Минске. Ехали без воды и еды; в вагоне больные. К вечеру 28-го дали воду. 29 июня — Ряжск, Рязанской области. В 2 ч. ночи ходили на станцию с ведрами за обедом. Купили молока. В Пензенской области на станции простояли целый день. Ночь ехали, днем стояли. В Пензе никакого обеда не получили — поехали дальше. В нашем вагоне были брат с сестрой — оба подростка лет 15-16-ти, у них ничего не было, и вагон их подкармливал.

1-го июля были в Куйбышевской области на ст. Образцовое. В ларьке-вагоне покупали продукты. Из Сызрани тронулись вдоль Волги. На рассвете переезжали реку. В Самаре наш вагон купил подсолнечных лепешек и по $\frac{1}{2}$ кг. хлеба на человека. Во время остановки к поезду никого не пускали и жел. дорожные служащие на вопросы, на какой мы станции — не отвечали. Два раза мне удалось написать открытку домой и добрый смазчик спрятал открытку в шапку. Но открыткам этим не суждено было дойти по назначению.

5-го июля приехали в Омск, а накануне видели эшелон с знакомыми людьми из наших краев. Еще вчера были на краю Европы. Ехали с головокружительной быстротой. Мне порой казалось, что наш поезд слетит с рельс и упадет в реку (в каком-то месте мы ехали гористым высоким берегом, а внизу вилась река). В 9 ч. вечера пошли за 2 км. за обедом. Вернулись в 1.40 ночи. Все спали уже и надо было их будить есть остывшую бурду. Через несколько минут поезд тронется и от толчков расплещется всё, что есть. В течение 4-х часов полочки обеда удалось перекинуться не-

сколькими словами с весовщиком на станции. Сказал, что едем далеко на Восток.

7 июля утром приехали в Новосибирск. Простояли целый день и узнали, что дальше поедem пароходом. В 11 ч. вечера выгрузились из вагонов на пристань, погрузка продолжалась до 4-х ч. утра. Встречали восход солнца. Конвоя не было. Обедали на пристани. Все вздохнули свежим воздухом, вымылись, постирались, побывали у парикмахера. Погрузились в трюм большого парохода. 8-го тронулись, взяв на буксир большую крытую баржу, переполненную людьми. У многих началась морская болезнь. Свернули по притоку к югу, забрали пассажиров: гуралей, румын, евреев и вернулись на Обь. За деньги удалось получить ванну, прошла усталость, опухоль ноги уменьшилась. В трюме было переполнено, душно. Нестерпимая головная боль и рвота. За деньги мне удалось поспать на палубе всю ночь до половины 4-го, стало лучше. Утром вымылась, постиралась, высушилась и пошла за обедом и хлебом для нашего бывшего вагона (я была старшиной вагона). Прошли слухи, что первоначальное место назначения изменено, получено новое распоряжение, и поедem еще дальше. Никто ничего не знает и никто не скажет. Тревога за судьбу матери смешивалась с радостью, что по прибытии на какое-то место назначения, мы соединимся с мужьями. Мы терпеливо сносили все невзгоды путешествия. Кто-то из прислуги парохода сказал, что мы в 670 км от Новосибирска. Вторую ночь за деньги ехала на палубе 1 кл., сидя, затем до 7 ч. утра дремала в трюме. Ноги, руки и лица у всех невероятно распухли. На палубе разговорилась с бригадным машинного отделения — сибиряком. На вопрос: куда мы едем, ответил: «жаль тебя, заест мошка... через 10 лет выйдешь за остяка...» Но голова, как оглушенная обухом, не работает и предсказание не понятно.

Утро — стоим — маршрут неизвестен. Вдруг объявлена разгрузка людей частично с парохода, частично с баржи, около шести вагонов, плюс семейства, давшие подписку добровольного выезда (ремесленники): слесаря, кузнецы, часовых дел мастера и две еврейских семьи. Наше путешествие продолжается еще день-два. Там по прибытии на место узнаем о мужьях и соединимся с ними. Пристань, где стоим, называется Парабель. Городок около 500 домов. Среди пассажиров баржи есть проститутки и уголовные преступники из Риги. Во время постоев они стали ночью пробираться на пароход, начались кражи, хулиганство. Чемоданы мо-

ментально перекрашивались и отыскать их было нельзя. Установили дежурства, особенно ночью. Узнали о месте назначения: от пристани пойдем уже по притоку, по реке Парабель катером и там будем распределены по сельским советам. Там можно будет хлопотать о соединении с мужьями. Сведения о Нарымском крае: август лучше июля, сентябрь холодный, зима шесть месяцев, мороз 40°.

13 июля, 5 ч. утра. Опять мое дежурство. Ночью были кражи, спать негде, отправки нет, теснота, вши, воду надо брать из реки: к колодцу не пускают. День без кипятка и горячей пищи. Люди расположились на барже и в катере на 2-х этажах. Сверху сыплется песок, вши, проливают ночные горшки, падают дети, льет дождь. Кругом густая вязкая грязь, глина, ноги скользят. На сходнях нельзя удержаться.

14 июля. Сегодня день рождения Ники... Где же ты?! Ночь прошла в дежурстве по 3 часа, опять была кража. Пришел пароход. Ходили за кипятком. У меня ангина, лечь негде. Собрала после ночи вшей. Тоска, хочется уйти от гомона, грязи, ругани, крика детей, хочется лечь, протянуть ноющее тело. Ужас перед наступающей ночью, которая опять прошла в дежурстве по три часа. С прибывшим пароходом отправили наихудших по здоровью латышей, но еще не всех; готовили в котелках, горшках на берегу горячую еду, кто что мог. Удалось купить килограмм мяса у местных колхозников из Барнаула. Их сюда привезли 10 лет тому назад. Купили молока. Обещали уже отpravку. Записывают желающих остаться в колхозе. В 7 ч. вечера тронулись. Баржу тянул катер. Те же чайки, такие же жаворонки и вороны. Вода в Оби мутная, с глиной, в Парабели с виду совсем черная. Пароходом ехали 16-18 км. в час, баржей едем 5-6 в час. Где-то на пристани брали дрова. Бросили все вещи и все спали где и как кто мог, если это можно назвать сном. Все дети больны, плач и крик не смолкает. У меня видимо грипп, достала газету. Идут ожесточенные бои. Что с мамой? На барже переписывают семьи. Днем часа два стояли в лесу, набирали топлива. Кругом березовый лес, уже не мошки, а комары. Я первый раз за время дороги сошла по трапу из одной доски на берег в лес. Кругом цветы, аромат шиповника. Вдохнула душистый воздух, почувствовала под ногами землю; кругом чудесный мир природы, прекрасный, забыла о конвое... Ника, где же ты?! Перепись дошла и до нас. Переписали опять, уже который раз за время пути. Кругом разговоры, разные слухи... от них душно, хочется уйти от этого крика, а уйти некуда.

На барже лесно и только на палубе воздух чистый. Бесконечная очередь в уборную. Вечером помогала рулевой вертеть колесо руля. Она уже 8 лет ездит — украинка. Год тому назад в Новосибирске разминулась со своей дочкой и не могут найти друг друга.

17 июля. Вышли на палубу баржи. Пасмурно, но тепло, днем было солнце. Завтракали в 12 ч. дня. Около 4-х часов пожевали хлеба и стали складывать вещи — осталось часа два езды до места неизвестной новой пристани. В Парабели осталось 11 вагонов. Приехали в колхоз Тарск. Тяжелые вещи (у людей были тяжелые сундуки) привозили с берега на арбах, что можно люди таскали сами. Всех перевести не успели и несколько семейств, в том числе и я — остались на ночь на берегу реки. Зажгли костер, пекли картофель. От комаров прягались в клубах дыма. Бродившие лошади тоже приходили к нашему дыму, спасаясь от укусов комаров. Перевезенных людей поместили в здании школы с тем, что отсюда будут распределены по колхозам. Так выглядел «переезд в другой район и работа по специальности»... Записывали, набирали, отбирали, прибавляли, убавляли, а время шло. Томила неразбериха, усталость и сознание беспомощности и бессилия. Было горько, обидно. Пять раз меняли названия поселков, куда назначать. Часть вещей была в школе, остальное у реки.

19.VII. Утром объявили, что нас отправят за 40 км. Вещи на возах, сами пешком. Ни реки, ни почты там нет — это последний поселок, дальше в глубь — тайга. Туда уже отправили латышей. Я не хотела попасть туда — это еще больше и надолго затеряться. Там не будет возможности писать, действовать. И я, подавив свое чувство, попросила оставить меня здесь, где есть недалеко пристань, ходят пароходы. Ответили неопределенно — подождать до вечера. Делать нечего. Мы спали с О. И. по-очереди, карауля вещи. Обещали оставить нас здесь, в Тарске. И, наконец, около 9 ч. вечера в класс вошел, как потом оказалось, представитель колхоза, человек весь в веснушках, с птичьим лицом — Петр Ильич Кушнерюк. Он остановил свой взгляд на нас, внимательно оценивая наши пожитки (у обеих было по велосипеду), потом быстро посмотрев на нас, сказал военному: я беру эту — и указал на меня... а брат возьмет ту. Судьба наша была решена. Мы ждали. Через 2 часа наши пожитки были перетащены под новую крышу.

Это была суббота. Братья жили в домах совхоза, и мы радовались с О. И., что будем вместе. Прошел ровно месяц с

начала нашего пути. Мы вымылись с наслаждением в бане, был устроен общий ужин с хозяевами. Была водка и хмельная брага. После месячного конвоя, унижений, всего пережитого мы особенно почувствовали ласковую и сердечную атмосферу и гостеприимность хозяев, их русское радушие. В нас поднялся дух, мы почувствовали себя людьми. Следующий день — воскресенье из-за собрания вышел выходным. В понедельник хозяйка пошла косить. Председатель по своим делам, а нам новоприбывшим надо записываться в колхоз и идти на работу, можно жить свободной, за свой счет, если есть на что, но хлеба купить у единоличников почти нельзя.

Подали заявление о соединении с мужьями и отцами. Написали коллективное письмо и кроме того я отдельно. Хозяева уходят на работу. Я остаюсь дома хозяйничать: помогаю как могу и умею. Занялась своей стиркой. Июль, а вечера и ночи очень холодные. Днем неожиданно дует «северный» ветер. Закаты солнца необыкновенно красивы. К вечеру был сооружен мой топчан, т. к. я спала на полу в сенях. Меня приглашали в избу, но я предпочла спать в сенях одна, да и в избе, несмотря на чистоту, была масса прусаков (рыжие тараканы), ноги у детей были в ранах. Моя простуда (еще с Новосибирска) не проходила и спать в сенях было свежо, но я упорствовала.

24.VII. Устроила свою спальню в углу сеней, отделив ситцевой ширмой. Парила кипятком в избе тараканов, но много их еще осталось. Под вечер пошла поучиться «тяпать» картофель (окучивать), тяпала 3 часа и уже все болит. Завтра пойдем с хозяйкой с утра. Здесь нет людей без работы.

Первый раз за все время видела во сне Николеньку. Весь день был какой-то радостный — сон был настолько ясный, точно наяву видела Нику. Из соседнего поселка несколько человек удрало, устроили ночную перепись.

25.VII. Сегодня я «тяпала» картофель с хозяйкой 7 часов. Почва — сухая глина. Писать больше не могу. Двое детей заблудились в тайге. Искали всю ночь. Нашли утром. Ядовитая мошка впивается в тело (за уши, в уголки глаз, губ, носа) разъедает, тело пухнет и невероятно чешется. У меня все ноги в крови. Спасает сетка на голове и лице, смоченная скипидаром. Теперь нет в колхозе выходных дней, работают все в воскресенье. Подарила хозяйке чулки, подвязки и бусы (бусеры) и крестик.

28.VII. Хозяйка пошла в сельсовет за 20 км. получать посылку. Я хозяйничаю дома. Отвела детей (две девочки) в

ясли, накормила хозяина и иду в огород «тяпать» лук. Новое слово «шкурять» — жодить; пустить сало в суп — воду «утеплить». Мой кашель превращается в коклюш. Послушаю советов — пойду в субботу лечить простуду в бане... Захолустная газета доходит с опозданием два раза в неделю. Какая глушь! Сегодня просмотрела газеты за 5 дней. Пробовала удить рыбу, но в конце-концов пришла с купленной, так делают многие охотники. Почти всегда во время еды я думаю: что ест и ест ли Ника? Бедный ты мой! Завтра иду в тайгу за ягодами. Надо переправиться через реку лоджой, оттуда км. 7 необычной дорогой: овраги, кручи, навалены горы леса, крутые подъемы. Я ходила в сапогах. Вернулась почти без памяти от усталости. Ходила компания в 23 человека. Что-то укусило — распухла рука и все лицо. Кожа со спины вся сошла (окучивание картофеля).

1.VIII. Комендант поселка и милиционер призваны, а в поселке безвластье.

2.VIII. Все на работе. Я работаю дома; всяких заданий больше, чем времени. Чувствую себя очень усталой. Духота — будет гроза. Две недели жизни здесь, а мне кажется, что я здесь год. Убирала дома, работала на огороде, мыла детей, кормила свиней (колхозники имеют право иметь свою корову, кусочек огорода, держать свиней), била масло, носила воду из колодца, единственного на весь поселок. Чтоб достать воду — надо иметь не малую физическую силу, и мы с О. И. делали это сообща, т. к. в юдиночку не хватало сил. Мы попали в водоворот спешки. Все работают, все заняты, утомлены. В колхозе каждый старается выработать большую норму: от этого зависит его заработок; работают все мужчины и женщины и дети. Жители нашего поселка обосновались здесь 10 лет тому назад. Были как мы сняты с насиженных мест и сброшены с барж по реке. А наш «соседний район» оказался за 700 км. Хозяева, пережив свою трагедию 10 лет тому назад, понимали нас, и относились к нам очень сочувственно. Наш поселок составляли так наз. «спецпереселенцы» и никто из мужчин призван не был (раскулаченные кулаки). Десять лет тому назад они были выброшены на берегу реки и предоставлены себе. Кто выжил — срубил избу. Так и появился поселок. Теперь нас добавили в качестве дешевой рабочей силы, только поселили в уже существующие квартиры. Работающий в колхозе получает 400 гр. хлеба, а так как данную норму непривыкшему выполнить невозможно, то заработок получается грошевый. Большинство из нас сразу бы-

ли вынуждены пойти на работу, т. к. если кто и имел немного привезенных денег, все равно купить было негде, а есть что-то надо. Я пока-что помогала своим «хозяевам» в их частном хозяйстве: у них была корова, свиньи, кусочек огорода. Делала, что умела и как умела. Корову доить не научилась. Рассчитывала, что скоро все выяснится и, несмотря на войну, я с Николаем в Тарске жить не будем.

Начавшаяся война брала на свои плечи всю необычность обстановки, и я переживала второй, даже третий раз военную неразбериху. И, может быть, поэтому очутившись в этой необычной обстановке я не падала духом, стараясь преодолеть все трудности и невзгоды, волнуясь больше за судьбу матери и мужа. Любовь, молитва и большой еще запас энергии давали мне нравственную силу (физических сил было немного — я не привыкла к физическому труду). Я удивлялась выносливости местных женщин: в тайге они собирали массу ягод, тогда как мы самую малость. Туда и обратно мы едва успевали бегом идти за ними, боясь отстать, чтобы не сбиться с дороги в непроходимой тайге. Мы возвращались почти без памяти от усталости. Оставаясь дома хозяйничать, я к вечеру едва двигалась, а день начинался с восходом солнца и кончался после заката. После 2-х недель жизни в поселке мне казалось, что я здесь прожила год. Но работа кипела, все спешили и отдыха не было. А я, не имея своего хлеба — ела хлеб хозяев, обедая их — и потому, не желая оставаться в долгу, работала как умела изо всех сил (убирала избу, мыла детей, кормила свиней, надо было собирать зеленый корм), носила воду, била масло в деревянной маслбойке и научилась печь хлеб, собирала в тайге ягоды на зиму для хозяев.

3.VIII. Хоронили 18-тилетнего мальчика-колхозника: воспаление легких, лихорадка, свирепствующая здесь, и надорвался на непосильной работе. Из больницы выписали и больной умер дома... Моя простуда всё тянется: кашель, насморк, но, наконец, сегодня вернулось обоняние, почувствовала вкус пищи и различаю все запахи. После собирания ягод хожу вся распухшая. В местном ларьке купила для Николая меховую шапку и меховые рукавицы и есть у меня большой запас разных папирос для него, которые покупала еще в пути.

6. VIII. Уже несколько дней окучивала картофель, отдыхая простудилась и к вечеру поднялась температура (40°). Никого дома, лекарств нет. Картофель надо кончать. Попала под дождь. Вечером пошла в баню «лечиться». Сплю уже в холодном и сыром коридоре. Нарым... и вспомнила я, как в

начале июня 41 года дома был разговор о летнем отдыхе. Я сказала, что хотела бы очутиться в Крыму. Николай посмеялся и сказал: «Крым? А не угодно ли в Нарым?..» Получилось как в сказке, сказки бывают разные. Прошло еще дня два с температурой. Хозяйка привела свою старушку мать, чтобы заговорить «жабу» (ангина). Я на ночь сделала себе компресс и бабка застала меня с компрессом на шее. Поставила меня посреди избы, взяла с печки из загнетка деревянную солонку с солью и стала ходить вокруг меня, сначала читая молитвы, потом стала тыкать солонкой вокруг шеи, приговаривая: на девять, на восемь, на семь, на шесть, на четыре, на три, на один... и так три раза. Я едва выдержала, чтобы не рассмеяться, тем более, что старушка вначале молилась. Ангине моей было уже несколько дней, достала и приняла аспирин, согрелась в бане, ну и на 9, на 8, на 7... Через два дня мне стало лучше. Продолжаю работать, настроение поправилось... Прошли слухи, что заключено соглашение (Сикорский), что нас могут в ближайший солнечный день забрать отсюда катером. Я теперь, окучивая картофель, с бьющимся сердцем смотрела на всякий катер, проходивший мимо нашего поселка. Здесь, в глуши, в тайге — вид парохода или катера вызывает чувство радости: пароход — это связь с миром, с людьми — это возможность неожиданной встречи с Николаем.

13.VIII. Была гостя — сестра нашего Петра Ильича с семьей, приехала из Средней Азии. Было много разных новостей. Газеты приходят с большим опозданием. Ужасно глухо. Сегодня я вместе с хозяйкой пошла в колхоз вязать зеленые веники — корм на зиму для скота. В тайге в этом месте всякая почва — я часто проваливаюсь, вязала свои веники неумело и связала гораздо меньше, чем полагается. Звук катера волновал меня. Все хотелось бросить веники и бежать к берегу...

16.VIII. Шила на машине что-то для хозяйки. По газетным сведениям — оставлен Смоленск.

17.VIII. Уже месяц жизни в Тарске и через три дня — 2 месяца, как из дому. Когда в Сараеве погиб наследник трона, во Владимире был просто летний день. Никто не знал, что Бог скрывается на много-много дней. Слухи о бомбардировке Москвы.

22.VIII. Почты не было две недели — газет нет. Оставлен Смоленск.

23.VIII. Приехал начальник Угрозыска (почему уголовного розыска?). Собрание. Нам вручил удостоверения с печатями о том, что мы ссыльные, в течение 20 лет не можем оставить Парабельского района. Я приняла это за шутку и сострила: «Как для начала — это не много»... Мне ответили — вы совершенно правильно смотрите на вещи: сегодня один документ, а завтра — другой. Когда я шла с собрания в голове прояснилось, и я опять вспомнила рифму «Крым — Нарым» и слова Ники — «а не угодно ли в Нарым?». Итак исполнилось. На большом печатном листе значилось: ссыльная ... сроком на 20 лет. «За что? А где же Ника? Что с ним? Сразу же, придя домой, от руки написала новое заявление о соединении с мужем, в виду того, что я добровольно за ним последовала. И эту ночь многие из нас провели не смыкая глаз. Утром было составлено коллективное заявление о соединении с мужьями всех женщин поселка. Было только 2-3 замужества вместе. Заявление принял тот же «уголовный» начальник, был не только вежлив, но даже любезен, обнадежил, успокоил, принимая наши заявления. В нашем поселке была пожилая женщина из наших мест, жена адвоката. Она доставала от своих знакомых, заброшенных теперь в другие поселки, адреса, где можно было искать наших мужей, мы, не щадя денег (часто последних) стали посылать письма коллективные и отдельные в разные места и концы, не зная того, что все наши заявления аккуратно складывались в личные папки каждой из нас. Мы обязаны были являться для регистрации и тем же начальником были «изъяты» 8-9 велосипедов в нашем поселке; желавших записаться в колхоз не приняли. Желавшим переселиться в другой поселок, без ведома милиции, не разрешили.

27.VIII. Уже очень холодно. Обменяла купленные для Ники полуботинки на... подседельник из грубого фильца, чтобы потом переделать на валенки. Температура ниже нуля. В моем коридоре холодно, оконце без стекла, у меня хрипка.

29.VIII. Мороз заморозил всю зелень, не успевший отцвести картофель. В этом году разлив реки не позволил засеять, расположенные на берегу реки огороды поселка.

30.VIII. Ходили в тайгу за брусникой. В тайгу надо всегда переезжать на «душегубке» (малая, остроносая лодочка) поперек реки. Река глубокая, вода жуткая (7-8 метров), перевозят случайные 8-11 летние рыболовы. Вернувшись из тайги, пошли на регистрацию. Это была суббота. Люди мылись в бане. Мы с О. И. всегда ходили последними, не будучи

в состоянии мыться в такой высокой температуре. Мы предварительно проветрили и оставили дверь открытой, но подливая, конечно, воды в печь, чтобы «поддать пару». Когда возвращались слышно было треньканье на балалайке и подобие песен-частушек. Все были слишком усталые и даже молодежь хотела отдыхать, так как ни выходных, ни воскресений не было — война, и тыл это тоже фронт. Николенька, где же ты? Откликнись!

31.VIII. Воскресенье. Все на работе. Я работаю дома что надо, шелушила кедровые орехи. С ужасом думала о предстоящей зиме. Где я буду? Купить борной кислоты, чтобы вывести тараканов нельзя, своей у меня было мало, и я предпочитала не думать о дальнейшей перспективе...

1.IX. Принесла из тайги с трудом собранные полтора ведра брусники (несла в кузове на спине и в руках), устала смертельно. Брусника на зиму заливается водой в бочке. Опять простуда, почты не было, а шла домой с сумасшедшей надеждой застать хотя бы открытку со знакомым почерком... Записи короткие: нету керосина, негде писать, запас свечей у меня кончился, в ларьке больше нет, нет и бумаги.

2.IX. Обычный день. Убирала лен, оставленный на огороде. Спецы бегут. Почему я не ясновидящая? Ничего не знаю, не чувствую, не предвижу. Порой, под влиянием постоянной физической усталости одолевает состояние нравственной омертвелости. Минутами ясно представляется весь ужас действительности, которого не способны заглушить даже стахановские темпы. Спешка, усталость — некогда и негде мыться, сопливые дети. Не хочу думать о зиме. Еще много времени. Кончаю — свеча заметно уменьшается. Хозяева спят.

3.IX. Известие о мире, увы, отвергнуто врагом. День бесконечно долог. Хочется видеть людей, а не двуногих. И несмотря на душевное состояние надо нормально изо дня в день приступать и добровольно выполнять, принятые на себя обязанности. Надо идти в тайгу за брусникой — ее все меньше. Ник, где ты?

4.IX. Поздняя ночь. После тайги. Говорят массовый призыв в нашем сельском совете, — газеты будут завтра и молодой картофель.

5.IX. Чуть не утонули, переезжая «обласком» (душегубкой). Ветер, холодный дождь, опять простуда. Нарымскую простуду лечу по-нарымски — в курной бане — начинаю выдерживать температуру. Все стены в саже, но я начинаю —

акли... акли... аклиматизироваться... в смысле чистоты, аккуратности и т. д. «Заедят тебя мошки, выйдешь за остяка!» Начинает быть понятным смысл этих слов...

7.IX. Роды в Нарыме: роженица, чувствуя приближение родов, начинает носить воду из реки под гору, топит баню, моется, затем рожает... Всё около трех часов. Пьет водку и ест за четверых... Написала прокурору о возвращении велосипедов. Известия о бомбардировке Томска — 500 км. на юг от нас. Много беженцев.

8.IX. После обычного тяжелого дня вдруг вечером запретили готовить на воздухе (жечь костры). На радостях купила 1 кг. мяса. Люди продают последние запасы. Настроение приподнятое, несмотря на то, что хожу распухшая от мошки (лицо, руки, ноги). Какое-то предчувствие. Хожу ставить банки больной из Беловежи (калека). Говорят, кругом много раненых и эвакуированных. Газет нет. Все только говорят.

10.IX. Поселок в темноте. Свеча догорает. Опять регистрировались. Неподалеку ловят какую-то банду — говорят удравшие латыши-уголовники. Едва пишу от усталости, мучит кашель. Через месяц зима.

11.IX. Ночь без сна — все болит. Просмотрела газеты за 3-6 сентября — пустые. Убираем картофель из огорода. Пришел кум хозяйки и говорит: «Тебе вот хорошо с прислугой — придешь с работы — все поправлено». — «Ну, да как понять», был ответ. Речь была, конечно, обо мне. Слух, что за 300 км. от нас вверх по реке одновременно с нами было привезено много мужчин. Нет ответа ни на одно из многочисленных розысков, заявлений. Так может пройти 10-20 лет!?

14.IX. Еда постная. Жиров нет. Купила 4 кг. меду. Одеваю все шерстяное и холодно. Хозяйка недовольна, что собрала только одно ведро брусники. Бессильная досада, горечь, плакала.

15.IX. Услышали об объявлении полякам амнистии.

16.IX. Приехало начальство в час ночи. Поляки, белорусы и украинцы свободны! Завтра собрание — все уезжаем. Латышам амнистии нет. Спать не могу.

17.IX. 12 часов ночи, после собрания. Мы амнистированы, надо выбрать место жительства (только в Новосибирской области). О местонахождении мужа — обращаться к польскому послу.

18.IX. Меня и других в списке амнистированных не оказалось, но я почему-то спокойна. За ночь пока решила остаться на месте. В конторе колхоза обещана работа (умственная).

19.IX. Велосипеды возвращены. Вторую ночь не сплю, еле на ногах. Надо выбрать подданство: польское, советское или бесподданная. Не с кем посоветоваться. Ники! Как легче мне найти тебя?! Где ты?! «И некому руку подать в минуту душевной тревоги!»

20.IX. Были в тайге, но в первый раз не могли собирать ягод. Тайга залита золотом и солнцем, тысячи оттенков и можно было бы радоваться этой красоте в других условиях. Почему я не получила амнистии? По паспорту я русская по мужу, а Ник за 2-3 дня до отъезда получил паспорт бесподданного. Что выбрать? Где остаться жить? Идет война, уходит время, уходит жизнь... А я тут бессильна, кормлю чужих свиней.

22.IX. Амнистию получу, когда придут документы из Москвы. Пока могу выехать в Парабель и получить работу. Говорила с кем-то из района из НКВД. Кроме того, приняла место бухгалтера в Парабели (за 180 км) в конторе «Заготовживсырье», говорила с директором конторы, бывшим здесь в командировке. Дал мне записку, сам поехал дальше. Я дожусь катера и поеду на работу, квартира полагается. Еду с О. И. Директор советовал не ждать катера — ехать лодкой с грузом, в 3-5 дней доедем. Согласились.

24.IX. Собираюсь из Тарска в Парабель, там буду работать в конторе (в бухгалтерии), там почта, все же это не такая безумная глушь, там, м. б. больше встречу людей, с которыми можно посоветоваться, что предпринять, как искать, где искать мужей. Что означает выбор подданства? (на собрании, при объявлении амнистии было сказано, что мы можем выбрать подданство: польское, советское или бесподданство). Что это значит? Я теряюсь, не ем, не сплю и хоть во сне Ника мне ясно сказал, что надо оставаться в Тарске — отсюда надо скорее трогаться. Подходит зима суровая, неизведанная, навигация прекратится на несколько месяцев. Надо скорее выбираться. Река уже обмелела, катера перестают ходить — остались весла. Мне обещана весельная лодка с грузом (сырьем того предприятия, где буду работать: заготовживсырье). Получила записку от директора к главному бухгалтеру о том, что принята в качестве бухгалтера в его контору; до его возвращения просит поместить меня в его квартире (а квартира мне полагается). Директор дал мне эту записку в Тарске, а сам поехал дальше по области. По возвращении из командировки все устроится. Произвел весьма положительное впечатление. Я воспрянула духом! Будет сдвиг, шаг вперед к цели,

к тебе, Ника! Опять и опять возвращаюсь мыслью к подданству. Бесподданство Николая меня беспокоит, за несколько дней до ареста у Ники отобрали паспорт с 11 параграфом (и у меня был такой же; в НКВД, когда Ника пытался получить хоть для меня без параграфа — сказали: «муж и жена — одна сатана, вы параграф получили правильно», и выдали паспорт бесподданного)... почему не все получили амнистию?! Чем больше думала об этом, тем больше радовала мысль, что хорошо делаю, покидая Тарск. Там можно будет действовать, и я лихорадочно собираюсь. Денег у меня всего 12 руб. 50 к., но я уже не ссыльная и скоро смогу передвигаться — начнется «новая эра» жизни: м. б. мы с Никой еще начнем где-нибудь здесь жить и работать? Со мной едет О. И. Вот я буду иметь свою квартиру (комната с кухней, какой комфорт!) А когда и она получит работу, возьмем к себе калеку с малым мальчиком из Беловежи. Она бедная плачет оттого, что мы уезжаем. Мы чем могли помогали ей.

25.IX.41 г. Сплю все еще в коридоре и, несмотря на холод, сырость и сквозняк — не простужаюсь, — значит победила Нарым в 3 месяца! Сегодня видела во сне покойную сестру и Нику. Из соседней комнаты слышала как пели панихиду и кто-то сказал — война! Когда все это кончится?! Сегодня первый снег, потом дождь, холод. Ехать будем с остановками 3-5 дней. Надела все самое теплое — буду разогреваться веслами. Оставила велосипед у хозяина (где живу), оценив его в 700 руб. и одолжив у него 60 руб. На личными буду иметь 5-6 пудов хлебной муки. Лодка не приехала. Надо ночевать, а я, несмотря на ужасную погоду, предпочла бы быть уже в дороге.

26.IX. Лодка опять не пришла — опять ночевка уже на хозяйской постели... Ели меня тараканы. От сквозняка распухло лицо и голова.

27.IX. Суббота. Пишу, сидя уже в лодке — 19-тонная, крытая. Везем бруснику, свиные кожи, соленые утки, валенки и проч. Заготовка сырья, Наш Макарушка-бригадир привез нас к пристани. В последний момент нашлись еще желающие выбраться до холодов из Тарска (из наших людей). Едем уже часа два. Солнце, снега ни следа, золото берез, виды берегов тайги просятся на полотно. Николенька! Где ты? Будь мы вместе, ты мог бы запечатлеть эту красоту... Скорее, скорее вперед! Горе выехавшим в субботу. Что день грядущий нам готовит... Нас в лодке 3 человека команды и 10 пассажиров. Сегодня Вознесение. Река Парабель у истока начи-

нается 2-мя реками: Чузиком и Пенгой, и при слиянии уже называется Парабелю, что по-остяцки означает две реки.

28.IX. Ночью был дождь. Промокли, полулежа кто как мог. Была остановка, варили завтрак. Мы с О. И. поспорили о сибиряках по Гребенщикову и в действительности. Наш «корабль» около 20 метров длины. Наш путь 250 км., а если бы трактом, то 70 км. Перед вечером раздалась команда: «до витру» и 10 пассажиров поспешили спрятаться в камышах и только макушки голов торчали то тут, то там. Вечером сидели у костра. Я запаслась бутылкой водки и гребцы повеселели.

29.IX. Моросит дождь, пишу на берегу; уже отправляемся, оставляя на берегу массу черной смородины и кедровых орехов. Во время пути нельзя оторвать глаз от красоты тайги, одетой во все оттенки золота и пурпура. Заметки свои я пишу в записной книжке-блокноте... и, начав его в вагоне, в пути я задумала — хватит ли мне блокнота до встречи с Никой. И вот осталось несколько страничек!!

30.IX. Ночевать в лодке было невозможно. Я бодрствовала на борту, костер поддерживала; после завтрака тронулись, около часа сидели на мели.

1.X. К вечеру заморосило. В лодке тесно и... смрадно. В каком-то поселке пытались купить хлеба. Увы — купили только картофель. Весь день дождь.

2.X. Еще ночь промучилась. Путь к концу. Что-то с нами будет? Осталось 5 км. Опять сели на мель. Пришлось обходить это место пешком. Тягучая, свойственная Нарыму, глина. Я в валенках и калошах Ники. А чайки тут серые. 7 часов вечера. Часть наших вещей на базе, с остальными мы пришли на квартиру бухгалтера, которую уже успел занять сырьевщик с женой и двумя племянницами-ученицами. Мы заняли комнату и сидим на связанном багаже. Приготовили постель на полу.

3-5.X. Кое-как устраиваемся, продала материю на платье. Была где надо — документов моих (амнистии) еще нет. Хлеба получаем по 500 грамм. Обе ноги в нарывах от мошки. Чем лечить?

6-7.X. Два дня моей службы. Питаемся в столовой, частью дома. Вопрос квартиры не выяснен. Продаю что можно и на это живем. Невероятная, непролазная грязь на улицах, и все ходят огородами, разгородив их.

8.X. Главный бухгалтер Михаил Михайлович, убедившись, что я о работе имею понятие — запил, а мне поручил: работать, работать и еще раз работать. Надо было закончить

запоздавший отчет (баланс). Работала по вечерам, брала на дом из-за грязи и холода в канцелярии. Нетоплено.

12.X. Оставлены Орел, Вязьма и Брянск. Сырьевщик уходит в армию. Главный бухгалтер под предлогом, посмотреть как я устроилась в своей квартире, — пришел вечером и принес литр водки... Делать было нечего, пришлось нам с О. И. принимать гостя и угощать. Пришел в восторг от «польского сала» (еще у нее были остатки). Мы провели кошмарную ночь. Оба, и сырьевщик и бухгалтер, быстро «наклюкались» и гл. бухгалтер объявил, что он **не намерен идти** к себе домой... Мне удалось уложить пьяного медведя в кухне вместе с сырьевщиком. А мы «продежурили» в страхе остаток ночи. Разговоры за столом были приблизительно такие: «Мих. Михайлович! Вам пора домой, вас ждет жена и уже поздно!» «Голубушка! Сегодня ты моя жена и никуда я не пойду! Я завтра буду спать, а ты смотри иди работай — не пожалеешь — все у тебя будет». Утром я ушла на работу, несмотря на воскресенье, а гости... опохмелялись. Посещения стали повторяться, и мы стали подыскивать частную квартиру. Я взяла аванс, продала шерстяной платок, сделала необходимые покупки. В конторе работала день и ночь, чтобы успеть закончить отчет. Гл. бухгалтер днем ходит как туча, угрожая и молчаливо куда-то уходит, а вся работа была так невероятно запутана, что три дня невероятных усилий, с сиденьем до часа ночи измотали меня. Наконец удалось найти в соседнем поселке (1 км) Костарево избу в хорошем, добром пятистенном доме. Изба из круглых бревен. Хозяева нарымчане, старуха и сын. После работы, достав с большим трудом лошадь, мы переехали с О. И. в новое жилище. За эти три месяца разгрузки и погрузки нашего «скарба» — пожитки эти опротивели мне до крайности. О. И. физически слабее меня, с хромой ногой, мало могла помочь, и я была главным носильщиком. Сегодня у меня опять был подъем: удираю от пьяницы, там разложимся и отдохнем, т. к. все это время спали на полу кое-как, не развязывая как следует пожитки. Две недели мучений, визитов, увещаний пьяного или навеселе «начальника». Не весело началась новая эра! Амнистию все еще не получила. Но последнюю неделю мысль была занята одним — удрать скорее отсюда! Директор все еще не возвращается из командировки. Велики пространства Новосибирской области. Много места, а уйти некуда... И опять перетаскившись в новое жилье и увидев весело шумящий самовар, мы почувствовали, как в Тарске, что, наконец, мы...

почти дома! Стало весело на душе. Бабушка оказалась очень «сибирская», но, кажется, хорошая. Приглашала к большому самовару: чая у нее не было, а воду белила молоком, вместо сахара хлеб макала в кучку соли на столе. Мы заняли большую, просторную избу с 4-мя окнами, вместо двери — занавеска к бабушке; но разостлав свои постели почувствовали, что мы живем. О. И. устроила свою «кровать» на чемоданах, а я на двух ящиках положила 4 доски и на них свой матрац — королевское ложе! Давно так не спали! На работу пришлось ходить 2 раза в день (и на вечерние занятия). Пришлось купить большой керосиновый фонарь, т. к. вечером непроглядная нарымская тьма и непролазная грязь. Главбух и сюда в Костырево возобновил свои посещения вечером (приезжал на подводе) в обществе своего друга (из расчета, что нас с О. И. две). Мой блокнот кончился... раздобыла тетрадь и буду хоть по несколько слов отмечать дни, приближающие к встрече с тобой, Ника!..

22.XI. Закончила свою бухгалтерскую карьеру «подав в отставку». Работать с Мих. Мих. невыносимо. Это пьяница, пьет по неделям, не работает, требует, чтобы я за него все делала, посещениям нет конца и нет выхода. На счастье вернулся директор и так как действительно оказался порядочным и умным человеком — (я ему сказала в чем дело) дал мне увольнение (вопрос в военное время очень сложный).

26.XI. Сибирская бабушка, найдя более выгодного жильца (пообещал ей нужный материал) попросила освободить квартиру.

Нашли в том же поселке у радушных людей (рыбак), но уже только угол т. к. в маленькой комнатке ютилась семья хозяев, а в большой избе уже жили наши люди: мать с 13-летним сыном, молодая женщина (только что вышла замуж) и мы две... В избе, где поселились, в подвале, в земле была кухня с русской печкой. В кухню можно было попасть по лестнице, держась за постель О. И., моя постель была у этого же входа с другой стороны. Хозяева — молодые люди, здешние уроженцы, Антон Иванович, жена его Феня и двое детей. Утешали нас, что их изба счастливая для поляков, т. к. все сосланные сюда поляки, в царское время жившие у них, благополучно отбывали свои ссылки и возвращались на родину. Будучи в ссылке они были в лучших условиях: **семей не разделяли** и если хотели, то жили тут вместе, получая в месяц 3 рубля. А жизнь была в то время очень дешевая. Рыбу

добывали сами, мясо и мука стоили дешево. Нас обнадежили: «поживете и вы, да и вернетесь... Только тогда было одно, а теперь — другое», заключила Феня, подперев щеку ладонью. Ее Иваныч (муж) уезжал на целую неделю рыбачить. Сдавал пойманную рыбу и в зависимости от количества рыбы получал определенное число продуктов (хлеб, жиры, сахар). Себе мог оставить только мелкую рыбешку (тут преобладает стерлядь и навага). Сдача рыбного улова завершается «отвариванием» (сдаешь рыбу — получаешь за нее товар).

У Антона Ивановича живем с 2.ХІІ. Прошел месяц нарымской зимы — 52-56 градусов мороза. Раз я пошла за водой и не заметила, что отморозила щеку. Я уже прекрасно приношу по 6 ведер воды на коромыслах (не раз я возвращалась покрытая льдом). На ходу разливаю воду и сразу на мне леденеет. Колодца в поселке нет, и все носят воду из реки. Ежедневно прорубается «прорубь», до которой добрых 1/4 км. Подъем по крутому берегу, метров 4-5. Все это пустилки. Нарым уже не новость! Понемногу «освоили»! Писать нет возможности. Когда была объявлена амнистия, многие получили ее на руки и уехали, кто-куда. А кто остался — записался в колхоз, в артели. Я, в числе других не получивших амнистии, желая вырваться перед зимой из глухого угла — просила приехавшее в Тарск начальство (кто-то из района, как объяснил мне мой хозяин) о разрешении уехать в районный центр — город Парабель, чтобы получить там какую-нибудь работу. Получила разрешение. А работу я получила неожиданно сама еще в Тарске у директора конторы по заготовке сырья. Когда проработав полтора месяца я была вынуждена оставить прежнюю работу, надо было начать подыскивать новую, т. к. кто не работает, тот не ест. Однажды явившись в «паспортный отдел» (там же помещается Народный Комиссариат Внутренних Дел) узнать, пришла ли уже из Москвы моя амнистия, я встретила то начальство, которое обещало мне в Тарске работу. — «Документы из Москвы еще не пришли». — Начался разговор о просимой когда-то работе... «Нам нужны люди, умеющие отличить черное от белого и знающие русский язык». — После нескольких посещений «стола», я поняла, чего от меня хотели. Мне предложили 600 гр. хлеба (двойная порция, т. к. наши люди получали по 300 гр.). Я наотрез отказалась, сказав, что пока мне хватает 300 гр., а когда буду работать — получу больше — пока что хочу получать столько, сколько все. В следующий раз мне предложили место кассира — удобное, т. к. я,

де, смогу днем уходить с работы. Я отказалась, ссылаясь, что никогда не имела дела с деньгами и боюсь этой работы. Но время шло, петля затягивалась: сидеть без работы становилось все труднее. Спасал хлеб, полученный (частично) за велосипед. Амнистия, без которой нельзя никуда тронуться, не приходила, а разговоры в «паспортном столе» становились все неприятнее. Мне было сказано, что я **должна знать о том**, что я здесь не для поправки здоровья, не на курорте и только добросовестной работой могу доказать свою лояльность. Я лояльна! У вас по глазам видно вашу лояльность. Разговор стал затягиваться все дальше. Животный страх овладевал мною, когда при входе в кабинет дверь механически защелкивалась. Начались анкеты. Оказалось, что я с 1906 года жила за границей до момента освобождения Западной Белоруссии. Однажды, когда перелистывалось мое «дело» (личная папка), — я увидела все свои заявления о розысках мужа. За все время, сколько я их не посылала (я узнала свой почерк и свою бумагу из блокнота) они из почтовых ящиков попадали сюда... Стало-быть я напрасно высчитывала дни и недели, ожидая ответа (его не могу быть...) Ника — бесподданный, и я — жена бесподданного и потому моя амнистия не приходит из Москвы. Я поняла всю безвыходность моего положения. Надежду сменило отчаяние. Без амнистии никуда нельзя тронуться, предо мной только — 20 лет ссылки, нет никакого личного документа, не имею польского подданства. Я просто ссыльная: попала в западную, как беспомощный зверек...

3.I.42 г. Больна гриппом, состарилась будто на 20 лет, учусь ходить.

6.I.42. г. Сочельник. Слух о переезде в южные районы. По польско-советскому договору — мужья, разделенные с семьями, где-то в рядах польской армии на территории Сов. Союза. Снова разыскиваем, пишем в польское посольство в Куйбышев, уже возникают представительства в областных и районных городах, а среди нас выбрана уполномоченная, акушерка из Волковыска. Приезжали поляки, переписывали людей, считали, составляли списки, делегат призывал всех к труду, объединению и роздал иконки с молитвой.

Воспрянули духом — кто-то, где-то знает о нашем существовании! До сих пор никто из женщин не получили ответа на свои розыски. До возобновления навигации еще 4-5 долгих месяцев. А может быть поедем до железнодорожных пунктов санным путем? Гадаем, мечтаем в зимние темные вечера. Мало керосина, мало бумаги, всего не напишешь! Военные

успехи перешли на нашу сторону: отбиты Керчь, Феодосия, на юге успех и на других фронтах. Дома есть радио, но репродуктор очень плохой, почти ничего не слышим, газеты бывают два раза в неделю с опозданием. Сведения очень скудные. Проходят тяжелые, полные неизвестности дни.

25. III. Завтра пойдем копать могилу. Мать с молодым сыном-мальчиком (наши люди) полторы недели назад прошли тайгой 130 верст. Ослабевшая женщина свалилась и через несколько дней умерла в больнице. Тело лежит в мертвецкой уже несколько дней. Кое-как соорудили подобие гроба. Тело можно только завернуть в простыню т. к. заоченело. Четыре человека копали могилу почти день — мы идем помочь. День уже заметно длиннее. Утром, в 7.30 светло. Пишу в кровати. В избе, вторую ночь какие-то путешественники (супружество с ребенком) и сегодня моя очередь стеречь дом. Записываю нарымский быт и обычаи. Здесь принято «чавкать серу». Сера — это кедровая смола, продается в виде разноцветных подушечек и кто-то из наших людей, решив попить чайку с конфетами — купил этих «подушечек» за последние 7 рублей. Оказалась сера. Откуда этот обычай? От предков? А может «смола» укрепляет десна и очищает зубы, которых тут никто никогда не чистит!

«А кто его знает», — говорят здесь нарымчанки. В свободные минуты они ищут друг у дружки паразитов в голове, истребляя их при помощи ножа, которым режут хлеб. Увидев это, я запрятала свой единственный нож на дно чемодана, наотрез отказавшись одолжить его в праздник, чтобы «поискать»... Мать поругивает 4-хлетнюю дочь: «Гадюка, зачем у тебя подол? Вытри сопли...»

Ужасный сон предшествовал страшному дню. Кого-то хоронят, и я в числе несущих гроб (нас несет больше, чем четверо). Гроб давит мне плечо. Я не выдерживаю тяжести — падаю, падает и гроб. Я чувствую страшный трупный запах, задыхаюсь от него и просыпаюсь.

На следующий день меня вызвали в паспортный «стол». И я после нескольких часов, как во сне, не выдержала тяжести и подписала согласие... на «лояльное сотрудничество». Не в состоянии передать содержания многих и долгих допросов, вопросов, исписанных анкет, касающихся мужа, родных, меня (в детстве) десятое поколение. Такова судьба бесподданных. Я усиленно разыскиваю мужа и если хочу его найти — должна «добросовестно» работать. Работа самая обыкновен-

ная: сообщать, кто из окружающих не лоялен, напр., мои хозяева-рыбаки, мои товарищи, живущие теперь со мной и т. д. Что говорил ваш представитель из посольства, что это за молитва, которую нам раздавали и т. д. На собрании присутствовали работники «паспортного стола» (НКВД), прекрасно владеющие польским языком. После нескольких часов пытки (нравственной) я не выдержала, как во сне упала, дав согласие. Подписала присягу о сохранении тайны под угрозой смерти. Но смерть уже пришла: мне было все равно. Я хотела скорее выйти на воздух. Была ночь темная, как только бывает в Нарыме. Жуть абсолютной темноты была ничем по сравнению с пережитыми часами. Я ощупью отыскивала дорогу, каждый шаг. Да! Сон был в руку.

Когда прошла полдороги, осенила мысль — выход из безвыходного положения всегда есть: Обь глубока и широка, в трудный момент всегда примет. А пока можно надо защищаться и бороться. Необходимо получить амнистию. Боже мой! За что? Помоги мне! Ника! Где ты? Прежде чем придти домой, я разбудила спящих уже друзей, невзирая на письменную клятву сохранить тайну, — рассказала о случившемся, чтобы они не попали в такую же западню. Мне стало тогда легче, как будто поделившись, я сняла часть давившей тяжести. Дома у себя не могла в общей избе ночью сказать об этом О. И., а душевное состояние требовало участия, поддержки.

Я получила псевдоним «Катя» и в указанные дни должна была встречаться в библиотеке или ином месте (чтоб не возбудить подозрений) в разное время, передавая своему «покровителю» (связки) сводки на бумаге за подписью. План у меня был таков: не обострять отношений в паспортном столе, давая неверные, безвредные сведения, как например: «что говорит мой хозяин-рыбак — коренной нарымчанин, слушая радио-сводки о победах на фронте». Конечно радуется победе Красной Армии. А коренной нарымчанин в действительности, как манна небесной, ждал перемены условий своей жизни. Я стала редко выходить из дому, а уж в городе, издали обходила знакомую улицу и жуткий дом. Стали приходить справки из НКВД с извещением, что разыскиваемый мной за ними не числится.

31. III. Последний день марта. По счету некоторых это страстной вторник — иные говорят, что Пасха не вместе с католической, а через неделю. Старые календари кончились, люди уже совсем потеряли счет, а церковный купол, со сня-

тым колоколом, стоит поруганный и одинокий, не будучи в состоянии возвестить о Светлом Празднике.

1.IV. Еще не было ни одной оттепели, но днем уже теплее. Ходим еще в пимах и калошах (у кого есть). Я научилась полоскать белье в проруби и уже дважды в феврале и марте самостоятельно проделала эту операцию. Действовать надо очень быстро, т. к. белье быстро замерзает, а руки надо вытереть, сунуть в рукавицы и ударить по-ямщицки раз 15-20 — разогреются. Колодца в поселке нет. И вода только из реки. Если православные нарымчане не спутались в исчислении — то сегодня Страстной Четверг. «Слава Страстям Твоим, Господи!» В доме праздничная уборка. Благодаря тому, что все время на людях — предпраздничное настроение нас всех объединило: общее горе, одинаковая судьба и хотя часто было крайне тяжело быть все время среди чужих людей, — с другой стороны, со своими мыслями можно было оставаться только лежа в постель. Теперь суета хозяйки, творог и все приготовления — навеяли воспоминания о прежних праздниках, о близких и о их теперешней судьбе. Живы ли они и как готовятся к празднику? Наши приготовления были не сложны: из крупной хлебной муки на молоке и соде. Все мы пекли почему-то пряники, которые вышли у нас твердые, как камни. У кого-то из нашего ссыльного брата св. вода. На 6 человек случайно было 1/2 яйца. О. И., Феня и я разговелись в подвале-кухне, попробовав всех сортов неудавшихся печений с калиной, брусникой и картофелем. Легли в три часа... Пасха святая, Пасха Христова нам днесь показася...

Погода уже весенняя, 26° мороза, но днем солнце, и снег начинает быстро рыхлеть.

5.IV. День пасмурный, нехолодный. А где же ты Николенька? Суждено ли нам увидеться? Есть дни, когда хочется написать много, излить массу разнообразных чувств, мыслей, записать пережитое за все это время. Но писать в такие минуты или некогда или негде, а потом настроение меняется. Порой так хочется быть одной, не среди чужих по духу, посторонних людей. Минутами появляется крылатая юность, энергия, походка — несмотря на пимы, становится легкой. Кажется, что еще и тело и душа не отжили, что можно радоваться жизни, улыбаться, что еще все впереди, что можно верить... Я полюбила ходить за водой рано утром в трескучий мороз. Солнце, ослепительно белый снег, который искрится миллионами разноцветных огней. Дышалось после избы

морозным воздухом легко. Кругом была белая гладь, небо сливалось с белой землей, и я, став над прорубью, забывала горькую действительность и любовалась красотой холодного Нарыма. Здесь утром было тихо, и никто не мешал, и я в такие утра могла молиться. Казалось, что Бог сошел низко — услышит и поможет. В такие утра я с полными ведрами на коромыслах поднималась по крутым вырубленным в снегу ступеням как 18-тилетняя нарымчанка, чувствуя в себе неисчерпаемый запас силы физической и бодрости душевной. Бывали утра, когда я плакала и громко говорила: «Сбейте оковы, дайте мне волю — я научу вас свободу любить!..» Я носила воду за себя, за О. И. (хромую) и за Нюсю, которой не в чем было выйти на мороз. А я приехала барыней — в меховом пальто, пимах, в шерстяном платье и теплом платке... Всю зиму я помогала нашей хозяйке пилить дрова, т. к. все хотят тепла, но выйти на мороз никому не хотелось. Сделав почин, я понемногу привлекла к этой работе и остальных наших жильцов. Нюсе были сшиты пимы из шерстяного суконного одеяла, и я пригласила чужую (ей было 23 года) пилить дрова вдвоем, за что хозяйка угостила ее рыбной ухой: «давай ковшик, похлебай маленько»...

Хлебным сухарем я сломала зуб. Корень стал болеть. Пришлось идти в больницу. Дантист 25-летний вундеркинд, он же по детским болезням, он же гинеколог и он же хирург. Не зная прелести его хирургии, я доверчиво, крепко уселась. От первого приема остатки зуба затрещали и посыпались. Дантист, бросив щипцы, побежал за другими в шкафчик, у окна. И эти не годились, бегал три раза: корень трещал, ломался, но не с места. Предупредил, что будет больно: эскулап схватил еще что-то вроде лома, чтобы «сшевелинуть», стал подковыривать так, что затрещали соседние зубы... — «Вам очень больно?! Я сам устал, не знаю что делать, у меня нет инструментов, нет наркоза, но попробую разок еще вот этим». Еще раз треск кости в голове, и я, не издав ни звука, выбила кулаком инструмент из его руки. Я не сидела, а полулежала. «Оставьте! Может мне жить осталось немного». — «Простите меня, я знаю, вам было очень больно, но я ничего не могу сделать. Придите через неделю. Я заморожу и разрежу десну. Вы первая такая терпеливая пациентка, ваши поляки очень нетерпеливый народ: чуть что... кричат, а вы — герой». — Но вид у меня был далеко не геройский. Шатаюсь, я стала собираться, а «благодетель» мой, моя руки, на прощание спросил: — «У вас, наверно, врачи так не работают?»

Полтора километра я шла долго, заплевывая все кровью, т. к. никакого полоскания не полагалось. Нестерпимо разболелась голова, легла, никаких порошков не было: кровь шла сутки. Скоро к дантисту я не пойду. Пусть этот невырванный нарымский корень здравствует и переживет все плохое...

Наконец и я получила амнистию! А было это так. Приближался день очередного посещения библиотеки и опять ему предшествовал необычайный сон, оставивший жуткое чувство. Я — в какой-то комнате, без окон и дверей. В комнате совсем темно. Я, стоя посередине комнаты, вглядываюсь в черноту и вижу, что стою около раскрытого гроба. Я одна, присмотревшись к темноте, я различаю в гробу мужское лицо, человек — в мундире. Лицо точно из бронзы черты правильные, красивые. Всмотриваюсь и просыпаюсь в холодном поту. Такой был сон. Под впечатлением сна я решила не давать даже жидкой как вода сводки, ссылаясь на разные неувязки. Начальство чем-то встревожено; торопится, т. к. уезжает в командировку (истребляли какую-то банду в тайге) и в связи с этим мой «покровитель» сказал: «до моего возвращения впредь вы будете встречаться с начальником — тов. Куниным. Я сейчас вас познакомлю». И он позвонил. Через минуту-две двери открылись. Вошел высокий мужчина. Мы молча смотрели друг на друга и со мной случился столбняк, я узнала лицо виденное в гробу, во сне. Он подошел к этажерке, что-то взял или положил и вышел. Не знаю, как объяснил себе мой столбняк заместитель Рубаков — я была отпущена и шла точно загипнотизированная. Что означал сон? Я увидела во сне лицо, которое встретила позже. То же лицо, тот же мундир.

Через несколько дней я пошла опять узнать о своей амнистии. В кабинете сидел тот же Кунин. Я сказала, что до сих пор я не получила амнистии. Он открыл толстую папку, в которой были списки наших людей. Спросил фамилию, отыскал в списках, взял чистый бланк, вписал фамилию, печать уже была на бланках поставлена, принял от меня документ со ссылкой на 20 лет и вручил долгожданный листок! Никаких документов из Москвы ждать было не надо! Все было тут! Власть на местах! Я вышла, не веря себе. Не сон ли это? Но бумажка хрустела в кармане, а я шла все быстрее, чтобы подальше уйти от «паспортного стола». Никому не удалось задержать на память тот «20-тилетний документ», т. к. он предварительно отбирался. А жаль! Документ об амнистии у меня остался... Настроение приподнятое. Из польского по-

сольства на адрес нашей представительницы приходят телеграммы (раньше этого не было). Послали еще и еще раз фамилии мужей заказными письмами и по телеграфу. И вскоре получили ответ: письмо получили, делом занялись, сообщите фамилии других мужей. Радостно забились наши сердца, появилась настоящая надежда.

13.IV. Я получила письмо из Бийска, что из Самарканда наше Новосибирское представительство переехало в Барнаул и обслуживает две области. Получили телеграмму, что все мужчины, разделенные с семьями в июне 41 года, находятся в Самарканде. Сегодня же дала телеграмму с запросом, на следующий день вышлю заказное со всеми фамилиями нашего поселка. В первую минуту была острая радость, потом заполз в сердце холод сомнения. Но ответы все же пришли из разных мест. Неделю я писала в Главное Управление лагерей. Завтра, 20-го апреля — десять месяцев нашей разлуки. Сибирская острота: «долго тянутся только первые 10 лет...»

19.IV. Сообщили по радио о новом выпуске займа. В Румынии, говорят, этот заем провалился, а тут прошел.. в 62 часа. Голова болит от вечной брехни, а хозяйка не выключает громкоговоритель. Цены быстро поднялись. Продала на базаре свое шелковое платье за 1 кг масла и 2 кг мяса. Определяют на службу, подала заявление, постирала, приготовилась. 22.IV. узнала, что работы не будет, т. к. выяснилось: 1) женщина, 2) ссыльная, 3) слишком энергичная. Пусть ищет работы в других местах. Сегодня, идя за водой, провалилась вместе с клёпкой в воду; промочила ноги: полосканье белья не прошло даром — кашель...

Носится скворушка. Они поселились у нашего соседа, недалеко от нашей избы. Хозяин прибил скворешник на самой верхушке дерева. Я загадала: поселятся или нет, связав это с встречей с Никой. И вдруг испугалась того, что загадала. Вспомнила слова стихотворения «и совершилось какое-то чудо, возвратились опять из... сам не знаю, как и откуда, и цветы и мечты и любовь». Однажды на скворешне завозились скворцы и радостью затеплилась душа. Скворцы целыми стаями несутся в воздухе. Откуда вы прилетели, свободные птицы? Какие вы счастливые, что у вас крылья! Поселятся или нет? Начинаю быть суеверной до смешного, но вот не так давно в один день я разбила много посуды, а О. И. нашла подкову и в короткий срок столько новостей. «Жизнь моя, иль ты приснилась мне? Будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне!»

А теперь немного нарымской прозы. Давню хотела описать моих хозяев. Он рыбак. Всегда, когда есть кое-какая рыбешка — варят уху стерляжью, налиమ్ю, из окуней и шук, без каких бы то ни было приправ. Зимой рубят или режут мерзлую рыбу и варят с небольшим количеством картофеля. К весне рыбы нет и ее заменяет картофель в мундире с солью. Утром кипяток с хлебом, на обед картофель. Вечером опять кипяток с хлебом. Из хлебного теста пекут пироги, в середине кладут или сырой картофель или вареный мятый, а летом морковь («пироги картофельные, морковные»). Здесь говорят: «небось промялась и захотела есть». Обувь: бахилы, чирки. Простыла — простудилась. Собачья «ёжа», давай не ори! «Сам, как взревет на меня». «Идешь — возьми за путем хлеб». На приветствие — «здравствуйте» — отвечают: «пожалуйста». «Да ты, дочь, что же это? Ты чего же это, девка?» Жаль бумаги — остальное запишу позже.

23.IV. День такой пасмурный. Дождь, но не весенний — холодно, сыро. Хочется лечь и уснуть надолго. Но я хочу проснуться теплым летом, в яркий солнечный день! До весны еще далеко. За эти дни видела несколько раз маму и Нику. Мама была плохо одета, и я во сне помнила, что уже променяла на картофель имевшийся у меня отрез. Сегодня видела Нику в незнакомом доме, и я почему-то должна была его оставить и уйти. Он только болен чем-то и мне особенно не хочется идти, и я медлю с уходом. А недели три тому назад я видела Нику так ясно, хорошо и крепко целовала его. Снился мне и о. Павел; во сне не помнила, что его уже нет в живых. Он, как наяву, нараспев поговаривал: «а вы посеете ржи, посадите картофель и не будете «бедовать». Вокруг меня были женщины. Еще раз видела о. Павла в светлой ризе, где-то на вокзале, среди массы поющих людей. Я бежала к нему, звала его: «о. Павел! о. Павел! Благословите меня и Николая!» Хотя я и помнила, что Ники со мной нет, что я одна. Но о. Павел не услышал, не оглянулся и ушел в здание вокзала. Я проснулась. Иногда сны бывают такие ясные, что запечатлеваются в памяти, их нельзя забыть и оставляют они в душе какой-то след, живут. Если сон приятный, радостный, то следующие дни я живу под его впечатлением. О. Павел во сне сказал мне сажать картофель, сеять рожь. Неужели отсюда мы не уедем? Нас в 2-х комнатах живет и спит (часто кто-то еще ночует) 15-17 человек и собака. Воздух ночью убийственный.

25.IV. За последние дни снег почти исчез. Река вот-вот

тронется. Поверх льда стоит вода. Днем так тепло, что можно было бы ходить в костюме, если бы он был. Солнце ярче, скворцы неистовствуют, воздух по-весеннему опьяняет. На минуту перенеслась в Беловежскую Пущу, залитую солнцем и, казалось, почувствовала тот особенный весенний запах земли, еще без зелени, но уже по-весеннему пьянящий после зимы. Воздух оглашен музыкой вернувшихся птиц. Получена из Куйбышева телеграмма, что 3-го мая — день труда и только после работы можно отметить праздник. Около 5-10 мая предполагается первый паром. Теперь распутье — ни проехать ни пройти. Почта из далеких поселков, где живут наши люди, приходиться не будет. Зимой был санный путь, теперь бездорожье. Беда с водой: снега нет, пройти к реке невозможно; топили снег, брали воду из углублений в поле, из ямок, теперь пока с половодьем не придет вода из Оби — весь поселок вынужден пить воду из луж. Колодца нет. Железной дороги нет. Девственный Нарым...

27.IV. Получила извещение из Гулага через НКВД о местожительстве мужа: Астрахань, Тюрма № 2. Вызывали в «паспортный стол» и там мне объявили, на руки ничего не получила, мою знакомую тоже вызывали. Ее муж в Саратове, тюрма № 1. Больше никто не получил.

28.IV. Послала телеграмму. В тюрму № 2, возможна ли переписка. Телеграмма с оплаченным ответом.

29.IV. Послала заказное письмо на имя начальника тюрмы «с просьбой» передать короткую записку Нике. Вложила в середину готовый заадресованный конверт для ответа. Николенька! Бедный ты мой! Чувствуешь ли ты, что я нашла тебя! Видишь ли во сне? Нас разделяет такое пространство! Теперь буду ждать! А все же совершилось какое-то чудо, что я несмотря на тысячи километров, вернее сибирских верст, — нашла на след! Известие: ничего существенного не произошло. В воскресенье 26.IV я раскладывала кабалу: и радость и горе и все заботы и известит трефовый король. А вечером сосед сказал: а вас ждет известие — паучок около... в понедельник меня вызвали. В этот же день в церкви в Парабеле, после многих усилий был, наконец, снят крест с купола и вместо креста взвился красный флаг. Снимавшему крест подали гармошку и он сыграл плясовую. Внизу плясали, готовясь к празднику мая. Опять выпал снег.

30.IV. Мороз, яркое солнце, сухо. Рано утром ушла далеко в поле, к кустарникам, там еще много снега, оттуда недалеко до кудрявого соснового леса. Зелень приняла новый

оттенок. Запиликала знакомая, маленькая пичужка. В груди проснулось какое-то легкое, радостное, молодое чувство. Нахлынули воспоминания. Стало весело смотреть вокруг, дышать полной грудью и сильно поверилось во многое! Есть красота, есть счастье! Стало хорошо, как давно не было, и сон видела радостный, хороший. Ты был веселый, прежний, Ника. Быть может ты получил весточку от меня. Сегодня же даю телеграмму в Куйбышев. Теперь почты загружены нашими телеграммами. Какое счастье, что я получила во время амнистии, можно действовать. Посольства делом займутся. Фамилии сообщены давно.

1.V. Я зачислена на работу в Рыбный кооператив (расценка рыбы).

3.V. Воскресенье. Завтра выхожу на работу. Опять снег и снюгшибательный ветер. Река стоит, но говорят — на воскресенье уже есть пароход из Барнаула.

7.V. Работаю, довольна. Работу понимаю. Сегодня тронулась река Парабель. Пошла из Оби светлая вода. Все время живу в напряженном состоянии. Всякий раз, когда открывается дверь, мне кажется, что мне письмо, но его все нет. Известит ли начальник тюрьмы Нику о моем письме, передаст ли мою записку. Ведь Ника не на свободе, как мы. Неужели он все это время сидел в тюрьме?!

9.V. Семь человек принимало участие в спиритическом сеансе. Впечатление слабое, т. к. публика сомнительная и, наверное, невольно управляли столиком и потому вышло по желанию участвующих: вопросы о конце войны и встрече с близкими, как у Толстого во «Власти тьмы». В Парабеле, а вернее во всем Нарыме и коренные, и ссыльные, и амнистированные, и спецпереселенцы (много будет гробов людских) — все с нетерпением ждут весной первого парохода. Так, выброшенные бурей на безлюдный остров ждут появления судна. Суровая долгая зима отрезает людей в Нарыме от мира. А тут война, ждут вестей, писем, раненых. Приход парохода — большое событие, повторяется из уст в уста название парохода и навстречу ему не идут, а бегут все, кто прожил девятимесячную зиму. Первый лед сошел, пошла чистая вода, но сегодня реку опять загромождали глыбы льда. Зима, по словам старожил, была малоснежная, и воды мало, разливов почти нет.

11.V. Несмотря на воскресенье, вчера весь день ходили на пристань, не пришел ли буксирный катер. Я присутствовала

в комиссии при передаче магазина другому продавцу. Больше писать некогда...

Пришли пароходы: «Пролетарий», «Шевченко», «Победа», «Дзержинский». Пассажиров мало, раненые. На пристань прибежавший народ не пустили.

13.V. Опять выслала заказное в Куйбышев.

14.V. Вчера вернули из Сталинграда деньги, высланные в тюрьму. Значит ни переписка, ни передача, очевидно, невозможны. Ответа на телеграмму нет. Уже 16 дней. Не могу теперь передать того, что чувствовала и пережила вчера, и записать все новости, настолько душа непосредственна и нет возможности. На фронте ничего особенного не происходит, хотя есть много трофеев и гибнет ежедневно 75 неприятельских самолетов (в сводках не говорится уязвимы ли наши), о гибели людей тех и других не говорится. Газет нет. Радио слушать некогда.

18.V. На Керченском полуострове идут наступательные бои. На харьковском направлении войска успешно продвигаются вперед, на Кишеневском идут бои. Пишу в обеденный перерыв. Снег, град, ветер, холод. Река поднялась, наполнилась водою из Оби. Езда на обласке — жуткая. Ни писем, ни известий. На юг не поедем! Уехавшие туда переехали в подмосковные колонии и мои деньги, высланные в тюрьму, — вернули. Ответа нет и будет ли? Из Ташкента приехали в район Колпашева два польских офицера за своими семьями. Оба в английских мундирах.

19.V. Лежит свежий снег. Бушует ветер. Все в шубах, на рыбалку выезжать нельзя. Когда я была при передаче магазина продавцу, здешняя уроженка первый раз в жизни увидела зонтик, открыть его не умеет. «— Что это? Из Риги навезли: 'и кто его знает, чего он моргает'». Позавтракала: хлеб и горячая вода в термосе — пригодилась. А что же ты, Николенька!? Чем позавтракал? Почему не приснился во сне? Приснись! Вчера выловили труп женщины. Говорят, сама бросилась. Но мне еще рано! Я хочу жить! Опять набор людей на смерть. В Томске и вообще по Сов. Союзу берут девушек и женщин, детям которых исполнилось 9 лет.

21.V. Опять снег, все в шубах, холодно дома, холодно в Рыбкооперативе, но на душе еще холоднее. Работаем с короткими обеденными перерывами до 10-11 ч. вечера и прихожу опять смертельно утомленная от цифр и сидения. Некогда остаться с мыслями, Николенька, солнышко мое! Так

хочется излиться, все рассказать и даже это недоступно. «Ах, сбейте оковы, дайте мне волю!»

То, что я работаю, — большой плюс: у меня нет времени для другой работы. Время военное, все мобилизованы, опаздывать нельзя. За это под суд, как за большое преступление, а свою... работу в Рыбкоопе я ревностно выполняю и больше от меня ничего не получить.

22.V. Снег опять. Река широкая, жуткая, зловещая. Вчера чуть не послали в командировку на несколько дней. Холодно, «туфельки» мало греют.

24.V. Сегодня Троица. Вместо зеленых березок Феня украсила избу кедровой зеленью, пожожей на американскую сосну. Вчера латышкам и еврейкам было объявлено, что их мужья в Соликамске, Молотовской области, в исправительном лагере.

Нет у меня карты. А на мои телеграммы ответа все нет. М. б. отослали в Гулаг? Утром сообщили по радио: по приказу командования наши войска оставили Керченский полуостров. На Изюм-Барвенковском направлении наши войска ведут ожесточенные бои и закрепились на новых позициях.

26.V. С 10-го мая отнят хлеб — дается только малолетним и от 55 лет. Сегодня умерла одна из наших женщин — 25 лет. Порок сердца и воспаление легких. Умерла в больнице. Дали знать на 4-ый день после смерти... Остался ребенок 4-5 лет. Тело выдали голое, не разрешили обмыть и одеть в мертвецкой. Началось разложение, тело вздулось, голый труп положили на открытый воз, прикрыли платком и повезли — 3 км. до избы. После многих усилий была устроена «долина» — гроб артелью, где покойная работала, одели, покрыли простыней и похоронили на том кладбище, где зимой ломанами долбили могилу в мерзлой земле. Поставили крест с надписью химическим карандашом, что обрела вечное упокоение в Нарыме. Покойная была из Польши. На кладбище нашли 3-4 детских гробика, вырытых свиньями. Тел нет — их съели свиньи или собаки... Зимой, в большие морозы могилы выкопали мелкие, забросав снегом, а к весне не удосужились поправить. Гробик стоит открытый, пустой, на подушке кровавые следы. В Парабеле, на теперешней базарной площади только четыре года назад, еще было кладбище, на котором хоронили и еще заметны незатоптанные бугорки могил и кое-где остатки полуживых кустов. Ни крестов, ни могил, ни деревьев. Кто же заставил превратить это место в базарную площадь?! Ведь земли здесь больше чем людей...

Рассказала мне об этом хозяйка. На этой площади могила любимого ее сына, умершего 4 года тому назад. Она к зиме делает себе «метинку» искусственным кустиком. В былое время кладбище не осквернялось. Непостижимо жутко. Почему это?

1.VI. Было несколько дней тепла.

2.IV. Сегодня опять надевай шубу и хотя все зазеленело, но северный ветер морозит все. Видела тебя, Ника, во сне так ясно!

4.VI. Уже около недели кукует кукушка, и вчера я ее слышала в 2 часа ночи из театра (Беспкойная старость). Почти белые ночи. Все оделось зеленью, цветет черемуха, носятся ласточки, вывелись молодые скворцы, вода в реке убывает. Все работают в огороде, сажают, сеют. После долгой зимы весна особенно хороша. Старожилы говорят, что в этом году исключительно холодная. А как хороши здесь закаты и восходы солнца. Уже пять недель я все жду ответа из Аст-рахани. Молчит и Куйбышев.

8.VI. Несколько дней маленькой жары. Была гроза. Уже купаются. Пароходы усиленно курсируют, но частной публике и в частности нам всем передвигаться нельзя. Опять составлялись наши списки. Приезжал представитель польского посольства. Говорила с ним лично, еще раз передала свою просьбу о их интервенции по этому делу. Просила помощи и рассказала о себе лично (работа в «паспортном столе»). «Я лично в таком же положении. Лавируйте — ничем помочь не могу: если ездите на лыжах — удирайте». Если бы даже ходила — куда удирать? Передвижение очень ограничено, особенно теперь. Совет этот показался мне несерьезным, а лавирую я уже с самого начала... Стали призывать «спецов» (специально переселенные), которых до сих пор не призывали. Завтра уезжает наш Тарский хозяин, — он тоже «спец», можно подумать — специалист. Мобилизуют женщин на заводы... У меня кровавый понос или какая-нибудь неизвестная сибирская... прелесть... Но не хочу, о други, умирать! Я жить хочу! О. И. пошла в театр (Островский), а я после работы улеглась. Пишу на своей «койке», вечер, совсем темно.

25.VI. Четверг. Но что же такое! Опять столько дней и ни звука! Сколько еще будет четвергов? Мы с О. И. вскопали в поле под лесом землю, заросшую дерном и посадили 1 1/2-2 ведра картофеля, земля не паханая, дерно отрываем заступами. Комары и мошка засыпали глаза, жгли лицо, ноги,

руки. Мошка — это соль Нарыма. Не будь ее — Нарым потерял бы свою «прелесть»! Нет места, куда она не проникает. Разъедает тело до крови — за ушами, в уголках рта, около носа. Сажали картофель и думали: кто будет собирать урожай — мы или хозяйка? Вспомнился сон и слова о. Павла: «Посейте вы, рожь, посадите картофель и не будете бедовать...»

26.VI. Дождь. Ноги и шея распухли от мошки. Наши люди не получают хлеба, за исключением имеющих справку о нетрудоспособности, но в Нарыме все трудоспособны. Работа по желанию и способностям: артели металлистов, сапожные, портняжные, кузнечный цех, пекарня, артель инвалидов — шитье, пряжа, плетение корзин, рыбацких сетей, витье веревок. В колхозах можно вязать веники для скота на зиму, полоть, косить, жать, молотить. Одним словом все! Собирают за 20 км отсюда колбу — растение с листьями очень похожими на ландыши, а вкус чеснока. Эти листья солят, как лук или едят свежую с солью. Так вот за 20 км. надо собрать в мешок 40 кг. 3/4 колбы сдать и тогда получишь 600 гр. хлеба и 20 рублей. Надо связать 5 метров рыбацкой сети, 100 клеток в ширину, чтобы получить 500 гр. хлеба и 1 р. 15 коп. за метр. Ни одна первоклассная пряжа не может напрясть 1 кг за день (ни прялка, вернее, с помощью веретена) и тогда получишь 1 кг. хлеба. А хлеба нет ни у кого, хлеба нигде нельзя купить и выходит, что надо по-настоящему проработать натошак и только сдав работу, получить хлеб. Во истину: «в поте лица своего вкусишь хлеб свой». Все голодны и способны думать только об утолении голода. Поэтому — все фронтом к труду!

Наши войска оставили сегодня гор. Купянск, Харьковской обл. Немцы идут вперед. Конца войны не видно.

29.VI. Посадили свой последний, имевшийся картофель. Все лицо, руки, ноги распухли. Неужели и выкапывать придется? Забыла отметить 20.VI.42 первую годовщину сибирской ссылки: недурно для начала, сказал турок, когда его посадили на кол. Говорят, дальше время пойдет быстрее... Еще не так плохо, если шутишь! Держись, девка!

3.VII. Утопающий хватается за соломинку. Вернулась знакомая нарымчанка из Нарыма, с которой я передала карточку Ники — там есть хиромантка из Риги (новые ссылки). Я дала маленькую, самую позднюю. Гадать отказалась, т. к. не видны глаза, нужен снимок «en face». На усиленную просьбу, посмотрев в лупу, сказала — виден только один

глаз, определенно не могу сказать — точно не живет уже — не знаю. Вестей надо ждать еще полгода. Я прожила год на свободе, если это можно назвать свободой, а Ника в тюрьме, где тоже есть «паспортные столы», анкеты и разговоры «по душам». Мне однажды было сказано: «Я хочу, чтобы вы вышли отсюда с просветленной душой». Боже, спаси Николая!

4.VII. После 8-ми месячной обороны пал Севастополь. 12.VII Петра и Павла. Полоса дождей и холода. Уже говорят о признаках осени. Николенька, идут тяжелые бои на подступах твоего Воронежа. Где же ты, страдалец? Какая смута на твоей земле. Взят немцами Ростов. А может быть немцы открывают тюрьмы, переполненные людьми, способными носить оружие?

19.VII. Работаем по 15-17 часов в сутки. Сегодня дали выходной день. Надо дома все сделать, окучить картофель, постирать, вымыться. Вчера год как приехали в Тарск. Надежда в жизни — это всё! Пока живет надежда — есть бодрость. Кому нужны страдания стольких людей? Сегодня каждый польский подданный получил через польское посольство американские подарки: по 2 кг. белоснежной муки, 25 дкг. смальцу и мерочку настоящего кофе. С транспортом пришла теплая одежда, обувь, белье. Распределять будут, когда придет делегат из Новосибирска. В Рыбкоопе прошел сбор на новосибирскую добровольческую армию — Сталинскую дивизию. Отчислили 2-х дневный заработок. Воронеж все еще защищается.

24.VII. Сегодня один из сослуживцев, человек лет 60-ти, пришел в новых «тапочках» янтарного цвета с лиловыми крестами. В клубе (церкви) делили церковную утварь, и он из покровов или риз сшил «тапочки». Человек был старый, уже седой, с беззубым ртом. Мне стало и страшно и жутко и мерзко смотреть на его лицо, напоминающее череп. Он был доволен и обувью и еще больше тем, что сделал. Активист! Его зять в свое время изъясил наши велосипеды. Победили и делят ризы и трофейное имущество.

27.VII. Зимой — 52° мороза, лето знойное — нечем дышать. В Рыбкоопе уже ночные дежурства. В мое дежурство была сильнейшая гроза. На весь двухэтажный дом конторы — я одна. Зрелище жуткое, сильный ураган. Ударило в соседний дом. Громоотвод с церкви снят. Жара стоит уже две недели; ежедневно купаюсь — единственно приятные минуты. Ночью духота, клопы, комары. Вчера, в воскресенье стирала на

реке. Вода освежает, чувствую себя после купанья бодрой — в жару изнемогаю. Завидую умеющим плавать. Я стала очень раздражительной, забывчивой. Если не могу записать переживаний сразу — потом всё забываю и не пишу. А если, когда-нибудь под другим небом, — быть-может, эти строки напомнят пережитое. А может-быть некому будет и читать... Ведь я совсем одна здесь, а может быть и вообще одна. Прошел один год, а прожито будто 10 лет. По словам делегата — нас здесь около 400.000! Пять воеводств завезено в один день! Нельзя не признать организованности и железной дисциплины. Сколько бесчеловечности во всем этом плане, сколько жестокости! Ведь было сказано: переезжаете в другой район, будете работать по специальности — возьмите инструменты. Здесь и в других районах живут такие же несчастные из Румынии и Латвии. Их привезли месяцем раньше — в мае 41 года и тоже всех в один день. Из Риги много интеллигенции (судьи, адвокаты). Нас много, но от этого никому не легче. А может быть легче? Не знаю: говорят — на миру и смерть красна. Так ли это?

1.VIII. Проснулась от радостного возбуждения во сне. Услышала мощный, явственный удар громадного колокола и одновременно из церкви раздался какой-то возглас. Я бросилась туда, чтобы узнать, бежала, плакала, и плакали все кругом меня. Мне стали объяснять, что возглас был такой: народ побеждавший египтян и побежденный — призывался к чему-то. Проснулась и не запомнила, но осталось сильное впечатление, что-то радостное. Были все рады. И я под этим впечатлением весь день, в каком-то нервном подъеме. По радио о Воронеже — ни звука. Опять был сбор теплых вещей на добровольческую, новосибирскую. Я купила рукавицы, не тронув всего того, что берегу для Ники. Я сотни раз думала — в чем он? — не отобрали ли всего того, что взял с собой? Год тюрьмы — это очень много. А на юге — фронт. Завтра воскресенье — пойдем пилить дрова или собирать ягоды.

5.VIII. Из Ленинграда приехала труппа артистов (120 человек). Среди них Симонов, играющий в фильме — «Петр Великий». Артисты приехали на своем катере. Играли под открытым небом, и мошки «ели» одинаково как публику, так и артистов.

6.VIII. Сильная гроза, были жертвы. Говорили об осени. Мне страшно думать об этом. Я отгоняю от себя все мысли, и хоть хочется побыть одной, избегаю этого. Я уподобляюсь страусу: голову под крыло; от усталости сразу засыпаю, а

когда кусают паразиты — думать нельзя. Сегодня слышала, что в лагерях Астраханском и Соликамском свирепствует цынга и... большая смертность. Значит — голод... Ежедневно на фронте гибнет множество жизней, но у каждого человека одна жизнь и она дороже всего, жизнь другого бывает дороже своей. Если бы можно было отдать свою жизнь за другую. Не хочу больше писать. Артисты играют в церкви. Мы не пошли, хотя голод книжный очень ощущается и приезду артистов обрадовались.

11.VIII. Вчера был воскресник по сбору черной смородины в тайге. Нас около 80 человек посадили в большие лодки и катер на буксире повез нас вверх по Оби, по сердитой реке. Был сильный ветер, поднялась высокая волна; лодки стали наполняться водой, а вылить воду нечем; среднюю лодку залило водой наполовину. Раздались раздирающие душу крики и люди в смертельной панике стали перепрыгивать в две другие лодки (лодки были связаны и шли параллельно), становясь ногами на борт лодок. Лодки накренились к самой поверхности разбушевавшейся воды — одно движение и лодка опрокинется. Молниеносная мысль — конец всему — все будет кончено, т. к. на спасение рассчитывать нельзя: Обь достаточно многоводна и быстра. Но крики людей докатились до катера, он замедлил ход, лодка пошла спокойнее и вслед за катером подошли ближе к берегу, где течение спокойнее. Налетела гроза со страшным ветром, проливным дождем, после которого мы все промокли до последней нитки. Все поси-нели от холода и страха. Под дождем причалили к берегу реки, около трех рыбацких избышек. Кругом промокшая тайга. Все пошли с проводником на сбор. Я была назначена (как счетный работник) приемщицей для учета собранных ягод. Сушила все на себе. Сегодня кашель, температура, едва досидела до 6 часов.

17.VIII. Майкоп пал. Мы все мобилизованы на уборку урожая. Работаем 4 дня в колхозе, 3 дня в конторе. Назначены в соседний колхоз... Вечер. Уже вернулись теми лошадьми, которыми свозили пшеницу. До обеда вязали снопы. Привезли немцев с Поволжья, и лошади пошли за ними. Уже полтора месяца не можем отправить в Томск сирот в Польское Посольство, т. к. назначенные для сопровождения детей наши люди — все не подходят. Сегодня отказали К. — почему?

19.VIII. Преображение Господне. Вчера ходили опять на сенокос. К вечеру холодный дождь. Сегодня тоже. Снаряди-

лись во все то тряпье, в котором можно ходить. Одежда у многих из нас поизносилась и истрепалась... Взят Краснодар... а что дальше?

21.VIII. После 4-х дней колхозной работы (вязали снопы ячменя, люцерны...), сегодня до 12 работала в конторе, с часу до 9-ти собирала грибы, вечером надо было еще идти в контору, но я уже не могла — ноги не шли. Больше писать некогда — темно и свечи кончаются.

23.VIII. Ночью дождь. Воскресенье. Опять сбор грибов под дождем. Заблудились, не нашли «стана» (сборный пункт) — 6-8 км плюс то, что блуждали по тайге, тащим собранные грибы на себе в кузовах, и несмотря на физическую усталость, я в тайге чувствую себя лучше, чем в противной атмосфере нашей конторы. Царит развал, анархия, сослуживцы циничны, сыплют двусмысленностями, плоскими и грубыми шутками. Весь день галдят, во всякую свободную минуту щелкают кедровые орешки или «чавкают» серу в любое время дня, среди занятий, когда челюсти устают, — смолу вынимают изо рта и приклеивают комочком на краю стола до следующего раза. Желаящие «чавкать» шарят руками, ища эти комочки (оставленные кем-то) у любого стола... и 17-летние девушки и женщины... бухгалтеры пересыпают свои разговоры двухэтажной бранью. Однажды, когда не было посетителей женщина-бухгалтер говорит соседке по столу: «Лида, поищи-ка вшей, что-то голова у меня чешется». И началась... выметайка... Не удивительно, что в тайге я отдыхала. Все расходятся, не слышно окриков и наступает полная тишина. Уже около двух недель, как повеяло осенью, много желтых листьев, золота, пурпура и особенно в лесу осенняя тишина. Однажды я с сослуживцем по Рыбкоопу заблудились, но зато встретились с артелью немцев с Волги тоже собиравших грибы для государства (госдоставка). Исходив много по тайге, утоляли жажду водой из углубления от конского копыта на дороге. Еле дотащились до дома, собрав по 6-7 кг. грибов.

На фронте ожесточенные бои под Сталинградом и Краснодаром. Иду спать — уже глухая ночь.

29.VIII. Суббота. Была в колхозной бане. Украли рубашку, принесла вшей... больше не пойду. Завтра работаем. В тайге, когда заблудилась, встретила рижанку. Положила мне карты, как страшно легли карты: нет встречи ни у тебя, Ника, ни у меня. Ты очень болен. Будешь дома, но меня не встретишь. Где же твой дом? Конечно глупо верить, но здесь, в тайге сибирской так страшно думать, что все кончено,.. В

этом бедламе я пропустила твой день рождения... Сирот в Томск до сих пор не отвезли. На-днях должна ехать очередная делегатка. Уже не верится в ее отъезд. Дали ей письма и телеграммы, т. к. отсюда не идут. Завидую людям, получающим письма от живых людей. Уже год и 3 месяца! Сообщалось по радио, что бомбардируется Варшава.

6.IX.42. Из-за дождя воскресник грибной отменен. Дома столько всякой работы! Все грязное, дырявое, незачищенное. Дров у хозяйки нет и не топится. Питаемся хлебом, есть огурцы, помидоры, соленая рыба, кипяток из самовара. После 2-х недель ненастья и холода опять хорошие солнечные дни. Гремит где-то. Река по погоде: то жуткая, то ласковая. Уже накопили 3 ведра своего картофеля. Вырос, увы, очень мелкий — плохие семена. Голодный народ. Пользуясь тем, что поле наше далеко, под лесом — без зазрения совести копают наш урожай. Копаем вместе с О. И., как я называю, со своей старухой. Ника! Если ты жив, наверное, ты голодаешь, томишься в тюрьме. Беспомощен, слаб и бессилён, свободный человек. Что, если бы я знала будущее?! Порой так жаль, что жизнь прошла уже. Все чаще чувствую вечер, а полдень где? Не было. Сердце стало напоминать о себе. Не могу ходить легко и быстро, как раньше, а пьесу придется смотреть до конца, до занавеса. Вчера встретила с коллегой-учителем. В 1926-28 году были вместе на педагогических курсах. Теперь это 50-ти летний старик. Борода, как у Толстого, как тайга непроходимая. Сказал, что сбреет ее только если вернется в Польшу. Пригласила на ужин; хлеб свой без ограничений, салат из огурцов и помидоров и даже со сметаной — роскошь (молоко меняли на тряпье). За берет получила полтора ведра картофеля. Да, вся свободная мысль здесь вокруг картофеля и хлеба. Вспомнила экспромт Ники: «Лишь стоит захотеть и мой талант, как птица встрепетается»... Коллега-учитель накануне пешком пришел из поселка, в котором живет за 120 км. от Парабели. Его младшей девочке около 6 лет... Отсюда из Парабели их будут тоже отправлять в Томск. Посылают будто-бы знакомую (жену начальника почты) и когда, наконец, получено, разрешение она едет неохотно, почти со страхом. Ей жутко оторваться от стада сбившихся овец и очутиться в водовороте военных ужасов. Немцы подходят к Новороссийску. На Ленинградском фронте тоже активные действия. Все новый и новый набор людей. Везде масса военных инвалидов. В Новосибирске есть палаты отдельно с инвалидами без правой, отдельно без левой руки; отдельно люди

без рук, без ног, умоляющие прикончить их... Кому все это нужно?! Зачем столько страдающих людей на земле? Столько смертей? Одновременно с набором новых людей, с фронта все больше приходит извещений о смерти. Такое извещение получила и моя сослуживица-нарымчанка, вернее из Новосибирска. На нее тяжело смотреть — она навсегда потеряла самого близкого человека. Утешать ее нечем! И сколько таких извещений приносит каждая почта! А новые парни, почти дети, уезжают. Как все это непостижимо жутко...

7.IX. Я только что вернулась с работы (20 минут второго ночи). Хоть Парабель в глухом Нарыме, далеко от фронта, но атмосфера пропитана ужасами войны, народного бедствия и потому наша работа настроена на военный лад. Хорошо, что я не боюсь темноты, но все же глухой, темной ночью, шаг за шагом ощупывать ногой Нарымскую дорогу — жутковато. Напрягая зрение, стараясь хоть немного привыкнуть к темноте, я шла и думала о тебе, Ника! Мне так нужно знать — думаешь ли ты обо мне, нужна ли я тебе? Шагая ощупью, я вспомнила светлую, лунную ночь, когда ты приехал за мной на линейке к нам в городок, и было жаль, что 8 км. проехали так скоро. Ничто не повторяется, не повторится и эта красивая ночь, но воспоминание о ней сделаю незаметной эту жуткую, беспросветную, темную дорогу в одиночестве, я шла точно вдвоем с тобой красивым сосновым знакомым лесом и не видела темноты... Не могу и не надо раскрывать своей души до дна. Ночью придет пароход, с которым уедут, наконец, наши сироты в Томск. В избе все спят. Воздух тяжелый, дышать трудно, но «выпускать тепла» из избы нельзя.

9.IX. Дети с К. уехали. День первых заморозков. Опять приближается 7-9 месячная сибирская зима и еще худшее — полная оторванность. Второй год. План выполнен еще только на 5% и надо «настроиться на военный лад... и... выполнять и перевыполнять...» Сегодня первый раз в жизни я была в суде, да еще советском, в качестве свидетельницы по делу продавца, одного из многочисленных магазинов предприятия, где я работаю. Слушалось много дел: прогулы, спекуляция. Судили председателя колхоза, «кулака» по происхождению, в настоящем спецпереселенца. Работал в колхозе «Обжитие Севера». Судили за преступное, халатное отношение к социалистической собственности: 1) спец-пчеловод не досмотрел и умерли в 20 ульях пчелы, только не установлена причина: перекормили или корм был плохого качества; 2) животновод

допустил падеж 64 овец (они от истощения овшивели и пали); 3) абортировались по невыясненной причине две лошади-матки (причина: тяжелые работы по выполнению плана по лесозаготовке); председатель утопил в омуте, во время переправы через весеннюю разлившуюся речку 2-х лошадей и не привлек к ответственности 2-х людей, не явившихся на его зов о помощи. Подсудимый признал **сам себя виновным** в «мягкотелости». Прокурор сказал: «раз не посадил на скамью подсудимых настоящих виновников — изволь отвечать сам»... Адвокат говорил бледно, не убедительно, боясь защищать несчастного. Засудили на 2 года заключения с непосредственным взятием под стражу. Моя «подзащитная» оправдана. Я пробыла в суде с 9 ч. утра до 8 вечера. Видимо от усталости я не поднялась с места при возгласе: «Суд идет!» Или м. б. потому, что «суд» не производил впечатления того суда, о котором мне рассказывал в 1920 году знакомый адвокат; он говорил, что у него всякий раз при словах «Суд идет» — мороз проходил по спине...

Сегодня видела судью-женщину без тоги. Народные заседатели — колхозницы, секретарь — безграмотная девушка, читающая обвинение по слогам. Дела разбирались быстро, было их очень много и к концу дня голова отупела, хотелось на чистый, свежий воздух и... мороз прошел по спине при мысли: быть судимой таким судом...

16.IX. Опять солнце светит ласково. На берегах золото, кругом какая-то успокоительная тишина, примиряющая со всем. Прощальная краса, как говорит Пушкин. Я возвращалась с работы и вдруг внезапно, углубленная в себя, я пережила радостные минуты возможной встречи с Никой здесь, в Нарыме. И Нарым мог бы быть прекрасным! В мыслях я с ног до головы одевала Нику в припасенные теплые одежды, вместо махорки припасенный за все время запас папирос из хорошего южного табака... шла и улыбалась. И, может быть, не даром приехала сюда. Ведь есть у людей радости, могут они быть и у меня. И все плохое отойдет вдаль, останется настоящее. Вдруг вспомнила пустую, незанятую скворцами скворешню. А я весной загадала: если поселятся, все кончится благополучно... Скворцы не поселились... Свои настроения я могу сравнить с здешним климатом. В общем я упорна, как здешняя зима, но минутные душевные состояния меняются резко и часто, как погода в Нарыме — несколько раз в течение дня — от яркого солнца к буре и холодному дождливому ненастью... Утром иду с водой сильная физически и

бодрая душевно, верю в себя, в победный конец... Вдруг усталость, немощь тела и духа и полное отсутствие веры. В недалеком соседстве две сестры-латышки. Одна из них неожиданно получила письмо от своего мужа, о котором год ничего не знала и не искала. Он ее нашел. Осужден на 5 лет и соединится с ней. Какое счастье!.. Второй брат умер осенью. Написал из Красноярска куда приехал, предварительно пройдя 4 лагеря. Сегодня уехала в Куйбышев, по вызову нашего посла, молодая девушка из нашего Костарева. Делегат посольства, будучи у нас, разговаривал с нею и, видимо, захотел помочь ей. У нее мать здесь и младший брат и сестра. Я отнесла ей хлеб, сухарей, конвертов и бумаги на письма и завещала быть энергичной, действовать в посольстве. Ее отец разделил участь всех мужчин. Кончаю. Нет времени: обед, за водой, дрова и на работу до 1-2 часов ночи.

21.IX (8 сентября). Рождество Пресвятой Богородицы. Солнце. Золото осени. Богатство красок. Нарымчане суетятся в огородах: копают, таскают на спине, а кто возиком свои урожаи. Готовятся к зиме. К 7-9 месяцам спячки. У всех на языке: бочки, соленые грибы, капуста и сибирская «картофель». Шла, смотрела и думала свое. Вдруг под ногами пес, вроде нашего Барса. А где же ты, Барс? Живы ли твои хозяйки, жив ли твой хозяин? Плохая и тебе выпала старость.

23.IX. Теперь я понимаю, что значит, когда говорят: не видно ни зги... Сегодня так было. Несмотря на холод и ветер мне от напряжения стало жарко. Почти рядом, шлепая по вязкой грязи, шел еще кто-то, но силуэта различить было нельзя, стало первый раз жутко. Нервы дают о себе знать. Я остановилась и дала опередить себя. Возможно, что это последняя запись. Завтра еду в командировку: везу нового продавца в магазин за 20-25 км. А в магазине старого надо удалить (т. е. проверить отчет и принять остатки товара, передавая их новому). В ту сторону еду катером, а назад вернуться обласком... иначе говоря душегубкой. Если суждено вернуться.

1.X. Вернулась! Сколько еще «1» октября мне положено!? Первый мороз сковал землю — стучит. За водой ходила в полушубке и рукавицах. Воды в Оби много, а достать подчас невозможно: берега вязкие, кладок нет, как в украинском проклятии: «коб ты по гори ходыв и сонца не бачыв, коб ты на воду дывывся та й напытыся не миг». Теперь о поездке. Три дня я ждала попутного катера, паузки, наводника или лодки, словом оказии. Наконец уехала лодкой с

грузом. Везли камень. В лодке 8 человек, если считать и меня за человека. 20 верст вверх по Оби, против течения. Два весла, иначе говоря: пара гребцов. Едем ближе к берегу, где меньшее сопротивление. Там, где берег отлогий и не топкий, двое сходят и идя берегом, тащат лодку на бичеве. Гребцы отдыхают и едем быстрее, чем на веслах. Ехали 8 1/2 часов. Приехали в сумерки и 4 км до ларька я пошла с продавцом, которого надо было водворить в поселке Ласкино. Там живут остяки. Домов 20. Утром я разглядела и хорошие дома, и отлогий песчаный берег, и рощи берез и тальника. В день приезда мы шли при луне. Остяки народ очень грязный, нечистоплотный. Есть, конечно, исключения. Три дня я делала инвентаризацию товаров. Когда пришло время новому принимать — он вдруг одумался и отказался принимать за «малограмотностью». И на самом деле жаль его было — ведь через месяц он попал бы под суд как растратчик. Он говорил вместо пломбир — бомбир. Делать было нечего. Я опечатала магазин и во вторник решила возвратиться с тем же отказавшимся продавцом... душегубкой. Другого выхода не было, okazji не предвиделось. Я условилась за 30 рублей с 26-тилетней остячкой Груней, возившей почту. Выехать удалось только в 3 ч. дня. Садилась я с мыслью: конец сегодня или еще не суждено? Село нас трое да еще маленький сундучок — багаж неудачника кандидата. Обласок почти до краев погрузился в воду. Стоит неосторожно пошевелиться и вода зальет «судно» — «каюк» нам. Оказалось, что мой спутник никогда, нигде, ни на чем не плававший, выросший вдалеке от воды, — боялся еще больше меня. Я уже наездила и лодками и обласком, по скромной, по сравнению с Обью, Парабели. Онемев от страха, он даже не курил. И я много раз озиравлась с опаской вокруг: — вода, вода и еще вода... А мы в ничтожной скорлупке несемся по волнам. Берега далеко, кругом волны и при мысли о глубине становится жутко, сердце пугливо трепыхается. Сидим неподвижно, перестаю смотреть на воду, осторожно поднимаю глаза вверх, боясь неосторожным движением вывести из равновесия душегубку. Мой спутник, мне кажется, еще больше скован страхом. Стоило бы нас «заснять», как говорят здесь, на память, этаких «храбрых орденосцев». Меня подбодрял самоуверенный вид и свободные движения Груни. Она пела, свободно говорила и смотрела по сторонам. Я завидовала ей.

Через некоторое время, просидев несколько часов в неподвижном напряжении, я очень устала и продрогла. Я возмо-

лилась и меня высадили, спутник тоже попросился на «волю». Несколько километров мы шли берегом реки — крутым яром. Оттуда наш обласок на реке казался жалкой скорлупкой. Согревшись и распрямив члены, нашли удобный причал и опять сели. Надо было торопиться. Груня затащила безбрежную как Обь, заунывную остяцкую песню. Добрались до Парабели, где Обь соединяется, т. е. принимает воды Парабели. Там буквальный водоворот. Поднялся ветер, волны стали захлестывать, в обласок налилась вода, и я приготовилась к смерти. Даже Груня присмирела и приказала нам не шевелиться (мы и без того были скованы страхом). Мгновение и всё кончено. Опять хлестнуло. Я инстинктивно вскинула руки. Вода бушевала, ничего не было слышно за шумом воды. Были уже густые сумерки и Груня с трудом нашла место, где можно было высадиться — значит суждено было доехать.

1.X. Снег. А в Сталинграде все ожесточенные бои (уличные).

7.X. Из Куйбышева запросили Изу (ее ли это муж, имена и даты), находящийся в Иране? Значит часть в Иране? А остальные томятся где-то, если еще живы. Из Томска запросят Куйбышев пока через НКВД дождусь известия...

14.X. (1-го октября старого стиля — Покрова Пресвятой Богородицы). Земля замерзла и к вечеру покрылась снегом. Торопятся последние пароходы. Впереди 7 месяцев полного заключения. То, чего ждем, о чем думаем, чем живем — можем узнать только по почте. Никто приехать не может.

Говорят, что перед смертью в короткое мгновение видишь всю жизнь. А у меня теперь так часто в одно мгновение, как свет магния, вспыхивают в памяти все лучшие моменты моей жизни. Вспыхивают и... гаснут. Может быть конец уже близок? Стойко думаю о зиме, запасах, надо купить бочку для капусты. Продавать почти нечего, работаем очень много, по ночам, никогда нет выходных, не остается времени для себя. Эти строки пишу уже на второй день т. к. уже без лампы, 2 часа ночи. Богородица! Пюкрой нас святым своим омофором! всех страждущих, плененных...

18.X.42. Зима. Ударил мороз. Надела валенки, а у многих их нет. Уже два раза присылался благотворительный груз из посольства (мука, папиросы, рис, какао, суп, лекарства, теплая одежда, белье, рукавицы, носки и др.). Нужды много, больше чем груза. Жалобы, нарекания на польских доверенных...

Сегодня, взбираясь на крутой берег с водой в ведрах — споткнулась, упала, облилась и ушиблась. Не забуду я воды! А Сталинград все еще в военном огне. К. уже послала из Томска мое письмо и телеграмму. Радуюсь. О. И. сегодня первый раз высказала мысль, что мы отсюда не уедем... и тетрадь кончилась. Падать духом нельзя — это наше спасение.

25.X.42. Четыре дня назад я получила из Куйбышева сообщение, что в связи с моей телеграммой от апреля 42 г. посольство запросило 24 мая. По получении ответа о результате этого запроса — я буду извещена. Теперь жду известий от знакомого из Ирана. В Парабель пришла на зиму баржа с 1.200 тоннами муки. Чтобы не платить простоев, мобилизовали служащих и рабочих всех учреждений, и я разгружаю уже два дня. Носим вдвоем на носилках по 75 кг. с баржи по трапу, потом вверх, на крутой берег, около 200 метров. Вчера я вынесла 50 кулей, сегодня 64. Прогресс. Скажу только, что физически очень окрепла, а запас душевной бодрости — исчерпывается, а мне ее нужно так много! Хочу все выдержать и победить! Сегодня после работы рубила еще дрова, ходила за водой, вымыла пол на кухне, свою буйную голову, поела и привела в порядок ногти (уже 2-ой год, а я хоть немного, а слежу еще за руками — им достается не мало!). Напоследок записала события дня. Когда я шла носить муку, то толстой бечевой, на которой держатся носилки, подпоясала свой полушубок, чтобы руки во время дороги отдохали. По дороге встретились новобранцы (дети). Один, поглядев на мой «кушак», сказал: «да ты, тетка, никак повеситься задумала?»

27.X.42. Бой в районе Туапсе. У нас метели. Прозябла, спасают валенки, надевая теплые вещи, в тысячный раз думаю, что носит Ника? У него отмороженные на войне ноги... Лучше не думать! Но мыслей отогнать нельзя. Верю и знаю, и живу с мыслью о том, что и ты, Ника, выдержишь, и мы встретимся. Я физически все вынесу, может-быть это будет наш «поздний вечер». Если бы хоть на одно мгновение взглянуть на приговор Судьбы! А может быть завеса — это мудрость... Надо крепиться.

1.XI. Бой в районе Нальчика. Дополнительный заем и новый сбор теплой одежды для Добровольческой дивизии. Война принимает народный характер, но очень многие ждут перемен сегодня. День всех святых (праздник ушедших). Везде на кладбищах живые цветы и до полуночи все кладбища освещены, а здесь в течение 4 лет кладбище превращалось в

базарную площадь! 28° мороз. Баржа с благотворительным грузом, очевидно, дойти не успеет и где-то зазимует. От переутомления и работы по 18 часов в сутки по ночам чувствую большую слабость.

5.XI. Оставлен Нальчик.

6.XI. 30° мороза. Канун годовщины октябрьской революции. Получила приглашение на торжество, но не воспользовалась, т. к. единственный свободный от работы вечер надо было использовать и пойти в баню (к хозяевам, не колхозную). Надо было вырубить во льду ступеньки, чтобы пробраться туда в моих боксах. Появился брюшной тиф. Наехало всякого народа. Дома нетоплено, холодно; надо скорее лечь, моя старуха — О. И. уже похрапывает.

16.XI. Все время работаем и по ночам, до 1-2 ч. ночи. Наконец квартальный отчет был отослан по телеграфу, и воскресенье, после долгих месяцев (с июля) стало теперь свободным. Дольше поспала. Ника во сне был веселый, смеющийся и раздеваясь, сказал: ух как я замерз! Быть может, ты действительно мерзнешь и вспомнил обо мне? Почты давно не было. Ждем аэроплана — могут быть письма от Кавки и Изы, которая осталась в Томске. По слухам Колпашевская тюрьма переполнена до отказа. По радио ничего существенного не произошло, а в Сталинграде все еще уличные и рукопашные бои. В Костареве несколько случаев тифа. Перестаю пить сырую воду, не хочу умереть! Вчера у нас у обеих с О. И. появились вши... Дожили на втором году! Год и 4 месяца, но это пустяки... Выдержим!

20.XI. Возвращалась с ночного дежурства. 7 часов. Еще темно. Мало снега, тепло, сухо. После бессонной ночи (я всю ночь с наслаждением читала, дорвавшись до книги — Пушкинская эпоха — из рыбооповской библиотеки). Я с удовольствием вдыхала чистый воздух. Намеренно шла медленно, т. к. дома уже все на ногах. Не кутаясь в воротник, я свободно обращала лицо к небу, вернее куда-то, в чистую, свободную высь. Молилась о тебе, Ника, за тебя, как давно не молилась. Состояние было особенное, необычное, было хорошо, хотелось долго идти куда-то далеко, только не в душную, смрадную избу, особенно тяжелую после ночи. Позавтракав, ушла опять на работу к 9 часам (два часа на отдых и завтрак после дежурства). Возвратясь вечером, я нашла письмо из госољства о том, что ты, Ника, жив, только.

Радость моя! Быть может, ты недалеко! В Астрахани, конечно, тебя уже нет. Но ты жив! Когда же конец войне?!

Год и 5 месяцев. Теперь опять не знаю, где ты! Но вся надежда на посольство, а я счастлива уже тем, что ты жив и буду верить, что, мы встретимся. Я разыщу тебя!

21.XI. Под Орджоникидзе (Владикавказ) наши войска сделали прорыв фронта и продвинулись на 60-70 км. Много трофеев, отбито много городов и населенных пунктов. У нас — тифозная прививка.

22.XI. Физически чувствую себя плоховато, но нравственно бодро. Физически в Сибири я как-то окрепла. Здесь в общем народ здоровый, румяный, в частности, женщины очень сильны и выносливы. С завистью смотрю на 65-летних старушек, легко поднимающихся с полными ведрами воды на коромыслах по крутому, скользкому ото льда берегу. А я неоднократно возвращалась без воды — не в состоянии взобраться с водой вверх. Правда, они обуты в нарымскую мягкую обувь — чирки, а я или в валенках или в больших скользких калошах Ники, — но лет через 10-20 и я, очевидно, буду грациознее. А пока часто падаю, обливаюсь замерзающей водой, простуживаюсь, но не болею долго — никогда не унываю...

24.XI. Глухая ночь. Вернулась домой. Все спят, храпят, свистят, всяк на свой лад. А я теперь ночью всегда иду вместе с Никой. Он всегда рядом. Я его чувствую и мне не страшно. Я даже привыкла и полюбила эти путешествия с ним вдвоем: никто не мешает вспоминать все хорошее... «и как вино — радость минувших дней, в душе моей, чем старе, — тем сильней!»

25.XI. Наши войска продолжают вести успешное наступление в районе Сталинграда, 14 тысяч трупов, отбиты города и населенные пункты. Враг застигнут врасплох. Союзные войска в Африке одерживают блестящие успехи. Всё та же картина. Сегодня О. И. прочла в появившейся у нас польской газете подробное описание немецких зверств в Анине, около Варшавы, где в числе 200 поляков был расстрелян дядя ее мужа. Это была месть за гибель 2-х немцев. Их выстроили в ряды и расстреляли. А я сегодня думала о бесподданстве Ники. Он получил его перед самым отъездом. Отняли паспорт с параграфом и дали бесподданство. Посольство хлопотало об освобождении из тюрьмы, как польского гражданина, но на основании заключенного договора (амнистия) с тем, что освобожденные вступят в ряды польской армии. Хлопоты не дали результатов. Мою радость сменила тревога.

29.XI.42. Четвертый день успехов на фронте. Наступление союзников в Африке: заняты Марокко, Тунис и Алжир. Немцы оккупировали остальную Францию (Виши). В Сталинграде прорвана линия фронта на 40-60 км. Часть города очищена, бои на улицах. Наступление советских войск продолжается. Голос спикера глухой, какой-то жуткий, когда он говорит: в последний час наступление наших войск успешно продолжается. А на фронт уходят все новые дивизии на место погибших. Что творится на русской земле? Когда-то Наполеон, теперь немцы уже второй раз. Но немцы не замерзают, как французы — они готовились и у них все есть по рассказам привезенных с фронта инвалидов и раненых — немцы прекрасно обмундированы, есть у них электрические батарейки, согревающие их термосы и проч. Чем и когда все это кончится? Сегодня работала с 12 только до 6 часов вечера. Днем читала «Сибирские рассказы». Теперь многое стало понятно. Никакие письма вообще не приходят, а так хочется застать письмо долгожданное с знакомым почерком. Слышишь ли ты меня, Ника!?

5.XII. Пишу на рассвете, на ночном дежурстве. До 2 час. ночи работала, чтобы убить время, потом думала, затопила печь, погрелась у огня: есть книги, но не могу читать. Здешняя зима без снега и мороза похожа на польскую зиму. Начинается тиф. В нашем поселке 2 смертных случая и много больных. Карантин. Смотрела фильм: «Ленинград в обороне». Кошмар! Рядом со мной сидела эвакуированная женщина, муж которой второй год под Ленинградом. И она ждет известий, но ее муж защищает Ленинград. А Николенька томится в тюрьме за то, что русский и не хотел в течение 20 лет принять другое подданство, несмотря на мои увещания. Мать и сестры О. И., живущие в Ленинграде, с июля не пишут. Как нас всех судьба разбросала, разделила и что-то будет?

14.XII. Начались морозы. Выпал снег. У нас в Рыбкоопе корпение над годовым отчетом. Мне подчас так тягостно считать, подсчитывать и выводить итоги, такая бессмыслица, такая ненужная трата дней и ночей на фоне всего, что происходит вокруг и тут и на всем свете.

Гибнут миллионы людей разных наций, одни убивают других, так называемых врагов. И свои убивают своих. Ни понять, ни простить этого безумия невозможно! Все более жутко становится на душе.

Около месяца назад, у нас в конторе я слышала разговор о том, что многие сотрудники нашего и других НКВД заняты

истреблением «банд» где-то в тайге. Туда уехал и мой «телохранитель». Начальник нашего Рыбкоопа является одновременно тоже сотрудником НКВД. (Я узнала об этом не так давно). И однажды он принес показать трофеи, добытые у побежденных «бандитов». Это были спички старого русского времени с двуглавым орлом... Нашли у «бандитов» этих спичек большие запасы, нашли бочки топленого масла, мед... и оружие. «Бандиты» долго не сдавались, пришлось прибегнуть к лучше вооруженной и многочисленной силе регулярных войск с пулеметами. И наконец «враг был истреблен». Что же оказалось? Русские староверы, те, которых описывал Гребенщиков, — не хотели признавать советскую власть, не хотели вступать в ряды красной армии и в течение 25 лет укрывались в непроходимых дебрях Сибирской тайги, вырастив и воспитав в своем духе новое поколение. Не хотели воевать, не хотели проливать кровь. Но когда пришел критический момент — добыли оружие. Не знаю, где все это было и сколько людей погибло. Своими глазами я видела наднях, как через наш поселок Костарево вооруженные отряды советских войск провели этапом сотни две мужчин, со скованными руками. Был трескучий мороз. Среди шедших были раненые, хромые, кое-как одетые люди, прошедшие в таком виде, **со скованными голыми руками**, должно быть много километров. За этапом ехало 3-4 воза саней с ранеными или ослабевшими... «бандитами». По рассказам — живыми сдались немногие — большинство последний заряд оставили себе. Женщин в этапе не было. А что же с ними? Боже мой! Как жутко! Что ждет этих скованных, обмороженных людей?! Их повели в Парабель, в... «паспортный стол». Не могу забыть этого зрелища в сумерках зимнего дня. Узнала, что узников отправили этапом в Колпашевскую тюрьму (за много километров), так как здесь нет места.

Видалась с знакомой из Риги. Она получила известие, что ее сын умер в Соликамских лагерях от истощения... Он умер, а она седая, беспомощная в своем капюре ходит, плачет и зачем-то живет! Как страшно жить без цели и надежды в этом жутком водовороте. Я и многие еще из нас живем надеждой. Приближается второе Рождество. Я устала и нравственно и физически. Систематически не досыпаю. Мысли притупляются, круг их суживается, порой находит апатия, хочется только заснуть, уйти совсем. Испортились мои часы (старенькие, сестрины, она бросила их мне уже в вагон). Если не удастся их еще починить — придется трудно — погубят прогулы (ми-

нутное опоздание на работу). За прогулы судят быстро и сурово. Война!

19.XII. В 6 час. утра еще темно. Скрипучий мороз. Тихо, только снег под ногами скрипит, как крахмал. Было ночное дежурство, топила печи, думала, писала письмо, грелась у огня, длинная ночь... Под утро сообразила, что сегодня твой день, родной Николинька? Где же ты?! Откликнись! Когда же я и где найду тебя? Когда? Или никогда? Верю, верю твердо, что найду, дождусь, все вынесу, встречу. Хочу, чтобы ты сейчас это почувствовал и тоже верил. Господи! Пошли Нике силу и бодрость! Бывают дни, когда в душе и ясно и тепло... Но дней таких становится все меньше и нету сил.

Вчера нас четверых в конторе судили самосудом на заседании Организационного Бюро за то, что мы взяли из магазина **за деньги** сверх нормы по 2 кг. скотского жиру (лоя). Постановили: предать суду... но, в конце-концов, приговор смягчили и ограничились строгим выговором с предупреждением. Все чаще становится нестерпимо тяжело...

20.XII.42. «Наши войска прорвали неприятельский фронт в среднем течении Дона, освободили населенные пункты. Взяты трофеи. Враг понес большие потери». Из газеты.

(Продолжение следует)

Елена Ишутина

СТИХИ О КАМЧАТКЕ

Посвящается молодежи, едущей на Восток

1

Царь Пётр добился сироты, —
Полоски узенькой землицы, —
Что поднялась из водной широты, —
В далеких эрах — островок безлицый,
Заплакана, задернута туманом,
К Большой Земле припала слабым станом.

Гляди, на карте ивовый листок,
Который сбоку бьется одинок!

Царь пожелал торгового добра,
Для кораблей дороги и оплота,
Наметил ястребиный глаз Петра
Вдали стоянку северного флота...

Писал наказ якутский воевода
В те времена: «По лесу и по водам
Ступай, казак Атласов; и ясак
Богатых соболей достань, казак,
В земле неизвестной...»

Как многие рождённые в Сибири,
Вынослив, тверд, отважен и жесток,
Лелеянный холодным ветром шири,
Землепроходец вышел на восток.

* Эти стихи присланы нам с оказией из СССР. Автора их там не печатают «из-за несозвучности». Имя его мы предпочитаем не называть, хотя автор и хотел этого. РЕД.

Атласов помнил о пушистых шкурах,
До берегов скалистых дошагав,
Но столько нового он видел в бурях —
Людей особенных, гигантских трав!

Как мучилось суденышко «Фортуна»!
Команда вовсе выбилась из сил...
Недолго Крашенинников подумал
И в пропасть вод последний груз пустил.
Безмерный ветер! Воду рвешь в лохмотья
И штурману ломаешь кости плеч.
Северный ветер! Ненавистник плоти!
Ты вечно будешь пустоту стеречь?
Огромная, бессмысленная лошадь,
Встав на дыбы, «Фортуну» подняла...
Она хотела, верно, сделать плоше,
Но бессознательно людей спасла: —
Швырнула их на берега Камчатки
Косматая Охотская волна,
Заохала, забилась, как в припадке,
А ночью судно с цепи сорвала...

Кто он? Его лицо глядит с портрета —
Сановник в белоснежном парике.
У капитана недостатков нету:
Слова правдивые на языке.
Большие брови колесом. Угрюмо,
Рассеянно глядит и тяжело.
Как нужен он, хотя с тех пор бесшумно
Две сотни лет меж нами пролегло.
У Крашенинникова живописцы
На палубе стояли, не одни
Охотники до редкостной лисицы,
Что сами хищникам лесным сродни.
Он не обидел кроткого эвена.

Семян с собой привез в туманный край
И на Камчатке необыкновенный
Снял с огорода репы урожай.

Для поздних поколений Витус Беринг —
Не человек, а медный командор.
Но он ступил полуживым на берег,
Где прах его сокрыли тени гор.
Мы думаем: какое знал он горе?
Как мог он быть печален, несчастлив?
Он, кто имеет Берингово море
И острова, и собственный пролив?

Остались в памяти людей не муки
Тех дней, когда он чахнул и замолк,
Но твёрдый шаг, властительные руки,
Великолепно выполненный долг.
В честь кораблей его Петра и Павла
Назвали город утренней зари.
Прошли года, и не узнать о главном,
Не увидеть героя изнутри. . .

С подстриженной клинышком бородкой,
С лицом врача — ученый Комаров
Прошел в наш век неспешною походкой
Капризнейший из полуостровов.
В труде трехтомном он слегка печально
Приходит к выводу, что скал и рек, —
Кругом — растительность многострадальна:
То губит пепел, то мороз и снег.
Но в ускользящих неделях лета
Такой есть гармонический аккорд
Прозрачных красок, воздуха и света,
Что сдастся всякий, как бы ни был горд!

Ботаник расставался с сожаленьем,
Пройдя весь край и вдоль, и поперёк
С кипящим миром буйственных растений,
Где каждый глубоко взглянул цветок.

Отчаянная из морских дикарок
Больших людей брала себе в подарок!

Да полно, так ли трепетна Камчатка,
Как занавесочка, прибитая к окну?
Для нас для всех давно уж не загадка —
Она в две Франции, в Италии длину.
Разбились об нее англофранцузы,
И проглотил эскадру океан.
Помимо памятника Лаперузу,
Есть славная могила партизан.
Лишая игельмена сытой доли,
Японцы отбирали лососей. . .
А всё же им не дали полной воли, —
Обратно схлынули к земле своей.
Пришельцы жадно убивали зверя,
Играющего возле берегов.
Есть у Камчатки черная потеря:
Кто сладких истребил морских коров?

Деляческим конторам нужен соболь.
Песцы — рождаются для счастья дам.
Глядится в зеркало прекрасная особа,
Чуть вспоминая: «Север — где-то там...»

Края берут захватнически — грубо,
В глаза не глядя, не целуя в губы...

Колеблются порой и медлят сроки:
Ни друга не приносит, ни врага.
Чернеют с моря сопки одиноки, —
Все связи с миром порвала пурга.
Там, в глубине спокойной, ровной суши
Несутся тройки, мчатся поезда,
Столицы блеск, простор уездной глуши, —
Кому ж нужна взбешённая вода?
Камчатка? Это не у нас — на карте...
Не будь помянута в хороший день! —
Камчатка? — это на последней парте,
Где школьнику пошевелинуться лень...
Своих снегов, своих ветров довольно!
Кто ж хочет загонять себя в тиски?
Там бунтари пускай находят долю,
Да каторжные ссыльные полки!
Целая вечность месячной езды
До чёрной ночи, ледяной воды...

Жил ветер до создания Земли.
Моря и океан еще летали
В мельчайших каплях водяной пыли,
А ветры — небеса передвигали.
Еще в пространстве мутноглубом
Не значилось ни Севера, ни Юга,
Как из массива ветра выпал слой,
Взвился, как буря, и напал на друга.
Могло быть так, что схватку двух ветров,
Которой нет во времени начала,
Огромный допустил вселенский ров,
Чтоб тело первое не заскучало.
Есть корни ветра, есть его ростки.
Но человеческою мерой мерян, —
Единый ветер, исполненный тоски,
С голодным, непокорным нравом зверя.

Причесан лесом, притеснён в горах
И наглыми столицами отравлен,
Утратил ветер истовый размах,
Чем был до летоисчисления славен.
И всё же он еще поговорит,
Поставит человека на колени,
Земля еще не раз изменит вид
По прихоти его велений,
На города и нивы наведёт
Могучих сил упорное железо,
Вода седая двинется вперед,
И будет оборона бесполезна.

Всегда ненастно Берингово море,
И леденит Охотская волна,
Полоски синей не сыскать в просторе,
Откуда в спину выгнана весна.
Подобран ладно пароход вступает
В густое месиво акульных волн, —
Им только зубы позабыли вставить,
А то весь хищнический облик полн.
Всё вытеснят, как самое большое,
Два месяца ожесточенных бурь...
У моряка нет сил побыть с душою:
Где это было — тихий дом, лазурь?
Колючий снег впивается в команду,
Снаряды ветра сотрясают ум.
Дракон воздушный кем-то был обманут
И выпустил во всё пространство шум,
О, низкие тона животной боли! —
У мясника не дрогнула рука,
А ночью разрослось в морском раздолье
Предсмертное страдание быка...
Тупой солдат бил сапогом по ране
Того, кто извиваясь, камни грыз.

Такое было в поле утром рано,
Но не ушло бесследно в почву вниз.
Где ж и построиться рядами в войско
Трем миллионам с палочкой слепых,
Чтоб горькое накопленное свойство
Трубою взвыло в бурях ветровых?
Тоска тюрьмы, сырого подземелья
Широко выльется под свод небес.
Тот голос, что кричал и плакал в теле
Теперь войдет, как ствол в летящий лес.
В переселеньях, сдвигах неустанных
Полувопрос проходит ветерка:
Как без вести сестра пропала Анна,
Родным не кинув даже башмачка?
И плачет женщина, что отнял долю
Тяжелый, грубый оборот судьбы, —
Ушёл с чудовищной гримасой боли
Тот, в чьей груди хотелось сердцем быть.

Всегда ненастно Берингово море.
В Охотском море частый снегопад.
Камчатский край — разгулье ветровое!
Метеорологи так говорят.

2

Камчатка с моря — чёрный силуэт,
Где резко выделен вулкана конус.
Моряк вздыхает: «берега, но нет,
Не той земли, где созревает колос...»
Авачинская бухта — лучше всех.
Так подана, так вделана удобно.
Любому плователю будет грех
Другую бухту ей признать подобной.
Скала Три Брата. Братья на скале —
Встревоженные каменные гуси;

Они приход встречают кораблей,
Далеких выстрелов из тьмы не струсив.
Изогнуты их шеи той рукой,
Которой скульптор подражает слабо;
Как передался пыл сторожевой
Бескрылых тел и шей безглавых!

Дорог здесь нет. Крутые берега,
Тропа глухая, скачка горной речки...
А всё же выросла, как на родных лугах,
Березка белая с душой овечки.
Не побоялась посмотреть в лицо
Воюющего с небом океана,
Не побоялась разомкнуть кольцо
Усопших и бунтующих вулканов.
Она окаменела на ветру,
Утратила девические косы,
Похожа на рязанскую сестру,
Как долгий дождь на утренние росы.
То карликовым в тундре ползунком,
То кой-где рощей призрачной и хилой
Вступила белым станом в бурелом,
Куда сосна, дуб, липа — не вступили.

Двухсотметровой лиственнице тут
Ель-матушка протягивает лапу.
Но хвойных мало. Будто чей-то суд
Провел ряды их мимо по этапу.

Лес — парковый. Деревья так стоят,
Как было б нужно для прогулки дачной.
Сюда бы клумбы, как в хороший сад,
Где зелень светлая без тени мрачной.
Гулять бы! Но кусты вам платье рвут,
Шиповник извивается под кедром.
На ровном месте путники во рву,
Запутались и провалились в недра.

Здесь и трава нашла иной язык, —
Она не стелится ковром под ноги.
Хвощ, вейник, шеломайник, борщевик
Могучим войском заняли дороги.
В лесу травы с трудом пробьется конь,
И всадник испытает омут страха.
Трава терпела омуты погонь
И, наконец то, дождалась размаха!

Но не одни колючки да испуг —
Дары приносит жителю поляна,
Идет на тесто одичалый лук,
Плодит картофель лилия-сарана.
Осоки сладкой стебли высоки.
Не встретится здесь мокрошлёпой жабы.
На полуострове нет ни одной змеи.
Нет ящерицы детям для забавы.

Не все пришли деревья и грибы, —
Особенный здесь был отбор судьбы.

Нас Петропавловск встретил ясным днем.
Мы вместе вышли в город с парохода.
Прямая улица, однообразный дом —
Двух, трехэтажный. Что-то нет народа.
Мы загород. Зеленая гора,
Морской пейзаж, безоблачное небо...
Один вскричал: чудесная игра!
Не может быть, чтоб я тут раньше не был!
Другой промолвил: мой холмистый Крым,
Полдневный берег в облаченьи синем...
— Нет, это Сочи, где я молодым
Блуждал в горах, — сказал Андрей Овчинин.
А Бабушкин был рад: как под Москвой!

Долинушка с берёзкой, к речке скаты!
Там будет луг за рощицей сквозной,
Ромашками и щавелем богатый...

Последний спутник, молчаливый Неро,
Сравнил окрестность с Рио-де-Жанейро.

О, Северное Лето! Всё летит
Из недр земных на светлый праздник мира!
Цветы не помнят никаких обид.
Не осудите безответность примул.
Стремится астра прикоснуться звёзд.
Семья фиалок — на лугах альпийских.
Лиловый ирис вытянулся в рост.
Глаз анемона хочет видеть близких.
Внезапно посланную тишину
Не упустить бы, как счастливый случай,
Когда действительность подобна сну
И — губительные — милосердны кручи.
Шлёт массу мягкой влаги океан, —
Она придержана хребтом Срединным.
Кинжальный холод Евразийских стран!
Не прикасайся зелени долинной!
Цветет вода озёр, залива, рек, —
На полуострове воды две трети, —
Для этой сини мелок человек,
Равнодостойный взор ее не встретит.
Что скажем? — изумруды, бирюза,
Сапфиры... Ограничено хваленье!
Молчи о том, чего назвать нельзя,
Но ощути величье поклоненья.

О северное лето, на лету
Сиянием играющее робко!
Вдруг — снег в июне. Мерзнет поутру
Ромашка удивленная и — сопка.

Оно, как девочка в чужой семье,
В углу сидящая, поджавши ножку.
Большая баба на большой скамье
Велит ей в дождик собирать морошку.
Ой, ягодка меж ветровых морей!
Нет радостней, когда на травке тонкой
Становится час от часу крупней,
Румянится с помпончиком ребенка!
Милее тундра в августовский срок,
Покрыта синеватой голубикой.
Медведю с гор идет пирушка впрок, —
Он — сладкий пьяница в низине дикой.
По-девичьи гуляют веселы
Брусника в поле, княженика в чаще...
Во всех краях все ягоды милы,
Но говорят, что нет камчатских слаще..

О Северное лето! Ты — весна,
Улыбчивая, лёгкая, сквозная,
Всегда — невеста, никогда — жена,
Которая царит, повелевая...

...Записки геолога...

...Семнадцать градусов мороза...
Я из палатки вышел поутру,
Где, растопив печурку, два матроса Лежали
возле покрасневших труб.
Зима, зима ... Сурово и надолго
Стеною плотной обступает ночь ...
Ни по любви, ни по веленью долга
Земле ничем не можем мы помочь ...
Так думалось. Вдруг луч блеснул из тучи.
Как на ладони, — ясная лазурь.
Просвет мгновенный, сладостно-колючий
Вскрыл неожиданно немую хмурь.

Глядь, — предо мною озерцо в два метра.
В нем лебедь медленный, а берега —
Зеленые... Здесь остановка ветра,
Подземных вод горячие блага.
Казалось бы, фантазия Шопена
Аккордами пылающих прелюд
Могла создать такую перемену —
Цветы в снегах, и лебеди плывут...
И я разделся для горячей ванны,
Оставил на морозе торбаза,
Чтоб музыка вошла волной желанной
В меня всецело, не в одни глаза.
О, детский смех купанья! О победа!
Плыву в сорокаградусном тепле.
Эй, кто вы там? Кащеи? Людоеды?
Не истребить вам счастья на земле!
Раздетый, добежал я до палатки,
Снял корку льда с обмёрзнувших волос
И улыбался, будто все загадки
Я разрешил, преодолев мороз!

Земля зимой светлее неба.
Она бела, но хмуро и черно,
Как будто солнечный огонь там не был,
Над снегом опрокинутое дно.
Иди пешком и вязни по колени.
Колёса бездорожья не берут.
Собаки, самолёты и олени —
Одни осият переправы труд.
Олень согласен помогать эвену.
Не выбросит из санок седока,
Войдет в упряжку и поддастся плену.
Олень — безгневен. Спит его тоска.
Но кто поймет к чему он предназначен?
В его глазах — случаен человек.

Из рода в род он только ждёт удачи —
В сиянье северное вскинуть бег!
Собаки — преданные людям кони.
Эвена, упакованного в мех,
Везет во мраке и в снегу не тонет
Раскаявшийся волк — вернее всех.
На острове собачий санаторий
Устроен заслуженным вожакам;
Мохнатый пёс на пляже смотрит в море,
Ему привозят пищу по волнам.
Сердечный друг! Ты, как жилище нужен!
В метели брошено, в бои ветров
Так много полусказочных жемчужин
Твоих безвестных, жертвенных трудов!..
Нет лошадей. Не слышен конский топот.
Но жители селения Ключи
Видали: издавая ржанья хохот,
Табун пугливый мечется в ночи...

Кто и отпрянул прочь от рубежа:
В лесах нет рыси, лося и ежа.

Вся в птицах, рыбах и зверях Камчатка.
Есть жаворонок утренних высот.
Для осени — журавль. И куропатка
Под снегом тундры скудный корм клюет.
То, без чего ночам нехватит глуби, —
Сова и филин — окрыляют мрак.
Они семейной радости не любят,
Угрюмой далью остановлен зрак.
Вороны с воробьями видны в окнах.
Они везде, где дышит наша грудь,
Без их соседства ни от грусти охнуть,
Ни двор себе построить, ни вздремнуть.
Как вечер, глухари глотают гальку

И на дорогах плещутся в пыли;
Охотники всех перебьют. Не жалко?
С грузовика прицелься и пали!
Поморник, пуночка, балканы, кайра...
Гнездятся на скалистых берегах,
Весною нежно селятся попарно,
Как станет ива в розовых серьгах...
На Командорских островах базары:
Свистящим шумом налетевших стай,
Гусиным кряком, возгласом гагары
Полн серо-белый каменистый край.
Характеры хозяек, важных дядей
Медлительная поступь, детский писк,
Морские сплетни, сбор старшин в отряде,
Косые взгляды, самкам страстный иск...
Есть птицы-львы, есть птицы-волки, зайцы.
Но в их полет, естественный, как сон,
Из гнёзд воруя неостывших яйца,
Птиц истребляя, — человек влюблен!

Ужасны лица рыб, как после пытки.
Оледенелая печаль сельдей
Тревожит. Вы — серебряные слитки,
Какой навек вас поразил злодей?
Кит был когда-то самым крупным зверем
Из движущихся по земле громад.
Сородичам он не остался верен,
В глубь отошел арктических прохлад.
Державной древней книгой упомянут
О судьбах племени людского — кит.
Раздастся гул во чреве, из тумана
Прорвутся звуки, — он заговорит...
Гонимые, как ветром лист осенний,
Треска, навага — попадают в сеть.
Что ж, рыбу поросль, и без сожаленья,

Мы примем, — утешительная снедь...
Форель озёрная, а твой обычай,
Как ландыш ранний прятаться весной.
У рыбников камчатскую чавычу
Зовут дальневосточной ветчиной.

Постичь таланты тайные горбуши
Ни у кого не оказалось прав:
Как стая рыб находит берег суши,
Пять лет по океану проблуждав?
Как в то же устье речки, в те заливы
Горбуша возвращается опять,
Где мать её была на миг счастлива,
Где за любовь пришлось ей умирать?
Весной не только чайки-рыболовы
На лососевых шествиях, но и
Медведи, и собаки, и коровы
На отмели оставят след ноги.
Есть тупомордый рыба-слон белуха,
Большой пищеварительный завод.
Узнала б ты, последняя простуха,
Что жир твой — на хронометры идет.
Порочащую глубь воды, касатку,
Дельфиновая родила семья.
Вот случаи, когда убийство сладко —
Из всей скотины — самая свинья!
Моржи теперь отброшены на север,
От берегов Камчатки далеко;
На ложбищах восходят их посевы
И ладят с ночью ледяной легко.
Клыки из пасти вытекли, как слюни,
Свиреп усатых ластоногих вид...
А, может быть, и старый морж, и юный
Расположение доброе хранит?
У котиков морских сложился веер
Из задних, взброшенных высоко ног.

Как будто бы не слишком жарок север,
Чтоб кто-нибудь обмахиваться мог?
Когда калан почесывал затылок,
Он был похож на Сидора-Кузьму.
Вернуться бы от берегов остылых
Ему с женою в русскую избу...
В тюленьей туше — человечность жеста...
А так морские котики и львы,
Нашедшие в мертвецком царстве место,
Большие, узкоглазые, — кто вы?
Кто ты, летающий на голой выси,
Каменно-дикое отродье скал,
Баран снегов? Тебе какие мысли
Непроходимый ветер подсказал?
Один пророс ты на прибрежной круче.
Оттает же когда-нибудь твой взор,
Ты спустишься в селенье, как из тучи,
И слово вложишь в общий разговор.

Атласов говорил: «подобны горы
Скирду и велики гораздо там.
А то — подобны стогу сена»... Скоро
Другим пришлось дивиться тем горам.
Сто конусов спят в шапке ледниковой
И не сменяют сонного лица.
Семнадцать дремлют. И тревожны двое
Из тихоокеанского кольца.
Один приехавший писал: «я умер
И, если всё-таки потом воскрес,
К домам вернулся, — в бесконечной думе
Живу о бесконечности небес...
Я видел, как луна пришла к вулканам.
В часы непобедимой тишины
Была Камчатка — камень, океаном
Заглотанный в глубины без волны.

Я смел присутствовать при разговоре,
Как стебель трав прилип, не шевелясь.
Луна лила свое большое горе,
Наладив прямо с цепью сопок связь.
— «Потухших кратеров потухший кратер
Включен в союз. Мы вместе помолчим.
Мы не выбрасываем больше ядер,
Не выпускаем в небо черный дым.
Я вся — из трещин, грубых плит, обломков.
Ночами — многоградусный мороз.
А днём — ожоги. Ледяная кромка
Оттаивает лужей тусклых слез.
Плыву — непогребенная планета.
Влачусь я — жертва солнечных страстей, —
С чужих плечей сияньем приодета,
Случайной передатчицей вестей...
Прими, гора, мое прикосновенье.
Потухшим кратером на мой — гляди!
Еще я сохранила сожаленье
К таким же ранам на чужой груди»...
Я поднял голову. Не состраданье
Мой слабый переполнило состав.
Ответить жалостливым подаяньем
Светилу неба — не имел я прав.
В огромных сроках может стать зеленой
Землю — Солнце и Луной — Земля —
Разочарованной и углубленной,
Где врезан зной в умершие поля.
Но сверх всего есть в мировом обычье
Торжественный и в распаденьях строй,
Что мы неполно назовём величьем
И очень отдаленно — красотой.

Гроза! Раскаты радостного гнева!
Как плод созрелый, летняя гроза!
Спадают ближе к людям силы неба,

Чтоб шире открывали мы глаза!
Грозы решительный, свободный гений,
Громовый — нас обогащает звук.
Выхватывает молния мгновенье
Проверить, — кто ей равноценный друг?
Гроза подземная... С утра курится,
Из головы пускает сопка шлейф...
В ее нутре застрявшая зарница,
Сложившихся пород не пожалев,
Шевелится... Что в кратере лежало,
Как ископаемое ледника,
Ох, озеро тебя сперва качало
Ты выселено будешь в облака!
Гора вдалась в те недра недр, откуда
И началось когда-то дело дел.
Как в поезде дрожащая посуда,
Ребристый склон вулкана зазвенел.
Гул нарастал расплавленной пучины,
Колебя толщу земляной коры.
Восьмисот градусов жара — причина
Одушевленья Ключевской горы!
Геологи из-за копейки знаний
Ползли, пока не начало швырять
Фундаментами грандиозных зданий...
Им нужен был кристалл нашатыря.
И фотоснимки. И набрать в стаканы
Идущий струйками подземный газ...
Шёл чёрный дождь. Сквозь чёрный слой тумана
Из жерла вытек раскаленный глаз.
Геолог после в записную книжку
Занес ни для чего обрывки строк:
То, что я видел, делает излишним
Быть человеком с парой рук и ног...
Земля безумнее всего земного,
Что на земле привыкли звать земным...
Зачем-то нужно начинать всё снова —

Горообразование, магма, дым...
Как тяжело ударило мне совесть...
То были роды? Празднество? Война?
В одну сложилось извержение новость,
В один вопрос безумный: чья вина?

Остановил Овчинина вниманье
Темнокоричневый оттенок скал,
Когда он попросту, без изысканья
В долине сопок хмурым днем гулял.
Коричневый, а отблеск фиолетов;
Играет камень в мягкие тона.
Не сохраняют камни красок лета,
Но чуть-чуть гамма радуги видна.
Горы Узона конус желто-серый
Подтеки красноватые живут...
На мягкий фон наброшен полной мерой
Вершины горной белоснежный плат.
Вдоль речки Шумной шел Андрей Овчинин.
Он помнил, что у ней нашли рукав,
Той теплоты, которою лечили
Тяжелый сон, утолщенный сустав.
Горячие ручьи покрыли скалы
Расшитым водорослевым ковром;
Тут и оранжевое пробежало,
На черном поле — желтизны излом...
Долина гейзеров. Стоят фонтаны
Величиною с гвоздик, в рост сосны,
Шипят, фырчат и шепчут неустанно,
С голов до пят в пары облечены.
Вдруг — сильный взрыв, и в зеркало бассейна
Кидается струя! Вскипает гладь...
Кипящим семенем долину сеяло...
Необразумленная благодать!
Андрей Овчинин думал: тут волшебной —

Укравши — палочкой владел урод,
В селенье множественных струй целебных
Втолкнул гнетущий сероводород!
Злорадно и насмешливо смешало
С фонтаном — запах тухлого яйца!
В шептаньи струй, сквозь пара покрывало
Не увидеть возлюбленной лица...

3

В двадцатом веке долгую дорогу —
Москва—Урал—Камчатка—самолёт
За двое суток, высчитанных строго,
С бесстрастным треском в воздухе возьмет.
Железных руд проворные ищейки,
Аэроснимки, аэромагнит,
Машин-гигантов ощупи, лазейки
Ещё не слишком исказили вид.
Что дальше? Ради модного курорта
Хребет Камчатки вышел из морей?
Послужит бухта гоночному спорту,
Свидетельница первых кораблей,
Где над водами плакала труба:
«Как трудно верить в торжество добра!»
Для чванной женщины с избытком жира
Снега сверкали сопки Ключевской?
К ипохондрическим магнатам мира
Взывал ночами голос ветровой?
Быть-может, из раздробленной Европы
Сюда перенесут второй Париж?
Зальёт асфальт нехоженые тропы
Покроют луг альпийский — сотни крыш?

И если ты обратно канешь в море
В томлении непонятой красы,
Страна со льдом и пламенем во взоре, —
У нищих милостыни не проси!

Приезжий гость усугубит невзгону,
Скалу — Три Брата — сокрушит снаряд.
Способные понять леса и воду
Художники на страже не стоят.

Пришёл бы тот в далёкий Петропавловск,
Кто бы повел с ветрами разговор,
Всему дал имя, как дорогу славы,
Кто был бы свой среди могучих гор.
Как травку рядом, ясно видел дали,
Слиянно милостив и справедлив.
Такие руки хорошо бы взяли
Лист ивовый, уроненный в залив!

Безмерный ветер! Ветер, полный горя!
Ты должен радостную весть прислать!
О край Камчатский! Берингово море!
За меньшее не стоило страдать,
За меньшее не стоило страдать!

Неизвестный

З А П И С И *

Так всю жизнь не понимал я никогда, как можно находить смысл жизни в службе, в хозяйстве, в политике, в наживе, в семье . . . Я с истинным страхом смотрел всегда на всякое благополучие, приобретение которого и обладание которым поглощало человека, а излишество и обычная низость этого благополучия вызывали во мне ненависть — даже всякая средняя гостиная с неизбежной лампой на высокой подставке под громадным рогатым абажуром из красного шелка выводили меня из себя.

Я рос одиноко. Всякий в юности к чему-нибудь готовится и в известный срок вступает в ту или иную житейскую деятельность, в соучастие с общей людской деятельностью. А к чему готовился я и во . . . вступал? Я рос без сверстников, в юности их тоже не имел да и не мог иметь: прохождения обычных путей юности — гимназия, университет — мне было не дано. Все в эту пору чему-нибудь где-нибудь учатся, и там, каждый в своей среде, встречаются, сходятся; а я нигде не учился, никакой среды не знал.

«Je ne vis que pour écrire». Нет, я жил все-таки не затем, чтобы только писать и не ради посмертной памяти: что может быть страшнее бюста в каком-нибудь городском сквере,

* Автограф Ив. Ал. Бунина. Даты нет. В этих записях Иван Алексеевич говорит о своей юности, брате и о Варваре Владимировне Пашенко. Л. Зуров.

где в летнее предвечернее время с визгом будут носиться вокруг него, вечно немого, неподвижного, тонконогие мещанские дети! На постаменте: «такому-то», а кто об этом «таком-то» думает? Ниже две даты: год рождения и год смерти, с чертой между ними: и вот эта-то черта, ровно ничего не говорящая, и есть вся никому неведомая жизнь «такого-то».

Так-же **внутренно** одиноко, обособленно и незрело, вне всякого общества, жил я и в пору моей жизни с ней.** Я попрежнему чувствовал, что я чужой всем званиям и состояниям (равно как и всем женщинам: ведь это даже как бы и не люди, а какие-то совсем особые существа, живущие рядом с людьми, еще никогда никем точно не определенные, непонятные, хотя от начала веков люди только и делают, что думают о них). Я жил на всех и на все смотря со стороны, до конца ни с кем не соединяясь, — даже с нею и с братом.*** И попрежнему дома не сиделось...

Ив. Бунин

** Варварой Владимировной Пашенко.

*** Юлием Алексеевичем Буниным.

П О Э Т

Он жил лохматым зачумленным филином,
Ходил в каком-то диком колпаке
И гнал стихи по мозговым извилинам,
Как гонят самогон в змеевике.

Он весь был в небо обращен как Пулково,
И звезды, ослепительно-легки,
С ночного неба просветленно-гулково,
Когда писал он, падали в стихи.

Врывался ветер громкий и нахрапистый,
И облако над крышами несло,
А он бежал, бубня свои анапесты ,
Совсем как дождь, проскакывая вкось.

И в приступе ночного одичания
Он добывать со дна сознания мог
Стихи такого звездного качания,
Что, ослепляя, сваливали с ног.

Но у стихов совсем другие скорости,
Чем у обиды или у беды,
И у него с его судьбой напористой
Шли долгие большие нелады.

И вот, когда отчаяние вызрело
И дальше жить уже не стало сил —
Он глянул в небо и единым выстрелом
Все звезды во вселенной погасил.

* * *

Неслышно входит городское лето
В отведенное для деревьев гетто,
Где пробегает по дорожке пес
И где деревьев несколько вразброс,
Тревожно размещая светотени,
Стоят как декорации на сцене.

А чуть поодаль — каменный потоп:
Плывет за небоскребом небоскреб,
И снова небоскреб за небоскребом
Вздывается гигантом темнолобым.

А я стою под ветром и листвой,
Я от листвы и ветра сам не свой,

И этот сад почти как остров странен:
Мне кажется, что я — островитянин

И что когда-то, может быть в раю,
Я видел эту бедную скамью,

И эту невысокую ограду,
И видел пса, бегущего по саду,

И предо мной встает со дна морей
Сад затонувшей юности мой.

* * *

Хватит слоняться праздно по безднам.
Надо заняться чем-то полезным.
Скажем, печати купить и начать
Ставить на каждом закате печать.

Чтобы закат у дороги шоссейной
Как экспонат изучался музейный,
Чтобы из мира он выбыл со штемпелем,
Зарегистрирован розово-пепельным,

Чтобы отметил спектральный анализ,
Как эти краски хрустально менялись.
Может быть дети в столетьи тридцатом
Сложат по этим соцветьям закаты,

Сверят по рубрикам, сложат по кубикам,
Смажут по небу карминовым тюбиком,
И над каким-нибудь городом хмурым
Небо зажгут золотым абажуром, —

Это стихи мои вспыхнут, как хворост,
Это закат мой зажжется еще раз.
Я умиленно составлю каталог
Дынно-лимонно-оранжево-алых,

Медных закатов,
Дымных закатов,
Летних закатов,
Зимних закатов,

Тощих и розовых
В рощах березовых,
Распространенных
В тихих затоках,

Свет расплескавших
В лиственных чащах,
В бешеной ярости
Брошенных в заросли,

Где-то на пастбищах
Медленно гаснущих,
Золототканых
На океанах.

А закат все ниже стекал
И наполнял сияниями
Вечернего неба стакан,
Поставленный между зданиями.

Иван Елагин

Г О Р О Д А.

Высоко над облаками летит наш самолет. Солнце сияет с нестерпимой для глаз яркостью и блестящим дождем заливают крылья. Кажется, будто вся эта металлическая громада невесомо замерла в пространстве между солнцем и облаками и лишь иногда тень самолета где-то далеко вырисовывается на облаке и стремится вперед параллельно нам, мягким, дымчатым контуром указывая, что это наше собственное отражение. Куда ни глянешь, под нами пушистая, белая пена и так хорошо, мерно и мощно звучат приглушенные моторы, что невольно думаешь: откуда бы взяться страху? Испытываешь ощущение вечности, точно всегда так было и всегда будет висеть в пространстве этот самолет, а о том что внизу Азия, какие-то неведомые пустыни, реки и города, можно думать лишь с большим усилием.

После завтрака путешественники — в дремотном состоянии; кто лениво глядит в газету, кто смотрит в окно, кто тихонько разговаривает с соседом, о чем угадываю скорее по движению губ, а кто — спит. Откинув спинку кресла, чтобы было поудобнее, я стараюсь дать отдых телу, я устала от бессонных ночей, от смены впечатлений, от напряжения переводческой работы, а больше всего от сдерживаемого внутреннего волнения: невозможно нам смотреть на Россию глазами туриста, потому и растрачивается много сил на необходимость сохранять это внешнее спокойствие. Хорошо бы заснуть, но сон над облаками, на высоте 2.000 метров, не по мне!

Смотрю на стрелку альтиметра и вижу что она медленно ползет вниз. Значит мы начинаем спускаться. Действительно, пышная, сливочная пена облаков приближается; лоскутами и

белыми перьями что-то несется мимо маленьких окон. Сразу иссякли брызжущие потоки солнца, будто южное лето в мгновение сменилось осенью и хмурые сумерки поползли по кабине.

Предстоящее приземление путешественники ощущают инстинктом. Я ни разу не видела чтобы кто-нибудь не проснулся перед контактом с землей. Говорят что будит качка, перемена высоты, подрагивание аппарата перед посадкой...

Будто роса появилась на крыльях, на стеклах в небольших прямоугольных оконцах. Мы спустились в полосу дождя и под нами открылась степь, темнобурая, корявая, поросшая волосами, как слоновая кожа. Земля совсем уже низко, а признаков жилья не видать, как не видать и аэродрома с привычными геометрическими узорами посадочных полос.

Мягко, почти не дрогнув, самолет коснулся земли и мы катимся по ней с невероятной быстротой, а кругом всё та же степь, по которой ложатся по обе стороны, как от урагана, стебли сухой травы.

Никто не затянул поясов при спуске и все приходят в движение одновременно, не ожидая световых сигналов. Собирают мелкий ручной багаж, книги, фотоаппараты. И вдруг ненормальная, глухая тишина — выключены моторы и голова сразу становится тяжелой, больно постреливает в ушах, говоришь и не слышишь собственного голоса. Бортпроводница зовет нас к выходу и раздает верхнюю одежду.

Небольшие, серые строения, совсем молодой, разбитый клумбами садик с отцветающей, чахлой геранью, пирамидальные тополя, обещающие когда-нибудь превратиться в красивые аллеи... а кругом пустыня, бесплодная и безрадостная. Никаких асфальтовых посадочных полос. Нам говорят, что здесь всегда самолеты приземляются на крепкую бурую почву поросшую полынью, запахом которой насыщен воздух. И, хоть полыни я никогда в жизни не видала, я как-то сразу поняла, догадалась, что это именно полынь. Растирая между ладонями длинные, душистые стебли, с их ароматом вдыхаю какие-то давно, давно забытые воспоминания.

В небольшой столовой воздушного вокзала нас рассаживают вокруг столов. По очереди мы ходим мыть руки и я не без удивления знакомлюсь с рукомойником, из которого скудной струйкой течет не водопроводная, а принесенная в ведре вода. Жесткий кирпичик непахнущего мыла, серое, из холстины, полотенце, уже мокрое от десятков рук.

Где мы? Это аэропорт города А., совершенно в стороне от намеченного маршрута, и мы попали сюда случайно, из-за атмосферных пертурбаций того края, куда нам надо было сегодня прилететь. Город А.! Он — в 30 километрах отсюда. Около 180.000 жителей, такая-то промышленность, университет, академия наук, столько-то технических институтов... и много, много сбивчивых сведений, которые я перевожу как заученный урок, в то время как у меня учащено бьется сердце и дрожит зажженная папироса между пальцами. Это заметно, и я прячу руки под стол, но кто-то уже говорит: «Вы страшно бледны, может быть вам нехорошо?» Нет, мне хорошо, мне слишком хорошо! Но как это сказать, когда зубы колотятся как в лихорадке и я, загасив папиросу, кулаком придерживаю глупо прыгающий подбородок. О, мои милые западноевропейские попутчики! Вы сами поняли или вспомнили, что этот город А. — мое место рождения, в котором стоит — или не стоит уже? — мой дом. Что там на окраине, за завесой пирамидальных тополей есть — или и его больше нет? — маленькое, провинциальное кладбище, на котором похоронен мой отец. И не я, а вы сами, с помощью другого переводчика, начинаете волноваться и хлопотливо расспрашивать о возможности попасть в город. Эти переговоры дают мне время успокоиться, справиться с подбородком и дрожащими пальцами, хлебнуть из стакана, который кто-то уже поставил передо мною. Молниеносно, среди путанных мыслей, укором проносится в голове много раз мною же сказанное о европейской сухости, об отсутствии тепла этих слишком цивилизованных людей!

Немного позже выяснилось, что вылететь по назначению сегодня будет нельзя и ночевка предполагается на аэровокза-

ле. А за моей спиной идут настойчивые, поистине дипломатические переговоры, в результате которых я смогу, одна из всей нашей группы, съездить в А. на несколько часов. Я не буду говорить о том, как трудно было добиться этого. Трудно или нет, я попала в А. и то что мне мерещилось в жару, в бреду перенесенных когда-то в детстве болезней, что часто и настойчиво снилось на протяжении лет, стало реальным, благодаря дождям, воздушным циклонам и грозам, закрывшим нам путь к месту назначения.

Где-то дребезжали телефонные звонки, по эфиру предупреждались какие-то люди, менялась программа встречи; заранее вымученные приветственные речи на подстрочниках летели в бумажные корзины, а я счастливая, с замирающим сердцем, по ухабистой, шоссейной дороге приближалась к городу А.

«Да что вы, гражданка, такой площади никогда у нас не было! Мы тут уже 15 годов проживаем, а не слышали», говорит мне немного нараспев молодая женщина. Мой водитель совсем недавно приехал в А. и мне то и дело приходится обращаться к прохожим, чтобы найти ту центральную площадь, от которой я надеюсь ориентироваться сама. Некоторые нелюбезно отмахиваются и оглядывают меня с недоверием, другие, как эта женщина, приветливы и очевидно желают оказать помощь. «Есть вот тут по третьей улице направо Ленинская площадь, там Горсовет помещается, там спросите, только собора у нас нет, это вы что-то путаете. А вы откуда будете? По всему видно что не здешняя», добавляет она благожелательно. Я хотела бы поговорить с ней, удовлетворить любопытство, которое написано на ее лице, но у нас считаное время, а мы мечемся уже больше часа по неизвестным улицам этого совсем, совсем чужого города, будто играем в какую-то роковую игру в прятки. Мне надо найти бывшую Соборную площадь, так как только от нее, как «от печки» я смогу выбраться к нашей улице, к переулку где был наш дом. Мы едем по широким магистралям, застроенным но-

выми, преждевременно состарившимися домами. Вдоль тротуаров — пыльные, стройные тополя. На перекрестках, уютные скверы засажены яркими, пышными цветами и пыль пририта только что прошедшими поливалками-цистернами. Многолюдной, пестрой толпой горожане идут по улицам, едут в переполненных автобусах, грузовиках, потрепанных легковых машинах. Женщины одеты в яркие, летние платья, многие из них в чистых, белых косыночках. Девочки в коричневых, форменных платьицах и черных передниках (точь в точь такие носила моя мать в гимназические годы), с туго заплетенными косами, гурьбой возвращаются из школы. Мальчики в синевато-серых тужурках и с огромными картузами, которые придают им неприятно казенный вид. Большинство мужчин в тубетейках, либо вышитых белым шелком по черному, либо в пестрых, коврового узора. И все они куда-то идут, куда-то торопятся, у всех где-то здесь свой дом, своя комната. Все они мои земляки, бесконечно чужие и далекие, и никому нет до меня дела, до того, что я судорожно мечусь в поисках своего прошлого. Некого спросить, т. к. неудобно мне даже говорить о Соборной площади и видеть на лицах людей такое же удивление, как если бы я себя выдавала за Шемаханскую царицу.

Мне совестно перед водителем, которого я то и дело терблю противоречивыми просьбами «направо», «налево», но весь его вид — олицетворение терпения человека, получившего задание исполнить, из уважения к иностранной делегации, странный каприз гражданки.

Опять улицы и какие-то площади, ничем не похожие на ту единственную, пустынную, пыльную, обсаженную туями и которую я помню так явственно, что вижу перед глазами зеленые луковки куполов над ее собором. Там в одну из великопостных служб чуть не задавили меня в толпе, ребенком и я помню няню, которая как взволнованная клушка, вытаскивала меня полумертвую от страха!

Если бы я нашла эту площадь, то сразу бы нашла и улицу, по которой мы ходили на уроки, нашла бы тот дом,

совсем близко от нашего переулка, где в палисаднике, на каменных цоколях сияли огромные цветные, стеклянные шары; в них весело и радужно играло солнце, а люди отражались смешными, пузатыми и расплывчатыми. Между шарами росли туи, точь в точь такие, как те что на Рождество заменяли елки, которых не водилось в этом краю.

«Гражданка, мне бы горячего надо взять, а то застрянем мы тут с вами, а ваши улетят поутру не дождавшись», говорит мне водитель шутливо. Он смотрит на меня без всякой досады, оскалив рот сплошных металлических зубов. Мне неловко перед ним и я угощаю его папиросами.

Я нахожусь в состоянии предельного уныния, меня даже не занимает город, толпа, лотки с фруктами, с пыльными арбузами, перед которыми в акуратненькие очереди становятся покупатели. Я прошу водителя отвезти меня на кладбище, а пока я буду там он поедет взять бензин. Мы съезжаем в боковые улицы, где движение значительно слабее, а дома меньше, беднее и всё носит характер фабричного пригорода. По избитым мостовым мы пробираемся к окраине. Здесь где-то должен быть стекольный завод, откуда детьми мы приносили звенящие сосульки из отходов стекла. Я спрашиваю водителя и он подтверждает, а скоро и показывает мне стены колоссального заводского здания. Может быть это и стекольный завод, раз гласит о том большая железная доска над воротами, но только это не тот наш завод детства, где мы впервые увидели как выдувают стаканы и стекла для керосиновых ламп.

Неужели там на кладбище тоже все будет другое и я не найду небольшой церкви, без которой опять мне станет невозможно найти могилу? Неужели я уеду из моего города, ничего не вспомнив, ничего не найдя и мой отец умрет во второй раз, потому что и могилы его не осталось на кладбище города А., на который он так много поработал когда-то и в общественной жизни которого принимал такое большое участие.

Мой водитель уехал в город, а я иду медленным шагом по выметенным дорожкам провинциального кладбища. Уже издалека я заметила малюсенькую, плохо облицованную церковь, с одним серым шелушащимся куполом и накренившимся на бок крестом. Вид этой церкви совсем не такой какою я ее помнила, она будто осела, вросла в землю, как Афинская Капникарея. Тем не менее она обнадеживает меня, всем своим ветхим контуром говорит, что я не зря сюда пришла. Сколько могил! Многие без крестов, без памятников, с холмиками почти сравнявшимися с землей, с дощечками на которых буквы и имена давно смыты дождем. Главные дорожки поддерживаются в порядке, обсажены деревьями, а чуть взглянешь в сторону, сорная трава, завядшие не убранные цветы, бумажные, вылинявшие венки, наводящие скорбные мысли.

Почему я помню так хорошо, где наша могила? Верно потому что десятки раз бывала здесь с матерью и память того времени была молодая, свежая.

Я иду уверенно к церкви, обхожу ее правее и хотя всё совсем иное, я знаю что искать мне надо вот тут, где-то совсем близко. А мысленно я всё твержу про себя «Боже, только бы найти, только бы не оказалось, что отец ушел от меня второй раз». Я уже плохо разбираю надписи, слезы застилают глаза и здесь можно дать им полную волю, я одна. Пришла сюда без цветов, в ярком летнем платье, важно было только прийти. Вот это и есть в жизни то, что самое главное.

Вот! Боже, спасибо Тебе. Да, да, эта решетка, но какая старенькая, трухлявая, в ней уже не хватает большей части прутьев. И туя сзади, та ли, другая ли, наверное другая — и плита тоже какая-то совсем другая. Больше нет скамеечки, а крест маленький, новый из плохо обструганного дерева, на котором остались даже сучки, а на дощечке, тоже не старой, доморощенным образом, масляной краской написано его имя, отчество и фамилия. Я стою потрясенная, потерянная и слезы наполняют мои глаза. И если бы не годами выработанная,

европейская выдержка, упала бы я на эту землю и голосила бы, причитая, как русская баба.

Долго я стояла там, так долго, что потеряла счет времени. И молилась и разговаривала с отцом, за себя, за мать, за няню, всё ему рассказала, как бежали, где жили, кто обижал, кто помогал; говорила о том, как вначале всё было чуждо, а теперь стало близким, хоть и совсем не родным, как свое родное теперь кажется чужим и часто непонятным; и вдруг то, чего я не заметила в своем волнении, или из-за слез не рассмотрела, бросилось мне в глаза. У подножья креста лежали завядшие, осыпавшиеся георгины. Не только не умер мой отец второй смертью, но он жив в чьей-то памяти, жив в заботе рук принесших ему эти цветы, сделавших этот крест, эту дощечку. Кажется больше чем самой могилой умилена я была этими знаками памяти кого-то, о ком я никогда не узнаю, да и важно ли мне узнать? Не чужим будет мне теперь этот город.

Я всё, почти всё успела сказать ему, и югда просталась с ним, то меня так трясли рыдания, что я не услышала шагов за собою.

Только почувствовала руку на плече и добрый, мягкий голос моего водителя заставил меня обернуться. Уводил он меня как родную, по-братски взяв за плечи, называл не гражданкой, а девушкой, так подсказало ему сердце. Говорил нескладные слова в утешение, слов не помню, но как говорил помню и никогда не забуду.

Вез по ухабам в глубоком молчании и я не видела, ни как ехали, ни как покинули город, всё утирала не прекращающиеся слезы, с ощущением просветленности, ясности в сердце и чего-то истинного и самого важного.

Когда мы вернулись на аэровокзал, столовая была освещена и пуста. На столе стояла неубранная посуда и два прибора, для меня и водителя. Утомленная уборщица уговаривала меня поужинать, сказала, что гости пошли в аэропортовый кино смотреть Уланову. Она сокрушенно смотрела на мое за-

плаканное лицо и по-доброму ворчала, когда я отказалась от ужина. Я пошла в отведенную для меня комнату, где на жестком, узеньком диване была постлана постель.

На рассвете мы полетели дальше.

Христина Керн

**
*

Грузный, он на улице всех выше,
Весь морщинами изрытый, серый,
Вровень с плоской автобусной крышей,
Вышедший из сказки, из химеры.

Без узды, без повода шагая,
В переливах бубенцов на сбруе
Глаз косит, когда толпа чужая
Оттеснит ливрею цирковую...

Мартовское солнце не согреет
Кровь, кипевшую в нездешнем зное.
Ставший в пройденных путях мудрее,
Взгляд хранит бесстрастие покоя.

Не забыл он джунглей, их прохлады,
К Гангу путь под сводами густыми,
И томят бетонные громады,
Жалок пленный ветер между ними...

Восклицаний радостных не слыша,
На улыбки не глядя, без цели,
Шествует, огромней всех и выше,
За ливреей синей по панели...

Лидия Вольтцева

ПАТЕТИЧЕСКАЯ СИМФОНΙΑ

Александр Николаевич шел по пустынной набережной Остенде. Резкий ветер хлестал лицо. Подняв воротник пальто и надвинув низко шляпу, зябко поеживался. В глубоких карманах коченели руки, перчатки забыл в гостинице. То и дело оглядывался, всматриваясь в дорогу, хотя автомобиль Анны мог выехать только навстречу ему. Шел и думал напряженно. Чужой, неуютный и даже будто враждебный город действовал на него подавляюще. Хмурое, неприязненное, безрадостное море. На набережной ни души. Город как будто вымер. Слева стеной стояли дома. Почти везде были наглухо спущены шторы. Далеко, на мокром, гладком пляже, человек тренировал собаку. Яркорыжий сеттер несся у самой воды за брошенной палкой, послушно приносил ее хозяину и потом снова мчался за ней.

Изредка в окнах появлялись люди, и взглянув на море, точно чтобы убедиться что оно всё еще тут, исчезали.

Александр Николаевич посмотрел на часы. Хотелось курить, но на ветру не смог зажечь папиросу, да и рукам стало так холодно, что, поморщась, засунул их опять в карманы.

Среди тяжелых, назойливых мыслей выплыло воспоминание о последнем концерте. Овация ошеломляющая, вызывали не меньше десяти раз. Но он совсем был недоволен собой. Оркестр оказался не вдохновляющим. От скрипок так и не добился нужной звучности. Работал перед концертом много, с каждой группой инструментов отдельно, старался передать им тот подъем, который все предыдущие дни ощущал сам и который хотел воплотить в музыке. Внешне эти дни оставался спокоен, спал плохо, испытывал по утрам болезненное раздражение. Анна хвалила безмерно, говорила что оркестр зву-

чал прекрасно, а он совсем не был рад и жалел о том, что Анна не слыхала его за пультом русского, привычного ансамбля.

Где Анна? Почему ее еще нет? Что она скажет ему? И хотя все последние дни он надеялся на радость, на счастье, сегодня вглядываясь в хмурый пейзаж Северного моря видел в нем какую-то свою обреченность. Даже в полете чаек чудилось ему беспокойство и их голодный, резкий крик был особенно неприятен.

Из боковой улицы показалась белая машина Анны. Не успел подойти. Анна уже шла к нему, бодрая, улыбающаяся, с протянутыми руками.

— Ну что, хорошо доехали? Я уже волновался, — сказал Александр Николаевич заглядывая ей в лицо.

Хотелось сразу, по выражению этого лица, догадаться о принятом ею решении. Но ничего прочесть не мог. Лицо было счастливое, но он знал, что это ничего не значит. Смотрел внимательно в ее большие, серые глаза, на светлые волосы выбившиеся из-под шапочки. Чувствовал энергичное пожатие ее руки.

— Вы замерзли тут из-за меня? — спросила Анна. — Ужас как холодно, скорее бы в теплое место! А тоскливо до чего здесь... Нет, Александр, вы только посмотрите на этот пейзаж. Грусть безысходная, море мутное, злое. А до чего безобразны все эти дома!

— Ну, куда пойдём? — спросил Александр, беря ее под руку. — Здесь правда очень неуютно. Ведите меня, я ведь тут ничего не знаю. Ох, как я рад вас видеть. Будто даже теплее стало.

Они пошли к машине, в которой было тепло, пахло английским пряным табаком и духами Анны. Она включила мотор и они медленно поехали вдоль набережной, мимо слепых окон с опущенными шторами. Над ними с пронзительным криком металась чайка.

— Куда это вы меня везете? — спросил Александр Николаевич.

— Для начала на край света, а там посмотрим!

Мелькнула мысль, как хорошо было б с Анной, да на край света! Но для него край света оказался бы совсем недалеко: на французской границе, если ехать вперед, на голландской, если назад. Всего каких-то несколько десятков километров, в обоих случаях. Для Анны же край света мог бы быть значительно дальше, примерно на берегу Атлантического океана...

Остенде остался позади, но уже виднелись очертания домов другого городка, а сбоку был всё тот же широкий и гладкий пляж, тусклое, пустое море и волны ритмично накатывающиеся на прибрежный песок.

Анна остановила машину, повернулась к нему и как дома на кушетке подобрала под себя ноги.

— Вот теперь покурим! — сказала она доставая портсигар. Глубоко затянулась. Выпустила дым носом. Посмотрела на него пристально, чуть сощутив глаза и сказала совсем неожиданно:

— Какой вы славный, Александр! Просто не верится, что существуют на свете такие настоящие люди. Ведь большинство, это... как бы сказать... ну массовая продукция. А вы какой-то добротный, единственный!

Екнуло сердце. Вот сейчас скажет «ДА», или как в сегодня вспомнившейся Песне о Гайавате «Я пойду с тобою, муж мой». Скажет без пафоса, тихо и просто. И всё сразу станет ясно. Нет, впрочем далеко не всё. Согласие Анны обеспечит их счастьем на несколько часов. На первые несколько ступеней длинной лестницы, на верху которой должна поместиться жизнь с Анной в Москве. И хотя все последние ночи он считал что счастье заключено в «ДА» Анны, здесь в автомобиле, близко от нее, от ее тепла, от запаха ее духов, точно знал, что кроме ее согласия, счастье зависит еще от бесконечного количества обстоятельств. Потому и не торопился задать ей прямой вопрос, а лишь внимательно следил за ее движениями, за тем как она сняла шапочку, как поправляла волосы какой-то маленькой, странной щеточкой. Весь женский мир Анны был полон этими неизвестными и чуждыми ему вещами. Они

были неотъемлемой частью ее мира и вместе с тем казалось, что Анна никаким вещам не придает большого значения, они окружали ее, давая удобства, уют, а она пользовалась ими машинально и так же легко отдавала их, если они кому-нибудь нравились.

Опять вспомнил о длинной лестнице и в ожидании того, что теперь уже непременно скажет Анна, настороженно смотрел на нее.

Она вдруг как-то сосредоточилась, перестала глядеть ему в глаза и голосом чужим и холодным сказала, будто с большим трудом:

— Я знаю что вы ждете, хотя и не задали мне вопроса. Александр... как мне трудно сказать вам... Так много думала и днем и ночью, что совсем сон потеряла. Ну, как могу я принять решение в таком...

Ее голос дрогнул и лицо приняло горькое, беззащитное выражение. Александру Николаевичу стало страшно ее жаль. Он нагнулся, взял ее руку и тихо спросил:

— Значит нет?

— Нет, — ответила она одними губами, беззвучно. Потом быстро повернулась к нему и неожиданно улыбнулась, в то время как ему казалось, что она вот-вот разрыдается. Она всегда делала и говорила то, чего он не ожидал и это озадачивало его, но и ужасно нравилось.

Долго, долго сидели молча. Он держал ее руку и гладил, перебирая худощавые пальцы, играя кольцами. Ее рука казалась ему беспомощной, несчастной, точно ей была присуща какая-то своя собственная жизнь.

— Ну что же, Аннушка, (он еще никогда ее так не называл) значит не будет у нас высокой лестницы, чтобы взбираться по ней вдвоем.

— Саша, — сказала она тихо, тоже употребляя первый раз уменьшительное имя, — я чувствую себя так, как будто с меня содрали кожу. Больно, больно до дури ...

— Голубушка, я всё понимаю. Но не могу помочь. Разве я могу просить вас заново родиться и начать совсем, со-

всем, другую жизнь? Это вы только сами можете решить. Но мне одно важно знать, доверяете ли вы мне?

— Конечно доверяю! Это я себе не доверяю. Это в себе я не уверена, зная что именно надо переродиться и пойти по пути мне совсем неизвестному, но по пути с которого нет возврата... Если бы разговор шел только о вас и обо мне! Боже мой, я и к зулусам бы поехала жить с вами, если у них можно бы было...

Она осеклась. Вспомнила что дала себе слово не говорить этого, но фраза вырвалась произвольно. Быстро, быстро, желая исправить неисправимое добавила:

— Я может быть очень плохая мать и плохая дочь, но чувствую что могла бы моего Петю оставить у его отца и маму могла бы оставить, если бы знала, что связь с ними не будет порвана. Мы не раз уже расставались надолго, но письма, телефон, приезды на Пасху, на Рождество.... А тут уехать совсем, не зная увижу ли их, ничего не зная как сложится жизнь...

Анна говорила сбивчиво и знала что это не то. Верит ли он ей? Хотелось чтобы НЕ верил, т. к. любя правду она страдала от того, что ему, человеку настоящему, пожалуй единственному настоящему из всех встреченных ею за многие годы, ей приходилось говорить полуправду, а то пожалуй и совсем лгать. Но сказать ему то что было передумано ею за последние дни она была не в силах, т. к. если бы он признал ее доводы правильными, это означало бы что вся его жизнь — ложь, а она не хотела допустить этого.

Они долго сидели молча и каждый старался угадать ход мыслей другого. По стеклу ритмично постукивал дождь, стекая юркими струйками на кузов машины. Неприветливой, холодной завесой этот дождь отмежевал их от остального мира, точно в маленькой кабине два человека сидели оторванные от всего, каждый со своей личной и неразрешимой судьбой. И когда заговорил Александр, Анна вздрогнула, так глубоко она была погружена в свои мысли.

— Не знаю Аня, где-то сбился я с пути и если в этом

моя вина перед вами, простите. Как это вышло, что мне всё показалось столь простым и возможным? Это вы, чародейка, столкнули меня с моей проторенной дороги!

Он посмотрел на нее ласково, с улыбкой, но глаза не улыбались, а только губы. Ей хотелось чтобы он говорил долго, а ей позволил бы молчать. Она боялась, что вдруг у нее могут вырваться упоминания об Иване Денисовиче, о Некрасове, Пастернаке, Евтушенко, о людях которых он лично знал, бросить ему в лицо их имена было бы равносильно тому что ударить его. И он, точно угадывал ее мысли, продолжал тихо, спокойно, каким-то мечтательным голосом:

— Мне сразу было так хорошо с вами, по-родному. На приеме после первого парижского концерта все эти чужие лица, программы, которые я подписывал думая «а зачем им это?». И на чужом языке говорить было трудно. Как я был утомлен в тот вечер! Как волновался перед концертом! А тут подошли вы, назвали по имени-отчеству и стали говорить про Патетическую. Я не мог бы сейчас повторить того что вы сказали, но тогда подумал: «а до чего же она права!» Мне пришла сразу мысль, что для вас Петр Ильич... как бы сказать... близкий знакомый, так же как и для меня самого. Конечно на этом дело бы и кончилось. Мы очень редко во время турне завязываем знакомства. Но встретить вас на улице Парижа, в этом огромном городе, где как вы сами тогда сказали можно десять лет прожить и не встретить знакомого... это было ни дать ни взять удивительное совпадение! Такое в книжке прочтешь, скажешь: натяжка. Надо же действительно!..

Он вдруг замолчал, будто раздосадованный чем-то, а Анна, высвободив руку и доставая из сумочки папиросу, сказала:

— Пожалуйста, Саша, расскажите как было дальше!

— Вы сами знаете как. Даже вспомнить неловко, как я попросил вас помочь мне купить кое-какие вещи. В магазине я всё смотрел как вы хорошо выбираете, как всеми ямочками щек улыбаетесь продавцу, а он вроде коробейника в песне раскладывает перед вами перчатки, галстуки, шарфы... Помню

и маленький, темный бар куда мы пошли пить кофе и где вы говорили о себе. Там-то и пришла мне мысль, что надо познакомиться вас с моими друзьями, потому что многие из них были вам хорошо известны. Стихи их знали, книги читали, на концертах, которые они давали, вы были.

— А потом? — беспокойно спросила Анна.

— А потом я был у вас. Это первый раз, что я попал в дом запросто, за границей и мне очень понравилось у вас. Что-то такое безошибочно русское есть в вашей квартире, в том как вы живете, в подушках шитых крестиком, в книгах, среди которых замелькали фамилии моих друзей... Тут вот наверное я и сошел с рельс. Стал примерять как бы вы жили в Москве. Со мною. То что вы хвалили в парижской жизни меня неприятно покалывало и я думал «нет, она у нас не сможет», а когда вы что-нибудь критиковали, когда говорили о людях, об их бездушности, я тут же настораживался «у нас ей будет уютно, мои товарищи ей придутся по душе». Ну а потом... вы сами знаете. Потом... это сегодня. Взял бы я вас, положил в чемодан и увез с собой! А там видно будет. Одинокой вы больше никогда не были бы...

— Я и здесь не одинока, Саша, — грустно и не очень уверенно сказала Анна

— Одинока, голубушка, одинока несмотря на Петю и на матушку вашу. Когда я слышу как вы говорите «у нас в Париже», «у нас во Франции» мне так не по себе становится, будто вас, такую правдивую я уличаю во лжи.

Анна опустила оконное стекло, чтобы проветрить машину от накопившегося в ней дыма и обоим стало холодно. У нее стучали зубы.

— Заедем куда-нибудь выпить кофе, — сказала Анна.

— Ну конечно, милая, вы вся дрожите.

Проехав несколько минут они увидели большую гостиницу и внизу открытое, освещенное кафе. Было еще далеко до сумерек, но казалось что ночь уже настает, низко нависшие тучи и частый дождь поглотили дневной свет.

В кафе было пусто и очень тепло. За стойкой одинокий официант читал газету. По приглушенному радио давали «Времена Года» Вивальди. Анна весело сказала:

— Когда приедете в Москву, скажите друзьям, что на бельгийском взморье весь персонал слушает Вивальди! Культурно, не правда ли?

— Очень культурно, — отозвался он.

Ему было странно видеть ее такой спокойной. Он знал, был уверен, что ей очень тяжело. Несколько раз в машине ему казалось, что глаза ее полны слез. И именно тогда она смотрела на небо и улыбалась, а слезы как-то удерживались на ресницах.

Официант принес низкие, стеклянные чашки, в которые по капелькам цедился кофе. Анна крутила что-то очень сложное, что стояло над чашками и внимательно следила за темной жидкостью, точно считала капли. Потом зажгла папиросу и следя за рассеивающейся стружкой дыма, сказала тихо, но внятно:

— Мне хотелось бы чтобы вы знали, что я никогда и ни с кем не чувствовала себя так хорошо и так тепло как с вами. О музыке, которую я так люблю, о поэзии, о людях, о природе, с вами говорить было для меня легко и интересно. И как-то по-новому. Но есть одна самая важная вещь и о ней я всё время молчала или если говорила, то в полутонах и сегодня мы тоже не будем говорить.

Он смотрел на нее очень серьезно и она знала, что он понял, потому что он прижал свою руку к ее губам, призывая к молчанию. Она поцеловала его теплую ладонь и когда он отнял ее, она всё же сказала:

— О России.

Анна долго стояла на пристани, хотя теплоход давно исчез в мутных сумерках, выползших из воды. С моря дул тот же холодный, режущий ветер, нес с собою запах водорослей, мокрого каната, смолы. В ушах всё еще слышался про-

тяжкий, угрожающий звук гудка, белый платок был в ее руках, как ненужный предмет в плохом сценарии. Никого не было кругом, куда-то исчезли грузчики, которые только недавно перекликались по-фламандски. Отъехали машины с шумной делегацией провожавшей кого-то в Англию. На земле светлым пятном белели лепестки осыпавшегося георгина.

Анна подумала: что со мной, ни слез, ни грусти? Какая-то ужасающая пустота, сжимающая сердце почти до физической боли.

Она быстро пошла к тому месту где оставила машину. По дороге в Брюссель следила внимательно за разворачивающейся, блестящей автострадой, за встречными машинами мчавшимися по мокрому асфальту. Стрелка спидометра неуклонно стояла на 120.

«Не думать, ни о чем не думать!» вслух сказала Анна. «Машина это идеальное средство против истерии, дамских нервов и отчаяния». Решила, что в Брюсселе выпьет кофе, может быть что-нибудь съест и потом ночью поедет в Париж. Знала что ночевка в гостинице была бы нестерпима. Только дом, только родные стены могут как-то защитить от невыносимой пустоты. Машина это подобие дома, собственный герметический мирок. Ночной путь в Париж — отсрочка от тоски, которая пока только стережет, но уже завтра, как полноправный хозяин займет место этой пустоты.

— Саша, мой милый Саша, я не сказала тебе, но ведь ты понял? Ни мама, ни Петя, и уж конечно не твои две комнаты в Москве, а Иван Денисович помешал нам и доктор Живаго. Помешал твой друг Н. исключенный из партии за свою прекрасную, правдивую книгу, помешал герой Симонова так беспощадно пострадавший за потерю партийного билета, в окружении у немцев. Мне ни в какой комнате не было бы с тобой тесно, если жить могла бы правдиво и свободно. Ты ведь знаешь, что привычку думать вслух не заменишь легко новыми навыками, молчанием, недоговоренностью. Прости меня, если я ясно не сказала тебе всего этого. Я даже не знаю что мне казалось страшнее: что бы ты согласился с моими до-

водами или начал говорить что всё это не так. Ты сделал себе из искусства, из музыки защитную броню, а я ни за что не хотела найти в ней то уязвимое место, которое вероятно от себя самого ты с осторожностью прячешь.

Так думала Анна приближаясь к Брюсселю, над которым в мокрой мгле повисло красное зарево, как от пожара. Несуразный, огромный собор непонятного стиля, как часовой стоял у въезда в столицу. Миновав его, Анна поехала по виадуку над улицами, над домами с освещенными окнами, над яркими неоновыми рекламами.

Позже, перед чашкой горячего кофе, подумала: завтра начнется снова парижская жизнь, и Александр превратится в фамилию на пластинках, в изображение на забытых афишах, которых так много было расклеено перед первым парижским концертом. Надо будет поскорее нырнуть в повседневность, в аккуратненький людской холодок, в вежливый и очень цивилизованный Запад.

Отвратительно свистел ветер и гребешки волн захлестывали палубу, обдавая Александра Николаевича холодной, соленой пылью. Брезент покрывающий какие-то огромные тюки с треском натягивался и неугомонно хлопал. Сильная качка загнала всех пассажиров в рубку. Александр Николаевич не хотел быть на людях, смотреть на их позеленевшие, больные лица.

Пошатываясь он шел коридорами и по узенькому трапу выбрался на палубу. Казалось что ничего доброго нет на свете, так сурово было кругом, так низко навалилось беззвездное небо и теплоход кряхтел и поскрипывал точно ревматик.

Тщетно пытался зажечь папиросу, ветром задувало спичку. Кто-то подскочил к нему и умело, пригоршней сделав чашечку, зажег спичку, пламя которой спокойно горело между просвечивающимися розовыми ладонями. Это был чер-

ный матрос. Он также бесшумно исчез, приютился где-то поблизости между тюками и затянул жалостную песню, нездешним гортанным голосом.

Давила тоска. Старался не думать об Анне. Почему-то вспомнил о том, что Чайковский часто плакал. Сосредоточенно стал такт за тактом воспроизводить Патетическую, которой будет дирижировать в Лондоне. «Подходит, удивительно подходит!» сказал себе вслух, испугавшись собственного голоса. Понял, что ни одно произведение так не совпадает с его внутренним состоянием, как Патетическая. Невероятное стремление к чему-то и полная недостижимость этого «чего-то». Это и есть Патетическая! Гнаться за невозможным... Какие там тяжелые вздохи у Чайковского! Как надывается душа. «Вот это постараюсь передать. Так передам, что всем станет понятно до какой бездны отчаяния может дойти неудовлетворенный человек».

Сообразил, что думая о Патетической, он думает об Анне и о себе. Есть что-то сродственное в этой музыке и в том что он сам переживал. Только век теперь другой, суровый, жестокий, где нет места плачущему гениальному композитору, нет места маленькому, простому, человеческому счастью.

Лицо Анны в его мужественном усилии улыбаться до последней минуты ясно встало перед ним, вытеснив ощущение холода, ветра, качки. Но он с усилием вернулся к Патетической, мысленно следя за разворачивающейся первой частью, очень быстро весь ушел в воображаемую работу с оркестром. Поймал себя на том, что напевает целые музыкальные фразы. Годами выработанная дисциплина уходить в музыку с головой не изменила и на этот раз. Но сегодня, несмотря на сосредоточенную мысль о музыке, мозг работал параллельно и в другом плане, не мешая и не прерывая мелодию. Точно также в день, когда арестовали отца и он дирижировал Бетховенской Пасторалью, зная что мать одна дома, и в таком состоянии два человека совмещались в нем, не мешая одному другому...

Христина Керн

1

Опять допрос. Наедине
Уже с одним Тобою.
Конечно, правда есть в вине,
Когда готовясь к бою,
Ты ждешь неотвратимый бой
С общеизвестною судьбой.
«Ты был ли зол?»

— Накоротке.

«В кого ты верил?»

— В Бога.

Но, Боже мой, в Твоей руке
Других лежит дорога,
Неискушенных и простых,
Уже, воистину, святых.
«Что ты любил?»

— Был рад стихам.

«Тогда тебя прощаю,
И к вольным всем твоим грехам
Невольный приобщаю».

2

У отцов свои преданья,
У отцов свои грехи:
Недостроенные зданья,
Непрочтенные стихи.
И, уже ни в чём не каюсь,
Лоб крестя иль не крестя,
Подрастает, озираясь,
Эмигрантское дитя.

3

И страшной смертью ты умрешь.
Умрешь не телом, а душою.
С тобою будет этот нож,
Тебе завещанный судьбою
На память о моей любви
И о расплате неминуемой,
Моей расплате самой лучшей:
Ценою собственной крови.
И блеск холодный лезвия,
Как смертоносная змея
Тебя отравит, заморозит,
Заморожив, заставит жить;
Но уж никто, никто не сможет
Тебя заставить полюбить.

4

Что возратить тебе? Ах, бесполезно!
В потоке жалоб и угроз
Уже дрожит единственный, железный
Мой, в этой жизни нерушимый мост.
Всё вверх ногами в сокрушительном потоке:
Обломки покаяний и грехов,
Дела и люди, — строки, строки,
Тобой переименованных стихов.
Любовь к стихам — чудесная обуза,
Любовь к стихам — крушение и беда.
И мечется испуганная муза,
Сгорая от девичьего стыда.

Николай Тuroверов

В О Л К

— Ну и что же? Так и живешь?

— Так и живу, — ответил он равнодушно. — Меня не зря волком зовут... Меня именем никто не величает. Да и кто его знает, это мое имя? Думаю, никто...

Я посмотрел на «волка». В его лице было что-то по-настоящему звериное. И не потому, что оно заросло щетиной, а просто так: в его глазах мельтешили какие-то огоньки, как у сильной и очень злой кошки.

— Ну, не скажи, — возразил я. — Имя твое знают. Мне, видишь ли, в городе начальник милиции посоветовал. Встретишь, дескать, в тайге «волка», или по слуху найдешь, так знай: это и есть тот самый Данила Давыдов, что...

— Вишь, с кем у тебя в городе знакомство! — криво усмехнулся Данила. — С мильтоном! И что ж: он тебе всё обо мне рассказал? Об моей волчьей жизни? И об том, как и почему Данила Давыдов зверем стал?

Я опять посмотрел в глаза «волка», опять увидел эти жуткие огоньки и вспомнил всё, что мне о нем говорили.

— Нет, — ответил я. — Не рассказывал. Ничего. Просто посоветовал набрести на твою избушку в тайге, посидеть у кедров, покалякать. Жизнь, говорят, сложная была у тебя. Обидели, говорят, тебя крепко. А с того, ты вроде отшатнулся от людей и...

— И «волком» обернулся — спокойно спросил Данила. — Да ты не стесняйся. Я, брат, привык. Ко всему. Только к одному я не могу привыкнуть... Знаешь к чему? — теперь уже громко и со злобой крикнул Данила. — К человеку не могу я привыкнуть...

— К человеку?

— А ты что думал?

Я даже растерялся... И в растерянности начал разглядывать кое-как слаженную избушку. По бревнам было заметно, что стоит она тут недавно, и вместе с тем невольная приходила мысль, что в избушке уже прожили свою жизнь многие поколения странных людей. И пень, на котором я сидел, представлялся мне древним-древним, и сам Данила очень и очень старым. Но когда я вновь повернулся к «волку», я даже с удивлением поднял брови: ему было лет сорок, что ли...

— Почему к человеку? — спросил я.

У него дернулись губы. Он ничего не ответил. Он молча сидел на камне у двери. Опущенные глаза его как будто впились в землю. Тишина была тяжелая.

— Тебе что, лет пятьдесят?

Данила усмехнулся.

— По моей жизни можно дать и больше, — сказал он. — Много больше. Ты вот что... ты может думаешь, что другой о себе мечтает небывалое, такое, вроде бы прожито много-много жизней и вообще пора честь знать. Пора, значит, в домовину отправляться. В гроб, то-есть... хотя... у меня то домовины, конечно, не будет. Это я зря сказал. Так себе, притулюсь где-то к кедру. И всё. Даже черви меня не сумеют потревожить: раньше того волки сожрут. Вот...

— Вот какие ты себе пышные похороны выдумал, — попробовал было и я улыбнуться, но не улыбнулся, не вышло.

— Слушай, Данила... а может лучше к жизни вернуться? К людям? Ведь ты амнистированный...

— Это чтоб шапку снять? — сказал Данила. — Не пойду... И не сниму... Я к человеку ненависть имею. К тому, кто отвернулся от меня. А больше всего к тому, который власть над другим держит. Который другого ставит к стенке или который дает «срок» и еще ждет, чтоб ты за этот же «срок» ему в ножки поклонился...

Он говорил совсем просто и спокойно, как будто выкладывая давно передуманное и решенное.

— Всё это у тебя от того, что кто-то тебя зря обидел... — сказал я. Но смотри сам: ведь кто то же и помиловал, простил...

— Стой! — проговорил Данила. — Как? Ну и сволочь же ты! Простил? Помиловал? Да за что простил, за что миловал? Да знаешь ты, что тот твой **милостивец** должен ко мне придти и меня просить, чтобы я его помиловал и простил. Понимаешь?

— Понимаю, — ответил я. — Я всё понимаю. Я даже знаю, что если бы тот «милостивец» пришел к тебе, то ты...

— Ну? — с явным любопытством спросил Данила.

— То ты... ты бы, Данила, и простил и помиловал...

— Вот это сущая правда, — вздохнув облегченно, сказал Данила. — Я сам о том во сне часто думаю... о том думаю, что сделал бы я с тем, который пришел бы ко мне и по настоящему пожалел о своем грехе. Я бы с ним, знаешь, не судился. Я бы встретил его, того, не по волчьи. Я ему в глаза посмотрел бы... А за то, что он пришел.. Жизнь это, понимаешь, тебе не план, не задание, не норма выработки. Жизнь — она короткая. Ну, пятьдесят, ну, шестьдесят... и кончается, брат, враз и одинаково, что в Кремле, что на нарах. И срок ей не тобой и не мной решен. Начнешь его укорачивать, из человека, гляди, и «волка» сделаешь. А «волку» всё нипочем: он и начнет другого резать вот так...

Данила сделал жуткое движение рукой, как будто сейчас, незримо, полоснул кривым ножом по чьему-то горлу...

— Ну, ну, — сказал Данила, — не пугайся. Это я так: про между прочим! А что ты допытываешься о моей обиде... Что ж! Не знаю... Я тут сам не разберусь... Стенку мне заменили «сроком»... Тогда мне было двадцать три года... Десять — отсидел... Семь — волком живу... Сорок, значит, мне. Тебе кажется — пятьдесят. А мне кажется — тыща лет! И теперь, значит, помиловали. Это после тыщи-то лет! Да на-кой мне это помилование, если из меня зверя образовали? Звером я жрал корни сосенки, а мышшь... тут, знаешь, Сибирь, она огромная-преогромная, а мыши здесь — совсем ерундов-

ские, маленькие, хоть и трудно их поймать. Таких мышей живьем в рот можно с десяток впихнуть... Нет, я не ел мертвого человека. Другие — ели. Я — нет. Только тех, кто ел, виноватить не буду. А теперь, видишь, помиловали. И зря. Меня теперь не миловать надо, меня сейчас надо к стенке ставить, а не тогда, когда безвинного схватили... Ведь когда мне вышло решение на поселение, я поставил себе вот эту избу... и заскучал. И поехал в город (ты там в дружбе с миллицейским гадом!), и там я им рассказал, как я убийцей оказался. Не хочу, говорю, вашего помилования, судите, говорю, меня за убийство и к стенке ставьте... в текущем, говорю, тысяча девятьсот тридцать девятом году... Всё им до точности выложил. И когда, и где, и кого пришил. Ихнего же брата, уполномоченного ихнего, который меня привез с приисков в город. Убил. Потому ненависть к человеку у меня есть. И всё. И что же? Возили меня туда и сюда. На бывшее место происшествия. И следов никаких не нашли. Нет, говорят, он сам, уполномоченный то-есть, сам он зарезался. Ты, говорят, сумасшедший, ты сам на себя поклеп делаешь. Такое, объясняют, бывает с людьми. Я им всё сказал, а они так и не поверили. Понимаешь?

Я слушал и не понимал, кто передо мною: сумасшедший или убийца. Или просто одичавший, а вот теперь нашедший человека, которому можно без опаски рассказывать небылицы.

— Ты вот всё это запомни, — сказал Данила, — запиши в книжечку, напечатай. Пусть люди почитают и посмеются....

Т И М

Скупщиков пушнины Тим не любил. Ему было противно думать, что сюда они приходят для наживы. Ему было больно глядеть, как они жадно хватают песцов и соболей, вьют ими свои упряжки и торопливо исчезают, подсчитывая те большие рубли, которые окажутся в их крепких карманах.

Древний мир Севера их не трогал. Для них он был чужой. Они его боялись. Даже ровный и чистый снег их пугал. Они остерегались ходить по снежной целине, двигаясь по кем-то проложенным следам. Идя по ним, они все время держались за оружие, тогда как Тим, живший ружьем, брал его только по необходимости.

Тим не понимал этих людей. И когда кто-то из них погибал в снегу, Тим спокойно слушал об этом, и думал, что так и надо, что все это правильно, так, как нужно.

Тим любил жизнь. В эту жизнь входила и полярная ночь, очень торжественная и жгучая. Это было свое, родное, близкое, обыкновенное, раз навсегда установленное, вечное. Над вечностью — небо.

Перед вечностью и под этим небом Тим чувствовал себя очень маленьким. И очень большим на бесконечных, нехоженых просторах. Просторы он побеждал. Он уверенно топтал снежные равнины. Голосом и выстрелом он разрушал казавшееся мертвым молчание. И в такие минуты чувствовал себя большим и сильным, способным поспорить с белым Севером.

Севера Тим совсем не боялся. Он в одиночестве мог двигаться со своей упряжкой неизвестно куда, не встречая ничьих следов, не надеясь приметить дымок стоянки охотников.

Одиночество его не смущало. Он умел разговаривать с

собаками. Он был уверен, что они понимают его ласку и шутку.

Тим не знал, что места, по которым он бродил со старым ружьем, примыкают к Полярному Кругу. Если бы кто-нибудь стал ему говорить, что существует какой-то Полярный Круг, он этому не поверил бы. А если бы поверил, отправился бы искать Круг. И не найдя его, он вернулся бы назад и рассчитался бы с обманщиком, как некогда рассчитался с купцом, налгавшим ему, что порох — обыкновенный охотничий порох, такой простой на вид, но такой всегда нужный — лежит на сопке Или, примерно в ста верстах к северо-востоку.

— Нет? — спросил Тим.

— Да, — ответил купец и тут же со смехом добавил: — Разве ты не знаешь, где такая Или?

— Знаю, — ответил Тим. — Я два раза почти подходил к ней. Там всегда была удача на песцов. И на сопке, говоришь, есть порох? И можно брать каждому?

— Можно, можно, — хохотал купец. — Только торопись. Туда ведь надо попасть до темноты...

— И совсем бесплатно? — еще раз спросил Тим. — И тебе не надо давать никаких денег? Ей-Богу?

— Ей-Богу! — поклялся купец, глядя, как покачиваются со смеху его приказчики...

На хохот купеческих молодцов не обратил внимания Тим. Ему не терпелось пойти к сопке. Он сладко думал, что теперь не надо будет отдавать две песцовые шкурки за банку пороха, что он соберет столько серебра, сколько надо для покупки упряжки двухлетних оленей. На новых нартах, как мечталось Тиму, он отправится далеко-далеко, и там найдет себе жену.

Прикинув так, рассудив, что до начала ночной темноты осталось около двух недель, Тим тронулся в путь. Он дважды пересек Полярный Круг, чего, конечно, не заметил, и три раза сидел у костра.

Пюпав на сопку Или, облазив ее сверху донизу, он страшно разозлился: пороха не было. Это несчастье помогло ему

разгадать, почему так дружно хохотали и купец и его приказчики. Поняв, что мечта об оленьей упряжке и о жене пропали, он кинулся назад и успел-таки застать купца на стоянке. Купец запаковывал пушнину и готовился к отъезду.

Купец, конечно, уехал... Хотя позже говорили, что он не сам уехал, а его увезли. И что домой он не попал. И что приказчикам пришлось закопать его в тундре. Рассказывали и о том, что приезжали стражники и хотели арестовать Тима. Но не арестовали. Не было оснований. Драка, правда, случилась. Это верно. Убийства не было. А что человек умирает в пути, такое может стрястись со всяким. Удивляться тут нечему. С этим согласились стражники. Выменяв несколько песцов за бутылку спирту, они уехали.

Тим многого не знал. Но это не мешало ему слыть среди охотников настоящим человеком. А то, что он знал и что умел делать, то знал крепко и делал умело. И потому считался здесь своим и уже настолько сжился с Севером, что о самом себе говорил не Я, а Он.

Когда к нему приходили и назавтра звали идти на промысел песца, он отвечал:

— Тим тоже пойдет...

И все были довольны, что Тим — тоже идет... И никто не вспоминал, что Тим — это все-таки, не человек Севера, что Тим — сын помора. И как-то все забывали, что Тим — это сокращенное от Тимофея... Тимофей — это очень длинно и скучно. Север любит короткое и точное слово. Потому и Тимофея с детства звали Тимом. И Тим удивился бы, если бы его теперь кто-нибудь назвал полным именем.

Сын помора, Тим был христианином, православным. Но что это значит — он не догадывался, хотя кое-что помнил о Христе. Очень мало. Но что крепко осталось у него от детских поморских лет — это святой Николай. Никола всегда был с ним. Когда Тиму выпадали тяжелые и страшные минуты, он тут же звал к себе Николу и верил, что Никола не опаздывает и умеет помочь выбраться из беды.

По словам Тима выходило, что в тот день, когда не зажегся порох и когда черный медведь выбил у него ружье из рук, когда большой, тяжелый медвежий нож валялся в снегу и над Тимом, над головой Тима сверкнули клыки, тогда — по зову Тима — подбежал святой Никола и подал ему нож.

— А какой такой он, Никола? — спрашивали у него слушатели.

— Ну такой, — неуверенно отвечал Тим, — обыкновенный, старенький, светлый... Не то, чтобы светлый, — поправлялся Тим, — а прозрачный. Совсем прозрачный, вроде есть и нет его.

А чтобы всем стало понятнее, Тим рассказал и еще случай. Не такой уж и давний, из прошлой зимы. Это когда Сана сломал себе ногу, не мог двигаться и Тиму пришлось тянуть его на лыжах.

— Это очень тяжело, — говорил Тим. — Знаете, пришлось связать и мои и Сана лыжи. Сделать такие вот нарты. И на такие вот нарты я положил Сана. И мне нужно было идти по глубокому, нетронутому снегу. Ползти по снегу, потому что лыжи мои были под Саном. И тот путь, что на лыжах просто сделать от привала до привала, тот путь тянулся так долго, что у нас вышло все мясо, и я падал лицом в снег, и не мог подняться. А когда я поднимался, глаза мои ничего не видели. А чтобы удержаться на ногах, мне приходилось раскидывать руки. Сана всё это видел и просил, чтобы я бросил его, чтобы стал на свои лыжи и ушел прочь. «Зачем нам умирать вдвоем, — говорил Сана, — лучше я останусь один, а ты иди». Но разве можно такое сделать? Нельзя чтоб человек один умирал. А Сана — человек. Охотник. «Ничего, — отвечал я Сана, — вот сейчас скоро будет лед реки и там легче. И нам вдвоем, может, не придется умирать».

— Ведь так ты говорил мне, Сана, и я так говорил тебе. Ведь верно?

И Сана, который сидел у костра и слушал рассказ Тима, подтвердил.

— И я тянул Сана. По льду реки. Это много легче, чем было прежде. И оттого, что стало легче, и не надо было грудью разбивать снег, я тянул, шагал вперед. У меня уже силы ушли. Я двигался с закрытыми глазами. Мне даже казалось, что иду я и сплю. До того я устал. Я ничего не видел. Ни справа, ни слева, ни впереди. И вдруг мне почудилось, что кто-то стоит и тихо смотрит, как я тяну Сана. Смотрит, как я шатаюсь. Смотрит, как я сплю, шагая. Стоит и смотрит. И не сворачивает в сторону. И я удивился, и думаю, зачем стоит и мешает мне тянуть Сана. Тогда и я остановился и стал звереть, что не пускают меня тянуть Сана, заставляют сворачивать в сторону, а у меня уже нет сил. И только я хотел поднять кулак, как прозрачный старик двинулся ко мне и к Сану. И тут я посмотрел и рассмотрел, что ноги мои стоят на краю полыньи и в полынье бурлит холодная и зеленая вода. Сделай я еще один шаг, и я и Сана не грелись бы у этого костра...

— И это был твой Никола? — спросили сидящие у огня.

— Да, — ответил Тим, — а когда я отскочил от воды и оглянулся вокруг, его уже не было...

Всё, за что ни брался Тим, у него получалось хорошо. Как никто из охотников, он умел прямо в глотку вылить стакан спирта. Даже не передохнув, он протягивал руку за ломтем вяленого мяса. И все с удивлением смотрели на Тима и говорили: «Ооо!»

Север знает только друзей и врагов. Север делит людей только на плохих и хороших. Почему? Кто знает! Но так утвердилось, и утвердившись обернулось древним законом.

За Тима любой из охотников, связанный даже не племенем, а просто стойбищем, готов был отдать жизнь. Потому что Тима считали хорошим. Потому что знали: и Тим не задумается ответить своей жизнью.

Это Тим однажды, когда люди отощали от голода и не могли двигаться, скованные пятидесятиградусным морозом, выполз из-под оленьей шкуры и пропал. А потом, много спу-

стя, вернулся еле живой и рассказал об убитом лосе. Падая в снег и поднимаясь, и опять падая, Тим страшно ругался, топорил людей пойти, взять мясо, жрать мясо, накормить мясом стариков, детей и собак.

Охотники оставили Тима и пошли туда, куда указал Тим. Они нашли убитого лося. Пуля Тима попала ему в глаз и разворотила череп.

Не меткий выстрел Тима удивил шатающихся от голода охотников. Не его отчаянная смелость уйти в такую погоду поразила их. Каждый из них умел стрелять и знал, что такое смерть. Но вот то, что Тим сделал, того никто из них никак не мог понять.

И потому охотники с суеверным страхом стояли над уже в лед превратившимся лосем с раздробленной головой и переглядывались. Слова тут были не нужны. Они ничего не значили. Словами нельзя было рассказать, как так голодный Тим, свалив лося, не отрезал себе хоть бы кусок мяса, чтобы наесться.

У охотников с голоду мутился рассудок. Они молча постояли над нетронутым Тимом лосем. Глотая слюну, они не взялись за ножи. А молча, не сговариваясь, взвалили лося на спаренные лыжи...

Спотыкаясь, поминутно падая — они тянули мясо к стойбищу...

Виктор Свен

ВЕСНА 1964

Холодная парижская весна —
Как день один, что длится бесконечно.
Ни листика. И башня из окна
Видна, торчащая остроконечно.

И как тогда, в том роковом году,
Все решено и нет путей обратных...
Мне весело. Я через мост иду,
В червонном золоте лучей закатных.

На берегу — на левом — детвора
Играет в садике перед собором.
О, как легко! А ведь еще вчера
Моя любовь казалась мне позором.

УПРЕК

И. Шюзевилю

Гроза уходит на восток
И солнце в лужах отражается.
Промокнув с головы до ног,
Клянусь судьбу, как полагается.

Порой и темные пути
Приводят к миру и спасению.
Но все ж — о, Господи, прости! —
Дивлюсь я Твоему терпению.

Не о погоде говорю,
А о свободе зла таинственной.
И если я Тебя корю,
То уж таков мой нрав воинственный.

Душе, что ветхий свой покров
Не сбрасывает от стыдливости,
Хотелось бы не только слов
О доброте и справедливости.

Не только смутного «потом»,
Случайной радости недлительной,
Но торжества добра над злом —
Любви победы ослепительной.

СЕРЫЙ ВОЛК

Собаку мальчик потерял в лесу,
Не в настоящем русском, а в Булонском.
Должно быть надоело бегать псу
По голым кочкам и дорожкам конским.
В собаках я когда-то ведал толк.
Он был хорош, играл все время с нами,
Немецкая овчарка — «серый волк» —
С веселыми и умными глазами.
Он не нашелся. Он не мог не знать
Дорогу к дому, где мы долго жили...
Вот так и мы уходим умирать
Вдали от тех, кого всю жизнь любили.

Владимир Злобин

ОПРАВДАНИЕ ЧЕРНОВИКОВ

Оправдание черновиков — или апология записных книжек.

В статье, в книге одно округляешь, другое искусственно связываешь с тем, что в связи не нуждается. Нельзя без этого обойтись, как нельзя, идя в гости или на собрание, не придать себе более или менее пристойный, общепринятый вид. Уважение к читателю? Никто не спорит, к читателю действительно надо относиться с уважением. Но в результате остывшая мысль подогревается, разогревается и выдается за мысль живую. «В предыдущей главе мы указывали...», «из вышеизложенного следует»... и так далее. Часто случается, что главное, именно самое живое, — моментальная фотография мысли, — исчезает, бесследно растворившись в плавных, гладких периодах.

Да бесспорно, за великими, основными человеческими книгами чувствуется долгая работа, огромное волевое усилие, проверка, охват темы во всем ее развитии, будто с птичьего полета. Оправдание черновиков может обернуться оправданием лени. Но иные, не «основные» книги выиграла бы, если бы остались в черновиках, как выиграла, например, посмертная книга Бунина о Чехове, которую он, Бунин, наверно обезличил бы, если бы готовя ее к печати выбросил, сгладил отдельные, в сердцах сделанные, замечания на полях прочитанного. Да и вообще, кто же из пишущих этого не знает: бывает, исправляешь, час-другой подчищаешь, а потом с удивлением убеждаешься, что восстановил именно тот текст, который написан был сразу.

Критики требуют от авторов стройной последовательности изложения, солидной согласованности суждений, сплошь и рядом не замечая под этой внешней связностью отсутствия внутреннего единства. А только оно, внутреннее единство, и способно что-то действительно удержать от развала, связать, одухотворить, при любых противоречиях и скачках от одного к другому.

Оправдание черновиков, апология записных книжек....

Есть однако и опасность: болтовня, розановщина, излишек внимания к самому себе, развязность, кокетство. Но ведь в каждом написанном слове таится опасность, от этого не уйдешь, и в черновиках она всего только более очевидна. Риск «размахнуться Хлестаковым» сильнее, но тем сильнее и стремление остаться собой, каково бы твое «я» ни было. От себя тоже не уйдешь.

У нас, в нашей культуре, да и вообще на Западе, — сколько мы все-таки — Запад, и от него, надеюсь, не отречемся, — у нас есть только две большие темы, афинская и иерусалимская.. Всё сколько-нибудь значительное связано с их развитием, а в особенности с их скрещением, с их борьбой.

У французов до сих пор всё идет по этим двум скрещивающимся и расходящимся линиям, — линии Монтеня и линии Паскаля, — и духовная родословная каждого сколько-нибудь значительного французского писателя этими именами определяется. Да и могло ли быть иначе? Больше трех сот лет тому назад французам было в упор, без обиняков, разъяснено, в чем дело: разъяснено не с уклончивой объективностью свидетеля, а с нетерпимостью участника, не допускающего колебаний, требующего «да или нет», «со мной или против меня». Несколько строк мученика-Паскаля в упрек жизнелюбцу-Монтеню, — тот будто бы только тем и озабочен, чтобы «умереть безмятежно и малодушно»! — несколько этих строк так невероятно-проницательны, так гениальны в способности схватить сущность разлада, что нечего к ним и добавить.

У Сент-Бева, в одной из его понедельничных «Бесед», есть замечательная и фантастическая страница: похороны Монтеня.

За гробом учителя, «основоположника», идет вся французская литература. Мадам де Севинье рассказывает придворные сплетни и слухи. Буало, окруженный учениками, толкует о правилах построения трагедии. Вольтер, насмешливо косясь на Руссо, «обезьяну вообразившую себя Сократом», тут же сочиняет на него эпиграмы. Виктор Гюго вполголоса декламирует новую оду, — словом, всё как обычно, каждый занят своим, до покойника никому нет дела.

Последним, вдалеке от других, идет Паскаль — и «только он плачет».

Это — несколько произвольный комментарий к монтенепаскалевскому расхождению. Но комментарий полный смысла.

В России дело осложнено тем: в нашем Монтене, Толстом, неожиданно проснулся Паскаль, дремавший в нем смолоду, — и возненавидел, сжег всё то, к чему Толстой предназначен был природой.

Но и для нас очерчен тот же круг тем и идей, с естественными индивидуальными особенностями двух писателей, которыми они отчетливее всего представлены: Толстым и Достоевским, конечно. Оттого-то мы постоянно о Толстом и Достоевском и говорим, и будем говорить еще долго, сколько бы ни удручало это или ни раздражало любителей новинок и так называемых «новых течений». Имена впрочем можно было бы и не называть, в разговоре мало что изменилось бы, разве что он потерял бы ясность.

Достоевский тоже плакал бы на похоронах Толстого, и вероятно тоже плакал бы «один», — в особенности, если представить себе Достоевского истинного, такого, каким он отражен в «Карамазовых», т. е. освободившегося от суетливой и завистливой мелочности, одолевавшей его в повседневной, вне-творческой жизни.

Кстати: теперешняя Россия, советская, так страшно опривинциалилась, так обездарилась, несмотря на юбилеи несомненных талантов, отчасти именно потому, что усвоив и приняв с ленинскими оговорками, «постольку-поскольку», тему Монтеня, она игнорирует тему Паскаля. Нет скрещения, нет трения, дающего огонь, и оттого всё стало бесцветно и пресно. Кажется, в последние годы Россия начинает это чувствовать, и дай ей Бог наконец очнуться!

По Альберу Камю мечта каждого подлинного писателя: — «усвоив все то, что есть в «Бесах», написать когда-нибудь «Войну и мир», или иначе: — «ценой смирения и мастерства найти секрет общечеловеческого искусства».

Замечательно, что Камю упомянул о смирении, скромности, — «humilité» во французском тексте. Едва ли он знал, что Чехов сказал о Достоевском почти то же самое: «не достаёт скромности». Чехов о Достоевском говорил вообще неохотно, вероятно стесняясь признаваться, что не любит его, — как Чайковский стеснялся говорить, что не любит Шопена. Карамазовские бунты и непрития мира повидимому были ему

не по душе: о чем тут толковать, всё и так достаточно ясно, «пойдем лучше чай пить», как говорит старый профессор в «Скучной истории».

Розановщина... Пренебрежительное это словечко вырвалось у меня почти безотчетно. Нет, Розанов все-таки замечательный писатель, и помню, было время, когда был он для меня писателем чуть ли не единственным, «властителем дум».

Шестов справедливо заметил, что из всех наших «новых христиан» один только Розанов умеет произносить имя Божие в верном тоне. У Бердяева и даже у Булгакова, священника, умения этого не было, и с марксистско-журнального лексикона они беспрепятственно перешли к темам религиозным, не уловив насущной необходимости писать и выражаться иначе. Розанов кощунствовал, называл Христа «царем ужаса», дошел в удивительных примечаниях к рассказу Сикорского о терновских плавнях и сектантах-самосожженцах, до иного, худшего, но неизменно чувствовалось: нет, оскорбления Христу тут нет, это бунт человека, который и сам смутно тоскует, как бы «пострадать», он болен христианством, ранен, отравлен им, и он мечется, хорошо зная в глубине души, что никакого избавления не хочет.

«И да сияют образа эти вечно». Это ведь Розанов написал, и никогда Бердяеву не написать бы предисловия к «Людям лунного света», никогда он со своим сильным, ясным, аналитическим умом не поднялся бы к тому, до чего неизвестно как договаривался в минуты просветления болтун и путаник Розанов.

Конечно, он был болтуном. Нельзя сравнивать его с Паскалем, как делали это некоторые неумеренные его поклонники. Не говоря уж о мощи разума, у Паскаля был дар молчания, остановки, оставшийся Розанову неведомым. Паскаль обрывает фразу, наполняя пустоту таинственным смыслом. Розанов говорит, говорит, пришепётывает, подмигивает, ухмыляется, намекает, сам себе возражает, — и случается, иногда недоумеваешь: только-то и всего, Василий Васильевич? Нельзя ли было бы покороче? Ничего не может случиться и отдаленно-схожего над книгой Паскаля.

А все-таки писатель замечательный, природно устремленный к «самому важному». Среди новых русских литераторов он один мог позволить себе решительно все, не «размахиваясь Хлестаковым», — потому вероятно, что был до само-

забвения искренен и меньше всего думал о впечатлении, которое слова его произведут.

(Давнее мое сомнение, упрек самому себе: отчего никогда не написал, — а теперь уж не напишешь, поздно! — о том, что ночью, когда не спится, обрывками проносится в мозгу, о том, что с первых лет юности, может-быть под воздействием Розанова, казалось именно «самым важным»: о Евангелии и о том, что в нем загадочно, об отсутствии «дна» в этой книге, о неистребимости надежды, которая вдалеке мерцает и светит, куда бы человек ни забрел, как бы ни запутался, об исчезновении отчаяния, о том, рассчитана ли была евангельская проповедь на тысячелетия или наоборот на представлявшийся неминуемо-близким конец мира, — да, отчего не попробовал написать, «среди всякой пошлости и прозы», попытавшись перенять у Розанова его непогрешимое чутье ко лжи и правде слова, продолжив его темы, заразившись его страстностью в этих темах, но оставшись все-таки собой? А потом спохватываешься: и хорошо, что не написал! Подумаешь, о «самом важном»! Что получилось бы? Тремоло в голосе, самолюбование, чернила, чернила, будто бы ставшие кровью. Пиши, голубчик, лучше о внутренних отличиях пятистопного ямба от четырехстопного, тут по крайней мере и сорваться трудно.

Это — к упоминанию о «розановщине»).

Надо бы установить, был ли когданибудь хоть один случай несомненного, бесспорного предвидения будущего. Говорят, св. Серафим Саровский видел убийство Александра II, рассказывают и о многом другом, в том же роде... Но было ли это в действительности? Насколько все это достоверно?

Если можно видеть будущее, хотя бы только один, единственный раз увидеть его, значит будущее где-то есть: **есть**. Нельзя видеть то, чего нет. Если кто-то видел будущее, значит оно существует (но еще не дошло до нас, или мы еще не дошли до него). Машина мира очевидно дала перебой и в образовавшуюся на миллиардную долю секунды трещину мелькнуло что-то, к данному времени не относящееся. Как на кинематографической ленте: сцена из другого эпизода.

А если будущее существует, то от нашей свободы воли, как в обосновании ее ни изворачивайся, не остается ровно ничего. Если в припадке философического отчаяния я даже покончил бы с собой, то и это в какой-то программе уже за-

писано и predetermined: ни вызова, ни своеволия. Кириллов попал впросак.

По моему это неопровержимо, т. е. неопровержима связь видения и существования.

Но тут же — холодный ветерок: а почему, собственно говоря, ты так «неопровержимо» уверен, что мир построен по законам, совпадающим с законами твоего разума? Ведь если даже в плане материальном далеко не всё с нашим разумом в мире согласовано, — в чем теперь уже нельзя сомневаться, — почему должно существовать согласие там, где и материи-то нет?

(Алданов справедливо сетовал на Зеньковского за умолчание о Лобачевском. В своей обстоятельной и добросовестной «Истории русской философии», где не обойден вниманием ни один приват-доцент, Зеньковский о Лобачевском просто на просто забыл. А ведь догадка о том, что Эвклид вовсе не всегда и не везде общеобязателен, ошеломляюще огромна в своих выводах. Достоевский это понял и в разговоре Ивана с Алёшей об этом упомянул. Куда же в самом деле мне понять пути мироздания и «финальную гармонию», если даже того не в состоянии я понять, что параллельные линии могут где-то сойтись!)

Не «стиль — это человек», а ритм — это человек, интонация фразы — это человек. Стиль можно подделать, стиль можно усовершенствовать, можно ему научиться, а в интонации фразы или стиха пишущий не отдает себе отчета и остается самим собой. Как в зеркале: обмана нет.

В нашей литературе было три гения интонации — Лермонтов, Толстой и Блок.

К Блоку следовало бы поставить эпитафией последнюю строчку пушкинских «Цыган»: «И от судеб защиты нет». Удивительно в его интонациях чувство солидарности со всеми людьми перед лицом слепых «судеб», круговая порука, которой он себя связывает. «Будьте ж довольны жизнью своей, тише воды, ниже травы...» — незабываемо! Повторяя такие строчки, говоришь себе: «нет, Блок — поэт единственный», и это в сущности верно, как мгновенный отклик читателя поэту. Но читая Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова или Анненского, говоришь себе то же самое.

Лермонтов был близоруко переоценен и недооценен многими «мэтрами» нашего «Серебряного» века, которому впро-

чем лучше было бы называться веком «посеребренным». Им, как и когда-то Жуковскому, не по душе была его риторичность, порой в самом деле напоминающая юнкера Грушницкого. Но за «младенческой печалью» Лермонтова, за его «как будто кованым стихом», — по иронической формуле Брюсова, — они не расслышали райского тембра, присущего его голосу. Не расслышали и не почувствовали, что риторику это искупает. Помню, Гумилев, сидя у высоких полок с книгами, говорил:

— Если мне нужен Боратынский, я не поленюсь, возьму лестницу, полезу хоть под самый потолок... А для Лермонтова нет. Если он под-рукой, возьму, но тянуться не стану!

Насчет Боратынского спора нет, он заслуживает того, чтобы взять хоть десять лестниц: учитель, мастер, образец достоинства, правдивости, сдержанности. Но Лермонтов... как бы это объяснить?.. Лермонтов, ведь это совсем другое. «По небу полуночи...», хотя бы только эти полстрочки: волшебство, захватывает дыхание.

Проверяю себя: неужели действительно эти полстрочки, отдельно взятые, так волшебны? Или сказывается самовнушение, гипноз? Допускаю, что если бы эти полстрочки только полстрочками и остались, головокружения они не вызвали бы. Но они гениальны, как вступление к тому, что открывается дальше: всё, что дальше сказано, уже в этих трех словах обещано, безошибочно предвещено. «По небу полуночи...»: если бывает в поэзии магия, вот ее несравненный пример.

Иногда у Лермонтова слышится та же «круго-поручная» интонация, которая позднее развита была его учеником Блоком. «Я говорю тебе, я слез хочу, певец...» — «Подожди немного...» Или в начале «Валерика» чудесное в своей прозаической непринужденности «во-первых», сразу дающее стиху особую его мелодию:

Во-первых, потому, что много
И долго, долго вас любил...

А риторика была, только не Брюсову бы о ней говорить.

Случайная цитата из Толстого, при том не из романа или повести, которые автором отделялись и исправлялись, а из письма к другу, Бирюкову, года за два до смерти. Толстой вспомнил о своем выступлении на суде, в начале шестидесятих

годов, по делу унтер-офицера Шибунина, ударившего своего ротного командира по щеке и затем расстрелянного, — вспомнил и писал:

«Ужасно возмутительно мне было перечесть эту мою жалкую, отвратительную защитительную речь. Говоря о самом явном преступлении всех законов Божеских и человеческих, которое одни люди готовились совершить над своим братом, я не нашел ничего лучшего, как сослаться на какие-то кем-то написанные глупые слова, называемые законами. Ведь если только человек понимает то, что собираются делать люди, севшие в своих мундирах с трех сторон стола, воображая себе, что вследствие того, что они так сели и что на них мундиры, и что в разных книгах напечатаны и на разных листах бумаги с печатным заголовком написаны известные слова, — что вследствие этого они могут нарушить вечный, общий закон, написанный не в книгах, а во всех сердцах человеческих, то ведь одно, что можно сказать этим людям, это то, чтобы умолять их вспомнить о том, кто они и что они хотят делать...»

Никак нельзя сказать, что это «хорошо написано». Покойный Карсавин, даровитый человек и по своему человек пронырливый, настойчиво утверждавший, что Толстой писал плохо, неуклюже, «косноязычно», вероятно с удовольствием сослался бы на эти строки. Ремизов, решившийся в «Подстриженных глазах» высказать мнение, что Толстой был «словесно бездарен», тоже им обрадовался бы как подтверждению своей оценки.

Да, нельзя сказать, что это «хорошо написано». Но можно и надо сказать, что самые совершенные образцы русской прозы тускнеют и кажутся пустовато-легковесными рядом с этим «косноязычием», изнутри оживленным библейской огненной несговорчивостью, и что с такой силой, с таким верным соответствием между «что» и «как», никто в России никогда не писал.

На цитату эту я натолкнулся, перелистывая для справки книгу Гольденвейзера «В защиту права». Перечел и подумал, что Горький-то пожалуй был прав: если человек может так писать, то действительно «человек это звучит гордо».

У молодых есть все преимущества перед старыми. Все, кроме одного: старые знают, что каждое поколение приходит

со своей правотой — и своими иллюзиями. Молодые видят только свою правоту.

Умный Базаров был бы еще умнее, если бы догадался, каким тупицей прослывет он у первых эстетов и декадентов.

Теоретики «нового романа» по своему правы, — но только частично правы, — упрекая прежних писателей в искусственных и произвольных психологических выдумках. Человек, — утверждают они, — знает только то, что думает и чувствует сам. О других людях мы судим по их словам, действиям, случайным поступкам, не зная, чем эти слова и поступки вызваны, сплошь и рядом ошибаясь в их истолковании. Как же решается писатель переходить от одного своего героя к другому, делая вид, что все творящееся в сознании этих различных людей ему в точности известно? Что получается? Марионетки, куклы, более или менее успешно выданные за живые существа. Писатель вправе говорить только о том, что видит и слышит, не устанавливая в потоке внешних впечатлений никакой внутренней связи. А читатель свободен: связь он может найти, может и остаться в недоумении, если ему кажется, что она отсутствует.

Доля правды в таких утверждениях есть. Действительно было в прошлом, выходит и в наше время множество бытовых и психологических романов, в которых жизнь воспроизведена лишь призрачно-верно: читая их, мы ничего не узнаем общего и постоянного, ничем не обогащаемся. «Раскрыла книгу: 'Вера сидела у окна...' А какое мне в сущности дело до Веры?», — писала когда-то насмешница-Тэффи, ловя себя на мысли знакомой вероятно многим читателям. Правильно: какое мне дело до Веры! Не все ли равно, выйдет она замуж или с горя станет монахиней? При любопытстве к житейским фактам и происшествиям можно удовлетвориться газетной хроникой: там по крайней мере все точнее и короче, да и обходится без постылых литературных блесков и стереотипных красот.

Но к Бальзаку или Дикенсу, к Толстому или Марселю Прусту упрек «новых романистов» отношения не имеет. У тех был дар перевоплощения, была особая «интуиция бытия», и читая их, мы узнаем что-то новое, важное, вечное о людях и жизни, а вовсе не только «убиваем время», как с Верой сидящей у окна. У Флобера этот дар был пожалуй слабее, но он именно о нем думал, когда сказал, что «мадам Бовари — это я». Без способности перевоплощения самому искусному

роману — грош цена, а что способность эта крайне редка, спору нет.

«Все можно выдумывать, нельзя только выдумывать человеческой психологии», сказал Толстой о Горьком. Если бы запрещение обманчиво-реалистических выдумок и подделок «под жизнь» стало непреложным правилом, книжный рынок быстро оскудел бы, и вместо десяти тысяч романов в год появлялось бы два-три, не больше. Но сокрушаться об упадке культуры не было бы причин.

Десять тысяч романов в год, «новых» или «старых», все равно. Конгрессы, съезды, делегации, декларации, обсуждение «творчески-актуальных» вопросов, диспуты о жанрах, темах, направлениях, — и так далее. Расцвет культуры, измеряемой цифрами. Не только там, в нашей захмелевшей России, где это совпадает с ленинским взглядом на литературу, как на «часть общепролетарского дела», но и на Западе, где как будто никакого общепролетарского дела нет.

Конечно, кое-что в пристрастии к конгрессам и прочему понять можно: в самом деле мало на свете людей, которым не нужны были бы развлечения, «театр для себя» в любых видах. Каждый развлекается по своему, а писатели — по писательски, на свой лад, в своей среде. У нас в эмиграции была «Зеленая Лампа»: два раза в месяц — смерть, вечность, Бог, свобода, загробное воздаяние, большевизм, как доказательство существования дьявола, с прохладительными напитками и пирожками в антракте для вящего сходства с театром. Ну, что же, ходили, спорили, горячились, но в глубине души знали: развлечение, только и всего! А ораторствует ли на эстраде Мережковский, Сартр или Эренбург, дела не меняет и по существу это то же самое.

Писателю нужно только одно: стол, перо, уединение. И только одно есть у него дело: разговор с самим собой. Не монолог, а именно разговор, в котором вопросы бывают важнее ответов, а мысль неразлучна с сомнением, ее оживляющим и оттачивающим.

Корни всё усиливающегося в наше время внимания к Тейяр де Шардену повидимому связаны со смутной, безотчетной тревогой: не изменяет ли человек, *homo sapiens*, самому себе? Расширение, распыление культуры, — как бы ни было оно

в иных отношениях нравственно оправданно, — не грозит ли владычеством тупости и «всемством» пугавшим Константина Леонтьева? Если миллиарды лет тому назад возникло одухотворение материи, если много, много позже началось — по Тейяру — «очеловечение» земли, с долгими веками той же работы впереди, то не приобретает ли понятие культуры оттенка метафизического? Не в том ли единственно-важное человеческое дело, чтобы довести одухотворение и очеловечение до конца?

Далеко не все эпохи в себе сомневались. Восемнадцатый век, а за ним и девятнадцатый, шли вперед в уверенности, что с пути свернуть уже не придется. «Царство науки не знает предела». Но история подставила заносчивому веку ножку, и он споткнулся, растерялся. К сожалению? Да, все-таки к сожалению. Путь был в общих чертах верен, только походка была не та, что нужно бы. Были шоры, была нетерпимость... Но теперь, после всех наших крушений и передраг, на развалинах прежнего мира, человек оглядывается, тревожится: не оказаться бы нам предателями? Тейяр именно о возможности предательства и напомнил, хотя сам в нее не верил.

Георгий Адамович

ИЗ СТАРОЙ ТЕТРАДИ

Н. Гумилеву

1

Вьется вихрем вдохновенье
По груди моей и по рукам,
По лицу, по волосам,
По цветущим рифмами словам.
Я исчезла. Я — стихотворение,
Посвященное Вам.

1919 г.

2

Не убеждай меня. Не говори,
Я больше ничему не верю
И не хочу встречать весну.

В изнеможеньи наклонясь над бездной,
С необходимостью железной,
Апокалипсическому зверю,
Как другу руку протяну
И вместе с ним пойду ко дну
Того что не было и никогда не будет.

1919 г.

3

Любовь. Как изучить ее законы?
О чудо из чудес счастливый брак!
Бывают изумительные жены —
Бывают и бывали — это так.

Вот Пенелопа. Или Андромаха,
Покорные и мужу и судьбе...

Но я скажу без гордости и страха
И без преувеличенья о себе:

Я строю замки на песке сыпучем,
Слова любви пишу я на воде,
Но если даже улетишь ты к тучам
И там — ни на луне, ни на звезде
Такой жены ты не найдешь нигде.
1922 г.

*

Да, конечно, жизни начало
Много счастья мне обещало
В Петербурге, над синей Невой.
Все о чем я с детства мечтала,
Подарила судьба мне тогда,
Подарила щедро, сполна,
Не скупясь, не торгуясь — на!..
Все мне было веселье, забава
И звездой путеводной — судьба.
Мимолетно коснулась слава
Моего полудетского лба.
И тогда в моей юной гордыне
В баснословные те года
Не поверила б я никогда
Что конец — тот что делу венец, —
Увенчает меня не лаврами,
А крапивой и лопухом...

Впрочем нет, признаюсь и поныне
Я не верю. Не верю и жду.
(Не всегда ж мне гореть в аду!)
Может быть...
Но тьфу, тьфу!, чтоб не сглазить!..

Ирина Одоевцева

О ЧЕХОВЕ

К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ

«Жизнь и творчество». Сколько раз приходится читать эти слова и надо признать, что почти никогда книги с такими заглавиями себя не оправдывают. Всякая человеческая жизнь явление бесконечно сложное, а тем более жизнь такого человека, как Чехов. Рассказать это в одной небольшой книге очень трудно. Но в применении к Чехову, вдобавок, это соединение слов — жизнь и творчество — звучит особенно неубедительно. Это приложимо, конечно, ко всякому таланту: жизнь Толстого не объясняет его творчества, жизнь Пушкина не объясняет его творчества. Жизнь Чехова — меньше всего. И когда думаешь о Чехове, это становится особенно очевидным.

Жизнь Чехова в нескольких словах: глушь южной России, город Таганрог, отец — владелец лавочки, убежденный в нескольких несложных вещах, — надо бояться Бога, семью содержать в строгости, детей пороть; братья, сестра, мать, мещанская среда, убожество российской провинции, среднее учебное заведение, уроки в старших классах, затем отъезд в Москву, в университет, бедность, потом короткие юмористические рассказы в плохих журналах, вроде «Будильника» и «Осколков», потом докторский диплом, потом литературная известность и материальная обеспеченность, короткий расцвет, затем начало болезни, потом долгое и медленное умирание, женитьба на Книппер за четыре года до кончины, потом 1904-ый год, Германия, Баденвейлер, предпоследние слова Чехова — *Ich sterbe* — и смерть. Труп Чехова был доставлен в Москву в вагоне предназначенном для перевоза устриц — надо полагать, что среди пограничных властей не было читателей Чехова и им было неизвестно имя одного из самых замечательных писателей России. Одного из самых замечательных — и одного из самых необъяснимых — опять повторяю это слово. Как возникли в воображении Чехова «Степь», «Мужики», «В овраге», «Палата номер шесть», «Дама с собачкой», «Дом с мезонином»? Вопрос, может быть,

праздный, но одно мы знаем твердо: биография Чехова нам ответа на этот вопрос никак дать не может. Но и в том, что Чехов писал, есть вещи, казалось бы, совершенно несоединимые в одном и том же человеке. Его письма к Книппер, эти ласкательные имена, которыми он ее называет — лошадка, дусик, гургулька, собачка, конопляночка, роднуля, актрисуля, пупсик, таракашка — откуда эти слова, которые режут слух и от которых нельзя не поморщиться? Не будем говорить о пьесах Чехова, о «небе в алмазах», «мы отдохнем», «многоуважаемый шкаф». На мой взгляд, его пьесы немногим лучше этих провалов, которые мы находим в его письмах жене. Значит, иногда у Чехова как-то прорывалось то мещанство, в среде которого началась его жизнь. Но вот, непостижимым образом, оно строго ограничено. В его рассказах нет ведь ни одной погрешности в этом смысле и кажется непонятным, что один и тот же человек мог написать эти письма и такие рассказы, как «Архиерей», «Убийство», «Моя жизнь».

Чехов, как человек, — что можно сказать об этом? Мы знаем внешние факты его жизни и их последовательность. Но об остальном, о том, чем он действительно жил, мы можем только строить догадки. Чехов был человеком исключительно сдержанным, черта довольно редкая в русской литературе. Надо полагать, что один из его биографов, написавший о нем книгу, Борис Константинович Зайцев, близок к истине, утверждая, что сильных чувств Чехов в своей жизни не испытал. Характерна в этом смысле фраза из письма к Чехову Лики, той самой Лики, Лидии Стахиевны Мизиновой, которую Чехов изобразил потом в «Чайке» и с которой у него было нечто похожее на роман. Лика пишет ему: «Мне кажется, что Вы всегда были равнодушны к людям и их недостаткам и слабостям». Судьба Лики известна — надо ли ее напоминать? Связь с писателем Потапенко, незаконный ребенок, который потом умер, замужество — она вышла за режиссера Санина, — и потом, в 1937-ом году в Париже, смерть на больничной койке, почти через полвека после ее первой встречи с Чеховым. «Мне кажется, что Вы всегда были равнодушны к людям».

Бунин в своей книге о Чехове пишет:

«А ведь до сих пор многие думают, что Чехов никогда не испытал большого чувства.

Так думал когда то и я.

Теперь же я твердо скажу: испытал! Испытал к Лидии

Алексеевне Авиловой». «Воспоминания Авиловой, написанные с большим блеском, волнением, редкой талантливостью — это пишет Бунин — и редким тактом, были для меня открытием».

Воспоминания Авиловой? Как мог Бунин сказать, что они написаны «с блеском и редкой талантливостью»? Единственное объяснение этой удивительной оценки, это что Бунин вложил в воспоминания Авиловой то, чего в них не было. Из плохо написанных, неуклюжих фраз Авиловой воображение Бунина создало блистательную повесть о любви. Иначе — откуда взялись бы этот мнимый блеск и эта мнимая «редкая талантливость»? Вот как Авилова, например, описывает свою встречу с Чеховым — я привожу очень короткую цитату. «Мы просто взглянули близко друг другу в глаза. У меня в душе точно взорвалась и ярко, радостно, с ликованием, с восторгом, взвилась ракета. Я ничуть не сомневалась, что с Антоном Павловичем случилось то же и мы глядели друг на друга удивленные и обрадованные». Звучит это до нельзя фальшиво. Но это, конечно, ничего не доказывает, кроме того, что Авилова была плохой писательницей. Дальше она многократно повторяет, что она любила Чехова, и только его, и, судя по ее воспоминаниям, Чехов в свою очередь говорил ей, что он ее любил. Но и с ее стороны и с его стороны это было меньше всего похоже на всеобъемлющее и неудержимое чувство. Когда Авилова познакомилась с Чеховым, она была замужем и у нее был ребенок. После встречи с Чеховым она поняла, что любит только его. И тут же она пишет, говоря о своем муже: «Мы уже знали, что у нас будет Левушка». И дальше: «Явилось еще двое детей» — характерна эта удивительная безличная форма — «явилось еще двое детей» — так, точно сама Авилова к появлению этих детей не имела никакого отношения. Она встретила с Чеховым в 1889-ом году. В 1892-ом году она пишет: «Прошло три года. Я часто вспоминала о нем. У меня было уже трое детей — Лева, Лодя и грудная Ниночка». В чем же, собственно, выразилась эта любовь Авиловой к Чехову? В неосуществленных желаниях? В том, что она ничего не изменила в своей жизни? С другой стороны — в чем проявилось то большое чувство Чехова, о котором пишет Бунин? В редких письмах Чехова к Авиловой о любви даже не упоминается. Остается одно: слова Авиловой о том, что Чехов ее любил. Мы очень хорошо знаем, что большое, стихийное чувство не останавливается ни перед какими препятствиями. «Сильна как смерть любовь...» Что может

быть более далекого от этого, чем отношения Чехова и Авиловой, которые не изменили ничего в их жизни? Может быть это и была любовь, — далекая, неосуществленная, печальная в своем бессилии и своей бесплодности. Но назвать это большим чувством никак нельзя, чувством, которое не считается ни с чем — ни с условностями, ни с бытом, ни с семьей, ни с общественным мнением. Нет, вернее всего, Чехову действительно не было дано в жизни испытать это большое чувство. Но ему было зато дано многое другое.

Нет ничего труднее, чем определить в нескольких словах творчество того или иного писателя и смысл тех или иных произведений. Помнится, Толстому рассказывали, что какой-то критик на двух страницах изложил содержание *Анны Карениной* и объяснил в чем смысл этого романа. Толстой ответил по-французски — «*Il en sait plus long que moi*». Определения творчества Чехова разными людьми — некоторые из них приведены в книге Бунина, — поражают всякого читателя своей необоснованностью. Бицилли например пишет, что Чехов находился под влиянием Гоголя, под влиянием Тургенева, под влиянием даже Гончарова, затем, что он «перекликался» — этим глаголом почему-то часто злоупотребляют литературные критики, — с Прустом, Рильке и Томасом Манном. Но Бог с ним; как известно, суждения литературных критиков далеко не всегда бывают правильны. Писал же когда-то Добролюбов, что «если бы у автора был какой-нибудь артистический дар, то это произведение было бы вредным». Но так как артистического дара у него нет... «Это произведение», — это «Преступление и Наказание», а автор, у которого, по мнению Добролюбова, нет артистического дара, — Достоевский. Чехова — называли в свое время: «певцом сумерек». Существительное «певец», в применении к писателю, между прочим, по своей странности стоит глагола «перекликаться». Нет, Чехова певцом сумерек назвать, мне кажется, нельзя. Дело обстоит гораздо трагичнее.

Что такое творчество Достоевского или Толстого? Это прежде всего — очень упрощая, говоря схематически, — протест против того, как устроен мир, в котором мы живем; протест против чудовищной несправедливости государства и общепризнанной морали. Это еще и ужас перед смертью, и невозможность принять наш мир, это загадка бытия, о которой писал еще Пушкин:

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал?

Словом, ряд трагических, неразрешимых вопросов, поставленных с необыкновенной силой. И все-таки, в этом есть какие-то проблески, какие-то иллюзии, какая-то надежда на то, что это может быть как-то, когда-то изменено к лучшему. Если бы этого не было, то не стоило бы протестовать.

Чехов — один из самых замечательных русских писателей, но это конечно не Толстой и не Достоевский. В нем нет ничего титанического. Но в смысле полнейшей безотрадности, полнейшего отсутствия надежд и иллюзий, — с Чеховым, мне кажется, нельзя сравнить никого. Он как бы говорит: вот каков мир, в котором мы живем. Он устроен именно так, это не случайность, это не результат ошибки или несправедливости, которую можно исправить. Исправить ничего нельзя. Мир таков, потому что такова человеческая природа.

Вероятно, одна из самых беспощадных вещей Чехова, это рассказ «Мужики». Он написан с необыкновенным искусством, — простыми словами, — ни одного из них нельзя изменить, — без повышения тона, без подчеркиваний, без преувеличений. «Лакей при московской гостинице «Славянский Базар», Николай Чикильдеев, заболел. У него онемели ноги и изменилась походка, так что однажды, идя по коридору, он споткнулся и упал вместе с подносом, на котором была ветчина с горошком». Николай Чикильдеев приезжает с женой и дочерью домой, в деревню: вонь, грязь, пьянство, побои, нищета. Когда его дочь, десятилетнюю Сашу, избил беззубая, костлявая, горбатая старуха, бабка, то — я цитирую: «Николай, который был уже измучен этим постоянным криком, голодом, угаром, смрадом, который уже ненавидел и презирал бедность, которому было стыдно перед женой и дочерью за своих отца и мать, свесил с печи юги и проговорил раздраженно, плачущим голосом, обращаясь к матери:

— Вы не можете ее бить! Вы не имеете никакого полного права ее бить!

— Ну, околеваешь там на печке, ледащий! — крикнула на него Фекла со злобой. — Принесла вас сюда нелегкая, дармоедов!»

Дальше: «Эти люди живут хуже скотов, жить с ними было страшно... Кто держит кабак и спаивает народ? Мужик. Кто растрчивает и пропивает мирские, школьные, церковные

деньги? Мужик. Кто украл у соседа, поджег, ложно показал на суде за бутылку водки? Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик. Да, жить с ними было страшно, но все же они люди, они страдают и плачут, как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдания. Тяжкий труд, от которого по ночам болит всё тело, жестокие зимы, скудные урожаи, теснота, а помощи нет и неоткуда ждать ее». «Да и может ли быть какая-нибудь помощь или добрый пример от людей корыстолюбивых, жадных, развратных, лживых, которые наезжают в деревню только за тем, чтобы оскорбить, обобрать, напугать?»

Николай умирает. Его вдова, Ольга, и дочь, Саша, уходят. Приходят в другое село. «Остановившись около избы, которая казалась побогаче и новее, перед открытыми окнами, Ольга поклонилась и сказала громко, тонким, певучим голосом:

— Православные христиане, подайте милостыню Христа ради, что милость ваша, родителям вашим царство небесное, вечный покой.

— Православные христиане, — запела Саша — подайте Христа ради, что милость ваша, царство небесное...»

Так кончается рассказ «Мужики». И человека, который написал этот рассказ, называли «певцом сумерек». Хороши сумерки.

Идет пароход дальним путем из Владивостока, через Индийский океан, в Россию. На пароходе, рядом на койках, двое чахоточных — солдат Гусев и Павел Иванович, отец которого был духовного звания. Павел Иванович объясняет Гусеву:

«Я — воплощенный протест. Вижу произвол — протестую, вижу ханжу и лицемера — протестую, вижу торжествующую свинью — протестую. И я непобедим, никакая испанская инквизиция не может заставить меня замолчать». «Все знакомые говорят мне: 'невыносимейший вы человек, Павел Иванович'. Горжусь такой репутацией. Приятели пишут из России: 'не приезжай'. А я вот возьму, да на зло и приеду. Да... Вот это жизнь, я понимаю. Это можно назвать жизнью».

Солдату Гусеву другой солдат говорит: «Не доедешь ты до России...» И потом спрашивает, страшно ли умирать?

«— Страшно — говорит Гусев. Мне хозяйства жалко.

Брат у меня дома, знаешь, не степенный: пьяница, бабу зря бьет, родителей не почитает. Без меня все пропадет, и отец со старухой, гляди, по миру пойдут».

Но судьба Павла Ивановича и Гусева — и того, который протестует и того, который не протестует, а жалеет, что хозяйство пропадет и отец с матерью пойдут по миру, как вдова и дочь лакея Чикильдеева — судьба этих людей одинакова. И в конечном счете совершенно неважно, кто там протестует, а кто не протестует. Оба умирают на пароходе, обоих зашивают в парусину, обоим привязывают к ногам колюсьники и обоих бросают в море. Вот он — чеховский ответ на те вопросы, которые волнуют Павла Ивановича и Гусева.

Рассказ «В ювраге». Воровство, обман, глупость, убийство грудного ребенка, подделка денег, тюрьма и одна строчка от бедного дурака, которого вовлекли в преступление и который пишет из заключения: «Я все болею тут, мне тяжело, помогите ради Христа».

В рассказе «Бабы», молодая, красивая крестьянка Варвара, которую выдали замуж за горбатого пьяницу Алёшку, «гуляет», берет за это по полтиннику, и у нее мечта: извести свёкра и мужа, отравить их и тогда действительно зажить в свое удовольствие — про одного скажут, что умер от старости, про другого, что издох, как она говорит, от пьянства. И в этом мире, который описывает Чехов, мечта Варвары могла бы сбыться и этому, быть-может, было бы какое-то оправдание. И во всяком случае, это было бы естественно. Чего заслуживают те, кого можно назвать худшими — Кирьяк, старик Цыбукин, Аксинья — из «Мужиков», Яков из рассказа «Убийство»? Каторжных работ, тюрьмы, Сибири? Что остается на долю лучших? «Православные Христиане, подайте милостыню Христа ради, что милость ваша, родителям вашим царство небесное, вечный покой»: тюрьма и сума.

Это мужики, несчастная, нищая, крестьянская Россия конца прошлого столетия. Но мужики, это не все. Есть еще интеллигенция, чиновники, люди, принадлежащие к так называемому свету, те кто ездит в Италию и во Францию, у кого есть положение, деньги, лакеи. Этот мир конечно, не похож на тот, который Чехов описал в «Мужиках». Но и тут все также безнадежно и трагично, хотя несколько по-иному. И тут — воровство, пьянство, подхалимство, глупость, разврат или трагедия людей, которые не могут найти ответа на самые важные вопросы — как профессор из «Скучной исто-

рии» или доктор из «Палаты номер шесть». И здесь Чехов никого, в сущности, не осуждает, и только изредка, как например в знаменитом рассказе «Человек в футляре», говорит устами своего героя: «Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое, точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет». «Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие». В «Палате номер шесть» больной Иван Дмитрич говорит: «Эта жизнь кончится не наградой за страдания, не апофеозом, как в опере, а смертью; придут мужики и потащут мертвого за руки и за ноги в подвал». А сторож Никита избивает больных, выпускает бедного сумасшедшего еврея Моисейку в город, где тот просит милостыню и когда Моисейка возвращается, Никита у него все отбирает.

А вот петербургский чиновник Орлов из «Рассказа неизвестного человека». В письме, которое оставляет ему революционер, служивший у него лакеем, — для этого у него были свои причины, — революционер пишет: «Отчего вы, не успев начать жить, поторопились сбросить с себя образ и подобие Божие и превратились в трусливое животное?..» «Вы похожи на дезертира, который позорно бежит с поля битвы, но чтобы заглушить стыд, смеется над войной и над храбростью». И дальше, в том же письме: «Отчего мы утомились? Отчего один гаснет в чахотке, другой пускает пулю в лоб, третий ищет забвения в водке, картах, четвертый, чтобы заглушить страх и тоску, цинически топчет ногами портрет своей чистой, прекрасной молодости? Отчего мы, упавши раз, уже не стараемся подняться и потерявши одно, не ищем другого?» А вот другой чиновник, герой рассказа «Анна на шее», резонер, скупец и подхалим; он женится на бедной девушке, которая гораздо моложе его, считает каждую копейку, делает ей выговоры и потом вдруг, на балу, она покоряет начальство мужа, Его Сиятельство. На следующий день, после бала, к ней входит ее муж.

«И перед ней так же стоял он теперь, с тем же заискивающим, сладким, холопски-почтительным выражением, какое она привыкла видеть у него в присутствии сильных и знатных; и с восторгом, с негодованием, с презрением, уже уверенная, что ей за это ничего не будет, она сказала, отчетливо выговаривая каждое слово:

— Подите прочь, болван!»

Героиню рассказа «Княгиня» революционер из «Рассказа неизвестного человека» вероятно тоже назвал бы трусливым животным и был бы недалек от истины. Княгиня живет в состоянии блаженного умиления перед собственной добротой, перед тем, как все ее будто бы любят, — не желая видеть того, что люди перед ней заискивают только потому, что они от нее зависят.

Цитаты можно продолжать без конца. Герои Чехова — или воры, мерзавцы, подхалимы, звери, глупцы и трусливые животные — или люди порядочные, но сознающие свое бессилие что-либо изменить в этом порядке вещей. Правда есть исключения — Лида из рассказа «Дом с мезонином», которая твердо верит в пользу того, что она делает для народа, и которая так же самоуверенна, как и неумна. Лев Шестов кажется сказал, что всё, к чему прикасается Чехов, увядает, и в этих словах есть что-то чрезвычайно глубокое и правильное. Вот доктор Старцев, Ионыч, который начинает с романтической любви; но из любви ничего не выходит и Ионыч быстро забывает о ней, полнеет, богатеет и превращается в человека раз навсегда утратившего способность к сколько-нибудь «возвышенным» чувствам.

Есть у Чехова рассказы о любви — тот же «Дом с мезонином», «Дама с собачкой». Рассказы прекрасные, но всегда неизменно печальные: не так сложилась жизнь, не то вышло, что надо, и этого нельзя изменить и это бесконечно грустно. Другими словами, там, где могло бы быть подлинное счастье, единственная, неповторимая любовь, там между людьми, которые были созданы друг для друга, возникают непреодолимые препятствия — и остается только плакать и жалеть о том, что могло бы быть и чего нет, и чего конечно никогда не будет.

Вот, в нескольких словах, то впечатление, которое должен испытывать читатель Чехова. Но чем больше проходит времени, тем отчетливее выступает перед нами Чехов. Странно сказать, что в те времена, когда он жил, говорили — Чехов и Потапенко, Чехов и Глеб Успенский, Чехов и Баранцевич. Время исправило эту ошибку. Теперь о месте Чехова в русской литературе спора быть не может, хотя в свое время критик Скабичевский и предсказывал, что Чехов умрет в пьяном виде под забором (удивительный пример литературного суждения). Говоря о том, как писал Чехов, следует может-быть заметить, что он был одним из очень немногих русских

авторов, которого можно назвать словом *maître*, — не знаю русского слова, которое соответствовало бы этому понятию. Его язык — необыкновенно точный, выразительный, каждое слово стоит именно там, где нужно, у Чехова безошибочный ритм повествования, непогрешимый в своем совершенстве. Надо сказать, что этим русская литература не избалована: в ней были или гении, как Гоголь, Достоевский, Толстой, или второстепенные писатели, которые чаще всего плохо представляли себе, что такое литературное искусство.

Чехов не любил «мировоззрений» и не любил ни громких слов, ни повышенного тона, ни выставления напоказ своих чувств, ни надрыва, ни преувеличений. Горький рассказывает, что когда при нем какой-то русский интеллигент жаловался — «рефлексия заела, Антон Павлович», Чехов ему ответил — «а вы водки меньше пейте». Но несмотря на то, что Чехов всегда писал простым языком о самых простых вещах, его творчество это все те же вечные трагические и неразрешимые проблемы, вне приближения к которым не существует ни подлинного искусства, ни подлинной культуры. Что такое мир, в котором мы живем? Что такое жизнь? Что такое наша судьба? Можно ли найти какое-то гармоническое построение в этом бесконечном множестве противоречивых начал? Можно ли найти оправдание тому, что мы видим и знаем? Что такое смерть? Что такое любовь? Что такое мораль? Что такое зло?

Я намеренно упрощаю всё в этом перечислении. Все это конечно бесконечно сложнее. Но это именно то, над чем человеческая мысль бьется тысячелетия. И вот Чехов, всем, что он написал, как бы говорит: Таким я вижу мир. То, что описывает Чехов, не похоже на чудовищный бред гениального Гоголя. Это также и не Раскольников, сравнивающий себя с Наполеоном, не Иван Карамазов со слезинкой ребенка и легендой о Великом Инквизиторе, не князь Андрей на Аустерлицком поле. Все, что описывает Чехов, гораздо проще, прозаичнее, это обыкновенная жизнь обыкновенных людей. Но все это совершенно безнадежно — и в каком-то смысле похоже на письмо мальчика, который живет у сапожника и пишет «на деревню дедушке». Пожалуй только, что в отличие от мальчика, Чехов знает, что никакое обращение ничему не поможет и никуда не дойдет.

Вернемся к повторению старой истины: для того, чтобы знать, что такое зло, надо знать, что такое добро. Конечно, если бы Чехову нужно было ответить, каким, по его мнению,

должен бы быть мир, у него не возникло бы затруднений и он конечно мог бы построить систему положительной морали, даже в самом обыденном смысле слова, хотя бы той положительной морали, которая определила его собственную жизнь. И если, по словам Страхова, Достоевский был чем-то вроде соединения Федора Павловича Карамазова со Свидригайловым, то Чехов не был похож ни на одного из своих героев. Есть у Чехова страницы, где он как бы вырывается на короткое время из того безотрадного мира, в котором живут его герои, и где он пишет о лучшем, как он себе его представляет. Это например «Степь», «Архиерей». Следует, однако, подчеркнуть, что содержание и того и другого рассказов символично: герой «Степи», которая ничем не кончается, — мальчик Егорушка, и мы не знаем, какой будет его жизнь. А архиерей умирает.

В течение последних десятилетий необыкновенное распространение получил тот вид деятельности, который в России называется литературоведением. Никогда не печаталось такого количества биографических материалов, писем, воспоминаний современников, разъяснительных статей и т. д. Никогда не выходило столько книг под заглавием: «Творчество такого-то, творчество такого-то». Иногда материалы этого рода бывают чрезвычайно интересны и ценны. Но катастрофа начинается обычно там, где начинаются попытки объяснить почему такой-то автор написал такую-то вещь, и как бытовые условия или личная биография определили облик того или иного писателя или характер его творчества. Талант и гений — явления по своей природе необъяснимые. Возьмите миллион человек, заставьте каждого из них родиться в семье Чехова или соседа Чехова, в 1860 году, в городе Таганроге, заставьте каждого из них кончить среднее учебное заведение, потом приехать в Москву и поступить на медицинский факультет, — словом поместите каждого из них в совершенно такие же условия, в которых жил Чехов. И потом посмотрите, кто из них напишет «Мужики», «Степь», «Палата номер шесть». Как-то во время литературного разговора, один из моих друзей сказал: «Если бы Толстой не участвовал в обороне Севастополя, он не мог бы написать «Войну и Мир». Об этом я не берусь судить, да и вообще нет ничего более опасного в таких вещах, чем сослагательное наклонение. Но то, что я знаю — это, что никто из защитников Севастополя, кроме Толстого, не написал «Войны и Мира» и никто не мог бы написать.

Чехов не мог бы так хорошо знать русский народный быт, если бы не был врачом — совершенно верно. Но какие другие врачи, которые тоже прекрасно знали этот быт, написали бы то, что написал Чехов? Нет, его биография — повторы — его творчества, конечно, не объясняет и не может объяснить. И если надо непременно оставаться в пределах этой схемы — жизнь и творчество — то, я думаю, более правдоподобным кажется утверждение, что не жизнь Чехова определила его творчество, а его творчество определило его жизнь. Как все замечательные писатели, он слишком много увидел, слишком много понял, слишком много создал. У него не было тех титанических сил, которые объясняют удивительное долголетие некоторых гениев — Тициана, Микель Анжело, Гёте или Толстого. Тот груз, который он поднял, — вся эта бесконечная русская печаль, вся безвыходность этой бедной жизни, вся эта безнадежность, это сознание, что ничего нельзя изменить — этот груз был слишком тяжел для него и он не выдержал, надорвался и ушел, не оставив в том, что он написал, ни надежд, ни обещаний лучшего будущего.

Гайто Газданов

НЕАПОЛЬ

Над блоковскими ресторанами,
Над джазом в радужном порту,
Ночь кувыркается рекламами,
Играет в звездную лапту.

Куда деваться от Италии?!
Вот если б только, да кабы —
Уйти, сбежать из вакханалии
Своей же собственной судьбы...

А я мечтаю о Неаполе,
Кочую из кафе в кафе,
Стараюсь разобрать каракули
Неоновых автодафе.

Так явь становится безумием,
Спиралью, радугой, витком
Над треугольником Везувия
В прохладном воздухе морском.

**
*

*Поговори со мной о пустяках
О вечности поговори со мной.
Георгий Иванов*

Осенним вечером парижским,
Когда совсем как наяву,
Дома, соборы, обелиски
Бесшумно рушатся в Неву,

Когда в волшебном как-попало
Плывут туманы и мечты,
И отражаются в каналах
Венецианские мосты...

Парижским вечером туманным,
Вдоль Сены, у Консьержери,
Где расплываются нирванно
Неоновые фонари, —

И снова веет от Лагуны
Потусторонним ветерком,
И Цевский в мареве двулунном
Безлюдным стынет двойником...

... Люблю под пологом каштановым,
По набережной в огоньках
Бродя,
 с Георгием Ивановым
Поговорить о пустяках.

**
*

Люблю перекресточный веер
Штурмующих дали дорог, —
Дорог уходящих на Север,
На Запад, на Юг, на Восток.

Люблю их размеренно-строгий
Почти уже песенный лад:
Дороги, повсюду дороги,
Дороги вперед и назад.

Дороги в безвестье, в незнаю,
Дороги, как линии рук...
Давай я тебе погадаю,
Мой воображаемый друг.

Давай мы с тобой помечтаем,
Давай мы с тобой улетим
В Италию.

 Хочешь в Италию —
В Неаполь, в Милан или в Рим?

Оттуда. . .

Но, впрочем, не надо
Оставим пустые мечты!
Смотри, как ложится прохлада
На лес, на поля, на кусты.

Люблю, приближаясь к итогам,
Под жизни слабеющий шум,
В вечернюю мглу, по дорогам
Бездумно лететь наобум.

**
*

Когда-нибудь,
О, я уверен в этом, —
Проснувшись ночью, вдруг увижу я,
Что за окном едва заметным светом
Как-будто занимается Земля.

Как-будто всё: и ночь, и город спящий,
Преобразил неведомый рассвет.
И это будет, не от звезд сходящий,
Но к звездам поднимающийся свет.

**
*

Провода, паровозы, пути:
Полустанок железнодорожный. . .
От людей еще можно уйти,
От себя убежать — невозможно.

Поезд мается, время бежит,
Ветер сушит и годы калечат,
И сложнее становится жить,
Не с людьми,
а с собою, конечно.

К. Померанцев

ГРАССКИЙ ДНЕВНИК *

22 августа 1928 г.

Столько раз собиралась записать поподробнее о течении нашей жизни — о всех и о себе — и никогда на это не находится времени. А между тем лето уже кончается, скоро сентябрь и с ним изменение жизни. Возможно, что И. А. поедет в Сербию, на съезд писателей, и тогда это выбьет всех нас из колеи. Живем мы очень однообразно, много тише, чем в прошлом году. И. А. долго бесплодно мучился над началом третьей книги «Арсеньева», исхудал и был очень грустен, но в конце концов сдвинулся с места и теперь половина книги уже написана. Третья книга опять очень хороша, но мне чего-то жаль в маленьком Арсеньеве, который уже стал юношей, почти беспрестанно влюбленным и не могущим смотреть без замирания сердца на голые ноги склонившихся над бельем баб и девок...

Вообще И. А. не тот, что был раньше. Перемена эта трудно уловима, но я знаю, что она в отсутствии той молодой, веселой отваги, которая была в нем год-два назад и так пленяла. Он внутренне притих, глаза у него часто стали смотреть грустно... «Ничто так не старит, как забота», часто поговаривает он. Но все же он часто шутит, даже танцует по комнате, делает гримасы перед зеркалом, изображая кого-нибудь (и всегда изумительно талантливо), дразнит капитана* так, что тот приседает от смеха. Капитан тоже присмирел в это лето, не так часто ругает кого-то в пространство, аккуратно каждое утро уходит писать в сад под фигу, меньше ждет писем, не бросается к почтальону, меньше спорит с В. Н.** (хотя все-таки спорит), глядит покорнее. Все же попрежнему любит поездки и иногда, когда есть деньги, заливается куда-то на два-три дня на велосипеде: «в контрольную поездку», как

* См. кн. 74 «Н. Ж.».

* Н. Рошин.

** Вера Николаевна Бунина.

дразнит его И. А. Возвращается «на голенищах» тоже по словам И. А., всегда почему-то немного виновато, а мы все его дружно расспрашиваем и поддразниваем.

В. Н. попрежнему сидит постоянно за машинкой, не гуляет, бледна, нервна, и я часто чувствую сквозь стены как-бы какое-то болезненное веянье. Это отражается на мне тяжелой тоской — я замечала несколько раз, что хуже себя чувствую, когда она в дурном состоянии и веселею, когда оно делается легче. Иногда это меня пугает.

Сама я живу не очень хорошо. Попрежнему «безутешно грежу жизнью». Попрежнему сомневаюсь в себе, тоскую, браню себя за лень, хотя все время как-будто что-то делаю. В это лето мне стало уже казаться, что моя первая молодость прошла...

Я давно ничего не пишу прозой и как-то привяла. Должно быть жаркое лето меня обессилило. Правда я пишу еще время от времени стихи, но они меня мало радуют. Единственное настоящее дело — подготовила книгу стихов И. А. — перепечатала две трети, а главное затеяла это — без затей же это бы никогда не сдвинулось с места. Перепечатывая стихи многое узнала, увидела в них то, чего прежде не видела. Есть стихи изумительные, которые никто по настоящему не оценил. Мы много говорим с И. А. об отдельных стихотворениях. Думаю, что могла бы написать о его поэзии большую статью, если бы не страх ответственности и не моя слабая воля...

Как трудно, например, засадить себя за писание! Я уж выдумала ходить с тетрадью наверх в рощу, где есть дубы и мирты и от них прохладная влажная тень. Там ложусь, слушаю как листья шумят — оливки очень красивы на синеве неба и долины, но не шумят, а шум — душа дерева — и наслаждаюсь прохладой, запахом, густотой лиственного покрова, отдаленным сходством его с русскими рощами и лесами. Напоминает иногда немного и Богемию, особенно то, что я хожу в лес с тетрадью, как делала когда-то в ее лесах, записывая стихи, которые сначала говорила громко, бредя куда глаза глядят среди красных сосновых стволов с далеко шумящими вершинами... Но там я была окрылена своими стихами. Здесь пишу их грустно, как-то смиренно. И. А. говорит, что это взрослость. Да, может быть.

27 августа.

Вчера, в воскресенье были в Горж дю Лу. Было очень хорошо, но И. А. зевал и утверждал, что будет дождь, а он в смысле предсказаний погоды лучше барометра. В ущельи прошли далеко над потоком, и я вспоминала, как была там первый раз «туристкой» три года назад. Потом мы ночевали в Грассе в отеле, и мне и в голову не приходило, когда я смотрела утром в окно, заслоненное горой, что в этом городе я буду скоро постоянно жить.

Небо над ущельем было водянисто-голубое, чистое, нежное. Под скалами апельсиновые сады, дальше виноградники, яблони с красными уже яблоками, фиги. А дальше совсем дико, ежевика цепляется за ноги и длиннолистые округлые деревья, напоминающие наши приречные вербы, наклоняют к воде длинные тонкие ветки. Сидели над потоком, ели виноград, фугасеты*; капитан из-за своего обычного молодечества лазил по отвесным голым камням к потоку, мочил ноги. И. А. его поддразнивал. Через час в ущельи стало скучно, огромные стены гор заслоняли солнце, да и вообще уже стало хмуриться. Когда мы вышли из ущелья на мост, предсказанье И. А. стало сбываться — небо затянуло серыми тучами, вершины гор стали дымиться. Пошли пешком по шоссе, по направлению к дому. Шли и спорили, главным образом, конечно В. Н. с капитаном, на тему о том, достаточно ли было содержание офицеров в России, лет двадцать назад. Капитан утверждал, что оттого и шли в офицеры, что соблазняла обеспеченность, а В. Н., наоборот, доказывала, что ее брат, офицер, нуждался и жил с трудом. И. А. поддерживал капитана, бранил Куприна за «Поединок», говоря, что того, что там написано, не было: краски безбожно сгущены. Я больше слушала, т. к. двадцать лет назад была совсем ребенком. Автобус нагнал нас только за Баром. Готовили обед дома сами, т. к. прислуга по случаю праздника была отпущена. За обедом разгорелся другой спор, в котором уже В. Н. и я были против И. А., поддерживаемого капитаном. Спорили о повести одной молодой писательницы, которую И. А. при Илюше** очень хвалил, а теперь отрицал это и говорил, что «надо понимать оттенки» и что говорилось это в относительном смысле. Я разгорячилась забывая, что к И. А. обычные мерки не-

* Провансальские белые хлебцы.

** И. И. Фондаминский.

применимы и что надо помнить о его беспрестанных противоречиях, нисколько однако не исключаящих основного тона. Так о Чехове, о котором он говорил как-то восхищенно, как о величайшем оптимисте, в другой раз, не так давно, он говорил совершенно противоположно, порицая его, как пессимиста, неправильно изображавшего русскую провинциальную жизнь и находя непрымимым и нелюбезным его отношение к людям, восхищавшимся его произведениями.

Впрочем вечером мы с ним вполне помирились. Сегодня он пишет статью для «Последних Новостей» о Толстом. Толстой неизменно живет с нами в наших беседах, в нашей обычной жизни.

14 сентября.

Были в Ницце, сидели с Тэффи на поплавке у моря. Между прочим она говорила:

— Есть два сорта людей: одни все дают, другие все берут. Когда я знакомлюсь ближе с человеком, всегда жду, что он скажет. Скажет: «дайте ваш портрет» или «дайте вашу ленту» или еще что-нибудь или сам сейчас же принесет что-нибудь... ну хоть старинную монету. Первые — эгоисты, но зато интереснее. Вторые — все отдадут, раскроются — и дальше неинтересно.

20 декабря.

Прочли в газетах о трагической смерти критика Айхенвальда. И. А. расстроился так, как редко я видела. Весь как-то ослабел, лег, стал говорить: — «Вот и последний... Для кого теперь писать? Младое незнакомое племя... что мне с ним? Есть какие-то спутники в жизни — он был таким. Я с ним знаком с 25-ти лет. Он написал мне когда-то первый... Ах, как страшна жизнь!»

22 декабря.

Утром писала стихи. Потом пришла почта и как всегда по большей части расстроила. Илюша написал И. А. что они задумали издавать художественные биографии, как это теперь в моде. И вот Алданов взял Александра II-го, Зайцев — Тургенева, Ходасевич — Пушкина. И. А. предлагают Толстого или Мопассана. После завтрака В. Н. поехала в Канны за по-

купками, а мы с И. А. пошли гулять по дороге в горы — погода была удивительная, все вдали голубое, мои любимые кипарисы в сухой траве, голый дуб на светлом небе — словом чудо. Но мы мало обращали на это внимания — всю дорогу говорили. И. А. размышлял, что бы ему писать, критиковал писателей, взявшихся за темы в сущности мало им близкие, потому, что мало ведь знать факты, надо перевоплотиться в того, кого будешь писать. Особенно волновал его Пушкин.

— Это я должен был бы написать «роман» о Пушкине! Разве кто-нибудь другой может так почувствовать? Вот это, наше, мое, родное, вот это, когда Александр Сергеевич, рыжеватый, быстрый, соскакивает с коня, на котором ездил к Смирновым или к Вульффу, входит в сени, где спит на ларе какой-нибудь Сенька и где такая вонь, что вздохнуть трудно, проходит в свою комнату, распахивает окно, за которым золотистая луна среди облаков, и сразу переходит в какое-нибудь испанское настроение... Да, сразу для него ночь лимоном и лавром пахнет... Но ведь этим надо жить, родиться в этом!

Потом вдруг вспомнил о Лермонтове. «Вот! Это и недолго, 27 лет всего... Надо согласиться!»

Но тут же стал говорить, что это все все-таки «мануфактура», хотя и надо согласиться, надо быть в первых рядах действующей армии, тем более, что ведь все это будет на четырех языках...

6 августа 1930 г. Вчера обедали в Мужене у Сорина. Приехали заранее с Алдановым из Канн. Всю дорогу с ним разговаривали (мы с ним сидели отдельно) он был очень мил, как-то особенно родственен на этот раз.

Хвалил напечатанный в «Новостях» отрывок из «Золотого Рога». «Как хорошо описаны Принцессы острова! — говорил он. — Ну, конечно, что говорить об Иване Алексеевиче, но вот я бы не мог! Я улицу не могу описать. Вот вы говорите, что у вас нет сюжета для романа. Да у вас тут сюжет *manqué!*»

Сорина мы застали еще в рабочем костюме. Пошли вместе осматривать городок. Едва мы остались на минуту одни, он сказал мне:

— Ну, как же будет с вашим портретом?

Я сказала, что не знаю. Подошел Алданов и, вмешав-

шись, спросил за чем дело стало? Сорин с самолюбивой улыбкой ответил:

— Да ведь я тоже капризный! Вот с Парижа жду ответа и все не получаю его.

— Я буду посредником между вами, — сказал Алданов. — Галина Николаевна, соглашайтесь скорей!

Обед подали в саду. Стол был покрыт провансальской скатертью, вино, хотя и простое, было превосходное. Приятель Сорина, А. Панчулидзе, потомок Вигеля, толстяк с висящими вниз щеками, заговорил с Алдановым, который, узнав, что он окончил пажеский корпус, тотчас стал расспрашивать для романа, какой был германский флаг на посольстве, какой был такой-то зал во дворце, какая обивка Михайловского театра. В конце концов он стал спрашивать нас: «что видишь прежде всего, когдаходишь зимой в 7 часов вечера в сад?»; каков должен быть снег, ноздреватый или крепкий, какие стволы деревьев, какие цвета. Расспросив, всё записал. Нужно большое писательское мужество даже смирение, чтобы открыто признаваться в своем незнании чего-нибудь и так прямо расспрашивать, и оно есть только у него одного. Между прочим, он спросил Сорина, чем определяется для него решение писать портрет, с первого ли раза или постепенно. Сорин сказал, что с первого раза.

Последний обед Алданова у нас позавчера носил какой-то элегический характер. Алданов был растроган, говорил, что расставаться со всеми нами ему очень грустно, что у него почти нет таких друзей как мы. За обедом (обедали в саду под пальмой) то и дело забывал есть, растроганно повествуя о своем знакомстве с Ал. Толстым и «очаровательным видением» его женой, Н. Крандиевской. Когда В. Н. отвлекалась разговорами с прислугой, он старался привлечь ее внимание жалобным: «Вот я рассказываю, а В. Н. не слушает!» Опять хвалил мой отрывок из «Золотого Рога» и советовал писать роман. После обеда пошли провожать его к автобусу. Вечер был почти осенний, с мягко высланным лиловыми тучами небом и внезапными порывами ветра. Он очень нежно простился с И. А. и всеми нами.

12 августа.

Была на первом сеансе. Сначала Сорин долго усаживал меня, смотрел. Долго не мог выбрать позы. Наконец посадил с книгой, раскрытой на коленях. Сделал первый карандашный

набросок. Рисовал, стоя посреди комнаты, в очках. Разговаривал, но видимо полумашинально. Потом примерял голубую шелковую повязку. Сначала восхищался, потом попросил сбросить ее и сказал:

— Нет, мне нужен от вас документ. Это уже маскарад. А я хочу написать вас. Давайте же писать честную голову, без всего этого...

За первый сеанс он только и успел сделать один набросок. Сегодня проснулись мы под дождем и день так темен, что вряд ли придется ехать в Канны.

13 августа.

Вчера в комнате уже было два подрамника с полотном и мольберт. С. сделал большой карандашный набросок. Был вчера совсем нелюбезен, даже суров, занят был одной мыслью, чтобы я не двигалась, и злился, когда время стало подходить к 6 часам, ничуть не скрывая этого. Чтобы «оживить» меня — разговаривал, вернее рассказывал, но все это опять-таки поглощенный работой. Много рассказывал о себе, и вот один рассказ, которым он хотел показать степень своей гордости.

«Лет семь тому назад я был в Лондоне, и вот однажды, телефон. Звонят из Галлерей, говорят, что герцогиня Йоркская хочет меня видеть. Я говорю, я небритый... Мне отвечают, все равно приезжайте немедленно. Я еду. Она там, действительно ждет. Начался разговор. Она хочет, чтобы я написал ее портрет. «О цене мы говорить не будем. Это вы сговоритесь с кем полагается». Вижу, что галлерейщик мне делает лицом отчаянные знаки: мол, соглашайся, хорошо заплатят. Ну, начал я писать. Она была прелестная, такая веселая, молоденькая, прямо из старинного английского романа. Написал ее я в 15 сеансов. Писал по утрам, потом уезжал завтракать и ехал в поместье к лорду Б. где писал лэди Б. Однажды жду ее (Йоркскую) жду, жду — нету. Наконец, за пол-часа перед окончанием сеанса пришла такая красная и говорит: «Вот я опоздала! Знаете, хотите оставайтесь со мной завтракать, а потом я велю позвонить лэди Б. что вы будете писать вместо нее сегодня меня?» Я конечно согласился. Она ушла, я жду, входит мэтр д'отель и говорит: «Пожалуйста в соседнюю комнату, вам там подано». Я ничего не сказал, но поразился ужасно, вышел в парк, иду, иду, не знаю что делать? Как же так, она меня пригласила завтракать с собой, а тут вдруг — в комнату... Очень я боролся с собой, но в кон-

це концов не смог. Парк огромный, идти далеко, да и нет тут ресторанов поблизости, ну, к счастью проезжал мимо такси, я его взял и поехал, — итальянский там был ресторан, я там позавтракал и вернулся во дворец. Ну, она пришла, ни слова. Я тоже. Дома рассказал друзьям — они меня ругают, как, говорят, еслибы тебя государь пригласил и сам за стол не сел с тобой, так ты тоже бы обиделся? Ну, я не знаю, что отвечать, но все-таки говорю, как же приглашала с собой завтракать, а потом — в комнату рядом... Ну, через несколько дней среди сеанса она говорит: «Хотите мадеры?» Я говорю: да. Принес метр д'отель бутылку, налил два бокала. Она присела на барабане (она на нем позировала), а я с другой стороны, она подняла бокал и говорит: «Сегодня мне двадцать три года!» В это время двери открываются и входит офицер, который со мной торговался насчет цены и вообще этикетом заведывал. Вошел, посмотрел и сейчас же обратно. Она вспыхнула и говорит мне: «Как он меня мучит! Он ко мне приставлен и тогда вот, когда я вас пригласила завтракать, он нашел, что это неприлично и велел накрыть вам отдельно...» А портретом она была так довольна, что потом писала мне, что когда у нее плохое настроение — она входит в комнату, где он стоит, и смотрит на себя, и настроение у нее меняется...»

1 сентября.

Сорин говорил во время последнего сеанса, что писатели без конца сами о себе пишут в газетах, хотя читателям это гораздо менее интересно, чем они думают, забывая, что «есть одна общая культура, в которой и художники и скульпторы и музыканты...»

Я возражала, указывая на статьи в той же газете о живописи, о музыке. Потом он опять говорил, как писатели некультурны, как мало знают вне своего, как ничем больше не интересуются. Я опять возражала, приводила примеры. Но у него видимо зуб против писателей.

В этот день И. А. зашел по его приглашению взглянуть на портрет. Так как он вообще последнее время в грустном настроении, то вошел он как-то прохладно и говорил каким-то обескровленным голосом. Похвалил глаза, чуть заметную улыбку, вообще сходство. Но когда мы ехали с ним обратно сказал, что при сходстве и «красивости» портрета, я у Сорина все же не та и нет свободы в позе.

16 сентября.

У И. А. есть одна особенность: страсть к перьям. Всю свою жизнь он мучится с неподходящими перьями, мучится своим почерком, хотя есть периоды когда пишет великолепными клинообразными письменами. Для того чтобы было легко писать, ему необходимо какое-то особенно легкое, удобное перо, и вот, достаточно ему войти в писчебумажный магазин, как он начинает тянуться к коробочке с золотыми перьями и ватермановскими ручками, пробовать их и почти всякий раз покупает ручку за 70-80 фр. которую, испробовав дома, находит негодной. Накопилось этих перьев и ручек у нас немало, он чрезвычайно ревниво относится к ним, не дает никому до них дотрагиваться, а время от времени обходит все комнаты и берет со столов то одну, то другую чью-нибудь ручку. У него было простое перо, купленное в Грассе, которым он писал 7 лет, написал «Митину любовь», и «Дело корнета Елагина», но теперь он уронил его и перо разбилось.

Вчера Л.,* зная страсть И. А. продавать вещи хотя бы за бесценок, предложил ему купить у него одну из его ручек с золотыми перьями за 10 франков. Пошли в кабинет, И. А. достал, разложил свои коробки с перьями и стал на листе бумаги пробовать их, давая затем попробовать мне и Л. Роцин, пристроившийся у другого стола, подле В. Н., тоже стал выпрашивать какую-нибудь ручку. Разговоры были в таком роде:

— И. А., дайте мне какую-нибудь.. Ей-Богу...

— погоди, погоди, я тебя завяжу вот по ушам! Так узнаешь! Зуров, а вот попробуйте как это...

— Как вы их запаиваете И. А., на огонь, на спичку! Прямо странно!

— А где было другое перо, четырехгранное?

— Да это не перо, а какая-то пушка!

— Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет! Отдайте, капитан!

— И. А., отдайте, ей-Богу, рыженькое вот это... стыдно прямо! Ну, смотрите В. Н., отнял!

— Ну отдай ему, Ян — лениво говорит В. Н., лежащая с книгой на постели, — подари ему. Оно же испорченное.

— Да как это так подарить? Так?

— Да ведь всегда дарят так! И. А., ей-Богу, подарите, ведь это дело профессиональное...

* Л. Зуров.

— Иди-иди, не проедайся.

— Эхе-хе-хе, ей-Богу!

— Эх, писатели! — говорит В. Н. — Возьмите мое, капитан.

— И. А. это мне от В. Н., а от вас что будет?

И. А. шутя замахивается на него.

В конце концов он дает две ручки Л. и одну Р. без всяких, конечно, денег. Через четверть часа Л. приносит одну назад, — не годится.

23 октября 1930 г.

День рождения И. А. Шестьдесят лет. Совсем обыкновенный день, ни поздравлений, ни писем, даже меню обыкновенное.

В. Н. говорит, что в прежние годы он «с ума сходил перед днями своего рождения, часто уезжал куданибудь накануне, то в Петербург, то в Ефремов». На этот раз очень тих, очень сердечен был вчера вечером и сегодня все утро. Гуляли по саду. Очень теплый солнечный день. Он шутил с Р., гулял с нами всеми тремя перед завтраком, хотя даже и не переоделся, все в том же старом полосатом халате с растрепанными завязками.

Я все читаю Флобера. Как просто написана сцена первого падения Эммы с Родольфом! И какой погребальный голос над всем этим!

По вечерам уже очень холодно. Очень покраснело японское деревцо за оградой.

23 октября.

День Ангела И. А. В доме попытка праздника: все приоделись, к завтраку была любимая И. А. рыба. Однако он пишет весь день, чему я рада.

Вечером после обеда и выпитого вина, ходили вчетвером на площадке нижнего сада (Монфлери) и разговаривали. Было холодно, ветер размахивал черными перистыми ветками пальм, звезды горели голубоватыми огоньками. Мистраль.

Перед этим И. А. читал написанные за день кусочки в столовой, где на белой пустой скатерти венком лежали темные тени гвоздик, стоявших в зеленой кубышке посередине. Читал он, опершись локтем на камин, стоял к нам лицом, так что на плечо ему другие гвоздики, стоявшие на камине, клали свои

красные головы. Как точны, великолепны, несомненны все слова в этих «маленьких рассказах»! Точны как самые совершенные стихи. Это особенно чувствуется когда он читает вслух.

22 ноября.

Гуляли с И. А. перед обедом. Был какой-то зловещий закат, множество разнообразных и ярких красок. Должно быть за горами шла непогода. Недаром два дня был горячий тяжелый ветер. На закате всё было освещено сиренево-фиолетовым, лица, стены, деревья. По зелено-меловым листьям огромной агавы текло лиловое.

Долго ходили по городу за покупками. Встретили дочь фотографа, на венчаньи которой недавно были в соборе. Она маленькая, серенькая, как-то согнувшись, шмыгнула мимо нас, таинственно и робко улыбнувшись мне. Она была опять такой скромной серенькой букашкой, что странно было вспомнить ее в белых облаках вуали, раздумянную, глядящую с порога церкви на взлетевших голубей... Она только что вернулась из свадебного путешествия... Вот еще немного поблещет она молодой женственностью, а там уже наступит «скучная неподвижность», о которой Пруст писал: «Как быстро приходит момент, когда уже больше нечего ждать, когда тело погружено в неподвижность, не обещающую никаких неожиданностей, когда теряется всякая надежда при виде выпадающих или седеющих волос вокруг еще молодого лица, подобно мертвым листьям на дереве в середине лета...»

4 января 1931.

Фондаминские приехали вчера и вчера же вечером Илья Исидорович поднялся к нам.

Подали чай и необычно уселись в девять часов в столовой за чайным столом. И. И. пополнел, все так же весел, даже больше чем обычно, что объясняется, я думаю, его успехами в Париже и тем, что он «освежился», сделав большое путешествие в Болгарию, и Германию. Весь вечер рассказывал, а мы все жадно задавали ему вопросы. Прежде всего сказал, что шансы Бунина в Швеции очень велики и что в Париже к нему взрыв симпатии по этому поводу.

Потом говорил, что в Европе назревает война, что Германия и вообще все побежденные страны кипят как котел,

что они полны злобой и жадной воевать во что бы то ни стало, что Германия производит «очумелое истерическое впечатление», что она делает все, чтобы убедить большевиков напасть на Польшу, обещая потом со своей стороны сделать то же самое; что Франция безумно боится войны — он был на каком-то важном заседании в Париже, где вход был строго по приглашениям и где выступал цвет Франции, что генералы «дрожат» и все границы укрепляются, хотя казалось бы воевать не с кем. В Берлине он провел вечер (свой самый приятный вечер там) у Сирина-Набокова. Он живет в двух комнатах с женой, «очень хорошей, тонкой» и по некоторым мелочам живут они трогательно.

— А какой он в обращении? Любезно-нервен? Или нервно-любезен? спросил И. А.

— Да... как вам сказать... Он благожелательный человек... так приятен, хотя и производит такое впечатление, что в нем то же что в его романах — он в них раскрывается до конца, дает всего себя, а что дальше? Вот за это, признаться, стало глядя на него страшно.

— Ну а внешность? Худ как черт?

— Худ как черт!

Все гурьбой пошли его провожать. По дороге он рассказывал редакционные новости: редакция «завалена» романами молодых. Пескова написала небольшую «великолепную» повесть, которая принята. Евангулов предложил роман, в котором однако запутался во второй половине. Тоже самое с Городецкой... «Мне ее было жаль. Девочка работает, читает доклады у Бердяева, а пришлось отказать. Принесла роман. Руднев говорит первая часть хороша, а дальше запуталась».

Познакомился с Газдановым. Сказал о нем, что он произвел на него самое острое и шустрое, самоуверенное и дерзкое впечатление. Дал в «Сов. Записки» рассказ, который написан «совсем просто». Открыл в этом году истину, догадался, что надо писать «совсем просто».

14 января.

Новогодний обед у Амалии (Фондаминской) готовили три кухарки, считая и нашу Камий. Был какой-то замечательный салат, пирог, индейка и печеные яблоки с кремом, а на десерт среди прочих фруктов — греп-фрюи.

Амалия была в старинном тафтовом платье, с крохотными оборочками и в музейных чулках из алансонских кружев.

Рассказывала нам, что во времена довоенные добаловала себя до того, что не могла ехать в купэ спальных вагонов и заставляла горничную предварительно покрывать все купэ замшевой кожей, потому что «Бог знает, кто там до меня ехал».

За столом все время играла добрую фею, с томной грацией клонила голову к плечу, что ей идет и удается. В большой комнате была зажжена легкая сосенка и под ней разложены подарки. И. А. — серебряный подстаканник со стаканом, В. Н. — шарф, мне — кусок зеленого шелка на блузу, мужчинам по галстуку. Кроме того каждый мог снять с елки то, что ему хотелось. Я взяла черного изгибистого кота со свечечкой на хвосте. Кончили всё принесенным нами Редерером.

28 февраля 31 г.

Письмо от некоего Олейникова, женатого на сестре Нобеля, с знаменательной фразой о том, что он надеется на «русский обед» в будущем декабре, на котором сможет увидеть И. Бунина — нобелевского лауреата.

И. А. несколько взволновался. Он, как и мы все не позволяет себе зарываться в мечты, которые могут не оправдаться. Но все-же...

19 марта 1931 г.

Позавчера вечером пришли Брежневы с незнакомым господином и дамой «яснолицой и хорошо одетой», как рассказывал о ней И. А., и попросили свести их к Фондаминским. И. А., который как раз собирался туда, поехал с ними на автомобиле. Вернулся часу в одиннадцатом, несколько взволнованный. Оказалось, что эти господин и дама прямо из Ленинграда. Он голландец, концессионер, она, его жена — сестра Германовой. Рассказывали о России в таком духе:

Он: (с акцентом) О, у нас все кипит! Все строится. В сорок дней мы строим город на месте болота. Россия залита электрическим светом, в портах грузятся корабли, вывоз огромный и как все приготовлено! Как доски распилены! (и т. д. и т. д.).

Говорили и о писателях. И. А. расспрашивал. О Ал. Толстом они рассказали, что он отлично живет, у него своя дача, прекрасная обстановка, что он жалеет здешних.

— А мы их жалеем, — сказал И. А.

Вообще разговор был грустный. И. А. пришел какой-то потрясенный. Мы все разволновались. «У нас в Ленинграде» — в первый раз за много лет мы это услышали.

13 ноября 1931 г.

Ходили втроем гулять по каналу. И. А. рассказывал о своей первой книжке стихов, которая вышла как приложение к «Орловскому вестнику». Ему было лет 19. Обложка книжки была из бумаги, на которой чередовались: китаец, домик, мостик. «Одним словом вроде той, которой оклеивают в некоторых местах уборные. Редактор «Вестника» был, конечно, человек сумасшедший. Представьте себе, кому нужна была эта книжка в Орле! Но за нее дали мне 40 рублей, а мне хотелось шляться, вот я и взял».

— В вас действовал верный инстинкт. Вам тогда нужно было шляться, — сказала я.

— Да, конечно И. А., — сказал Л. — Вот мне, например, как было бы полезно, если бы были деньги, сесть в поезд и поехать куда-нибудь в Бургундию или даже по Провансу.

— И очень жаль, что я тогда шлялся, — сказал И. А. — если бы я тогда не терял времени и во время учился, работал — чего-бы мог наделать!

— Как! — воскликнул Л. — Да ведь надо работать, чем-то! Ведь то что вы тогда ездили дало вам потом материал для работы!

— В молодости, когда чувства и душа недостаточно развиты, видимое чаще всего подавляет. Для того чтобы почувствовать, надо тоже быть в известном возрасте.

Мы вышли на обрыв и сели на камни, глядя вниз, где в голубом тумане делала петлю дорога и широко, до моря, разлеглась долина, усеянная россыпью белых домиков. Позади были горы — оттуда стукнул выстрел.

— Вот разве я когда слышал, как отец стреляет — разве я мог почувствовать этот выстрел, то, что он сначала как-бы ударился во что-то, а потом разорвался... и многое другое, что бы я добавил сейчас, и чего не мог бы разобрать тогда, — снова заговорил И. А. — Вообще, пока человек молод и неразвит, его или подавляет виденное или напротив так изумляет, что он ничего не может о нем сказать. Пока человек не

вышел из чего-нибудь, не возвысился над ним — не он владеет им, а оно им. Все настоящее начинается собственно с 33-х лет.

— Поэтому И. А., я думаю, лучше всего писать не о себе. Молодому автору лучше быть подальше от себя, — сказал Л.

— Ну отчего-же? Напротив, все делали как раз так. Сначала пишут о себе.

— Ну тогда надо как-то очень изменять.

— А Толстой? Очень изменить — вместо Левочка называть Николенька.

— Почему вы, И. А. так мало ездили по России? Вот это ваша ошибка, вы должны были бы все объездить.

— Да ведь это вам, когда вы потеряли Россию, все представляется так. А мне что же? Когда есть свой дом, в некоторые комнаты и не думаешь заглядывать. А когда потерял — кажется всюду бы пошел. В Париже вон все бегут осматривать Нотр-Дам, а в Москве разве кто-нибудь ходил в Кремль?

— Я в Париже не видела могилы Наполеона, до сих пор не была в Инвалидах, — сказала я.

— И ничего не потеряла, — ответил И. А. — Более неудачно устроить могилу Наполеона нельзя было. Это производит не больше впечатления чем кафельный пол в уборной.

14 декабря.

Вечером у меня в комнате И. А. говорил:

— Ну как это перевести «скиглит чайка»? А ведь как выражено!

— Да это просто звукоподражание, — с легким презрением сказал Л.

— Да, а вот как выражено! Это именно эти звуки (он показал голосом, как кричит чайка). А вот например: — «За байраком, байраком, — В поли могила. — Из могилы встает — Казак сивый, похилий. «Похилий» — как сказано! А перевести нельзя. Я пробовал переводить Шевченко. Не то! Так же и поляков. Самые близкие «смежные» языки труднее всего поддаются переводу. Происходит это оттого, что они еще слишком близки к природе, они еще в диком состоянии — откуда и прелесть — и при переводе не входят в семью языков культурно развившихся.

22 декабря.

В воскресенье ездили в Канны в церковь. Я с давно неиспытанным наслаждением слушала службу, рассматривала теплый от красного ковра светлый храм, расписанные цветные стекла на белых стенах, запрестольную живопись. Когда кланялась — огоньки точно сходили со своих свечей; выпрямлялась — они опять вспархивали обратно. Когда дьякон читал Евангелие, мальчик, стоявший подле него со свечей, был похож на какого-то, виденного на картине, итальянского: пригнув голову, с толстой белой свечей в руках, он стоял в своем стареньком парчевом балахоне, смуглый черноглазый, очень красивый. Когда он подошел затем к свечному ящику, неподалеку от нас и, сдавая просфоры, стоял ко мне спиной, я увидела, что между лопатками его подрясника вышит в сложных крыльях маленький с сердитым лицом ангелочек. Когда он пошел обратно в алтарь, увидела на свету, что он весь золотой от смуглого пуха, покрывавшего его лицо, шею и детскую руку.

Дата неизвестна.

После обеда И. А. читал нам в кабинете те небольшие кусочки, над которыми работал последние дни. Читал как всегда превосходно, оттеняя голосом всё главное. Особенно понравился отрывок про петербургского студента.

После обеда мы с И. А. ушли в конец сада и сели на скамью. Выходила луна. Ночь была облачная, прохладная. Начали говорить о писаньи.

— Ведь из чего иногда создается то блестящее, что так восхищает? — говорил он. — Из какого жалкого, пустышного оно большей частью выходит!

— А из чего создалась у вас «Чаша жизни»? — спрашиваю я, вспоминая только что прочитанные вслед за «Студентом» отрывки из нее.

— То что у каждой девушки бывает счастливое лето — это между прочим вспомнилась сестра Машенька. Перед замужеством она все выходила в сад, повязывала ленточку, напевала лезгинку. А после замужества, когда на год оставила мужа, помощника машиниста, то тоже как-то повеселела, часто ездила на заводы в соседнее имение Колонтаевку, там была сосновая аллея, как-то особенно пахло жасмином в то лето... Эту аллею я взял потом в «Митину любовь» и так все это было жалко и горестно! А мордовские костюмы носили

барышни Туббе, и там же был аристон и опять эта лезгинка... Отец Кир? Отец Кир... это от Андреева. Ведь он мог быть таким, синеволосый, темнозубый... А кое-что в Селехове — от брата Евгения. И он тоже купил себе граммофон и в гостиной у него стояла какая-то пальма. А главное, отчего напислось все это, было впечатление от улицы в Ефремове. Представь песчаную широкую улицу, на полугоре, мещанские дома, жара, томление и безнадежность... От одного этого ощущения мне кажется и вышла «Чаша жизни». А юродивого я взял от Ивана Яковлевича Кирши.

— Кто это?

— Его вся Россия знала. Был такой в Москве. Лежал в больнице и дробил кирпичем стекло. И день и ночь, так что сторожа с ума сходили. И когда он спал, неизвестно! И вот валил туда валом народ, поклонницы заваливали его апельсинами, а он жевал их, выплевывал и прямо в поклонницу, — в какую попадет, та считает себя особенно отмеченной и счастливой. Когда он умер везли его через весь город, он долго стоял в кладбищенской церкви. Я себе очень хорошо представляю это: осень, листья в лужах, ледяная кладбищенская церковь, и он все стоит, и его не могут похоронить, потому что церковь осаждают пришедшие поклониться... И вот, так как жрал он много и был грузен и долго стоял, то быстро люпнул и текло из него так, что под гроб пришлось поставить тазы, и вот представьте себе! эти поклонницы, разные купчихи кинулись, давя друг друга, с тем, чтобы обмакнуть вату в эту сукровицу и унести к себе домой.

— Что за гадость!

— Да, да, и было это всего 70 лет назад. Да вообще у нас в России такие вещи бывали... И дурак я, что не написал жития этого «святого». У меня и матерьялы все были.

— Да напишите, как рассказываете!

— Нет, это не то. Там стихи его были. Да и надоело мне это. Я в этом роде уже писал.

— А как разно сложилась жизнь, ваша и Машина, — сказала я. — Вы объездили полмира, видели Египет, Италию, Палестину, Индию, стали знаменитым писателем, а она никогда никуда не выезжала из России, не была ни в одном большом городе, вышла замуж за помощника машиниста...

— Ужасно! Ужасно! И вот есть какое-то чувство виноватости перед ней. Жизнь страшна, непонятна. Вот я сажусь в кавказский экспресс, идущий на Баку, а он такой, каких наверное и у английского короля нет: стекла саженные, весь

какой-то литой, блиндированный, в первом классе желтые кожаные сиденья... и вот станция Грязи. Я схожу, встречает меня муж сестры Маши, рвет из рук чемодан и почтительно и родственно вместе с тем, улыбается, целуется... И вот идем мы через буфетный чертог и все поглядывают... Все знают, что этот господин зять здешнему помощнику машиниста. И так идем через местечко и все тоже смотрят, все знают... И так приходим в домик... А там Маша, нервная, худая, часто курящая, и двое детей, жалких, большеухих, как котята какие-то. И мамочка живет с ними... Ах страшна жизнь!

А ночью, чуть горит прикрученная лампочка и из комнаты, где я сплю, слышно, как вдруг, сев со сна на постель, громко расплачется, зальется ребенок: Бабушка!.. и сейчас же сонное шлепанье ее ног и шепот... А потом она закуривает над лампой, и фитиль вспыхивает, вскинется наверх...

— Ах, знаю, знаю эту жизнь! Видела в Смеле, в Здолбуново.

— Здолбуново, Смела, все это юг, там тополя, белые дома, а тут грязное пыльное уныние... Но не надо, однако, представлять себе эту жизнь чрезмерно ужасной. Днем, Машенька, бывало, весела, напевает, а вечером я накуплю всякой всячины, вина, сыров, сардин великолепных, она выпьет, да возьмет гитару, да сядет в каком-нибудь мягком платке на плечах, да начнет что-нибудь по-отцовски... Она умница, талантливая... и вполне сумасшедшая, конечно. А то бывало пойду на вокзал, спрошу себе бутылку красного, сяду, лакей подает — и косится... Все знают, что этот отлично одетый господин приехал к помощнику машиниста. А иногда и Машенька придет со мной в бархатной шубке, такого какого-то рытого бархата... Ах, как все это страшно и жалко...

Говорил он все это изумительно, медленно, как будто видя перед собой, и так, что у меня сердце сжималось от жалости. И слушая его я все смотрела на туманное небо, туда, где рваные перламутровые облака медленно смыкались, как медуза, собираясь поглотить тусклую, смертельно грустную луну...

— Все это непременно надо написать, — сказала я.

— Как это написать? Страшна, сложна моя жизнь. Ее не расскажешь — грустно твердил он...

Г. Кузнецова

ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕНЩИН В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ*

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В течение целого столетия между властью и университетами в России и в особенности между властью и студентами шла борьба. Правительство то уступало, то применяло строжайшие меры.

Борьба эта несомненно отразилась и на судьбе высшего женского образования. Правительство относилось к нему отрицательно, считая его ненужным и нежелательным. И давало разрешение на открытие высших женских школ только после усиленных хлопот заинтересованных в этом деле лиц и в лучшем случае только терпело эти школы. Последние возникали благодаря частной инициативе и могли существовать только благодаря необычайной энергии и настойчивости инициаторов и поддержке сочувствовавших этому делу лиц.

Вопрос об учреждении Высших Женских Курсов в России поднялся вскоре после обнародования Университетского Устава 1863 года, согласно которому доступ женщин в университеты был внезапно запрещен. Здесь надо указать на мало кому известный факт, что граф И. Шувалов, разработавший вместе с Ломоносовым проект Устава 1-го Университета в России, добился в 1757 году от Сената еще указа и на то, чтобы доступ в Университет был распространен и на женщин. Согласно Песковскому «когда начиналось в 1-м Университете чтение лекций по физике (на французском языке), в Университет был открыт доступ и дамам». (Русская Мысль. 1887 Ноябрь). Воспользоваться этим разрешением могли конечно только единицы. Женщины в те годы не были подготовлены к высшему образованию.

* См. кн. 75 «Н. Ж.»

Около 50 лет спустя, при Александре I, в Московском Университете было зарегистрировано несколько вольнослушательниц, которые посещали лекции по русской словесности, археологии, истории и искусству. Были также слушательницы и на физико-математическом факультете. Посещение женщинами Университета продолжалось и после войны с Наполеоном, по возобновлении прерванных во время войны занятий. Это видно из того, что в 1823 году на лекциях «по физике-химии с практическим применением в технологии», которые читались на немецком языке, из 30 слушателей 10 были женщины.

При Николае I о присутствии женщин в Университетах сведений не имеется. Однако, женщины появились опять на лекциях в 60-х годах при Александре II. Вот, что пишет один из современников этого события, студент Петербургского Университета — Л. Пантелеев. На осенний семестр 1860 года на юридическом факультете зарегистрировалась в качестве вольнослушательницы первая женщина. Эта очень миловидная дама была дочерью Тульского помещика и женой архитектора Корсини. На первую лекцию она вошла под руку с ректором в переполненную студентами аудиторию. Усадив ее в кресло, ректор остался в аудитории и прослушал лекцию проф. Кавелина. На следующие две-три лекции ее сопровождал сам Кавелин, а потом она приходила одна. Очень скоро вольнослушательницами записались еще пять женщин. Во втором семестре число женщин, записавшихся на лекции разных факультетов сильно увеличилось, т. ч. в конце семестра присутствие их в Университете сделалось совсем обычным явлением. В следующем году женщин студенток на некоторых лекциях бывало не меньше, чем мужчин. Некоторые профессора отнеслись к их появлению на лекциях очень сочувственно, другие — явно не одобряли этого, но никто открыто не протестовал. Большинство студентов, по словам Пантелеева, смотрело на присутствие студенток как на совершенно естественное событие. Вольнослушательницы скоро появились и в университетах Киева, Харькова и Одессы. В 1861 году женщины были допущены в Петербургскую Медико-Хирургическую Академию.

Доступ женщин в университеты был прекращен в 1863 году. Этот запрет совпал во времени с первыми выпусками учениц, оканчивающих первые открывавшиеся в России с 1858 года женские гимназии. Вследствии отмененного прави-

тельством доступа женщин в университеты и Медико-Хирургическую Академию значительное количество девушек, окончивших среднее образование стали уезжать для продолжения образования за границу.

Но, конечно, громадное большинство девушек оставались на родине, где они были лишены возможности продолжать образование. Это и повело к тому, что в России начались хлопоты об открытии высших учебных заведений для женщин.

Толчек этим хлопотам был дан госпожей Конради, редакторшей одного небольшого журнала, издававшегося в Петербурге. Воспользовавшись происходившим в городе, в декабре 1867 г., Первым Съездом Русских Естествоиспытателей, она подала Съезду записку. В ней был поднят вопрос о высшем женском образовании. Записка эта была, конечно, подана не по адресу, но цель Конради была достигнута. Этим вопросом заинтересовались, о нем заговорили, на него откликнулись и в других городах, и заинтересованные этим делом лица начали хлопоты об открытии высших женских школ для женщин.

За право добиться разрешения на учреждение таких школ энергично принялись сами женщины. Дело это оказалось не легким, т. к. этому сильно противилось правительство. Борьба их с властью, при активном содействии мужчин, сочувствовавших женскому образованию, продолжалась до начала этого столетия.

В конце 60-х и начале 70-х годов М. Н. Просвещения шло очень медленно навстречу хлопотавшим. Вместо высших женских школ оно разрешало только публичные лекции для лиц обоего пола или для одних женщин. Немного позже в 1872 году в виде пробы разрешение было выдано на открытие в Москве Высших Женских Курсов с двухлетним курсом преподавания. И только в середине 70-х годов правительство пошло, наконец, на серьезные уступки. Большое число ежегодно уезжавших в Европу девушек начало тревожить русское правительство. Вынужденный отъезд дочерей вызывал справедливое нареkanie и неудовольствие родителей. Кроме того власть начала сознавать, что помимо учения в университетах, девушки знакомились в Западе с разными «вредными идеями».

Все это повело к тому, что весной 1876 г. Александр II издал указ, разрешающий открывать в университетских городах России Высшие Женские Курсы. Значительную помощь при подготовке этого указа оказал принц Ольденбургский,

отстоявший идею открытия общеобразовательных Женских Курсов и раскритиковавший поданный было проект об открытии высших женских школ исключительно с программой педагогической.

Указом Александра II воспользовались несколько городов, но дело развивалось нормально только в столицах. В провинции и Министерство Народного Просвещения и местная власть продолжали ставить всевозможные препятствия открытию школ и их нормальному развитию. Курсы открылись только в Казани и Киеве. А через 10 лет, в 1886 г., воспользовавшись наступившей в стране политической реакцией, министерство Нар. Пр. совершенно неожиданно издало приказ о прекращении приема новых студенток **во все** без исключения высшие женские учебные заведения с тем, чтобы через три года, в 1889 году, по окончании учения последних учившихся на курсах студенток, закрыть все эти школы. Приказ был мотивирован тем, что при министерстве была образована комиссия, занятая рассмотрением принципиального вопроса о высшем образовании женщин и выработкой новых уставов для высших женских учебных заведений. Всем существующим школам разрешалось таким образом только довести до конца обучение уже учившихся в них курсисток.

Прекращение приема новых слушательниц разорило все эти школы. Устояли только Бестужевские Курсы в Петербурге. Им удалось пережить эти три неблагоприятных года и получить даже разрешение на возобновление занятий. Но и это произошло только благодаря личному вмешательству в дело Александра III.

Теперь мы перейдем к истории возникновения и развития первых рассадников профессионального медицинского образования русских женщин.

ЖЕНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Стремление русских женщин получить доступ к профессиональному медицинскому образованию было очень сильно, очень настойчиво и носило отпечаток идейного характера. Оно встретило сильную поддержку в разных кругах общества и большое сопротивление со стороны правительства.

Первая женская школа, имеющая отношение к медицине возникла в 50-х годах 18 века при Елизавете, которая признала нужным открыть школу для повивальных бабок. При Екатерине II в 1785 г. был учрежден в Петербурге Женский

Акушерский Институт, а при Александре I в 1801 г. было открыто в Москве Училище для акушерок. При Николае I правительство впервые допустило женщин к зубоврачебному делу с правом практики. При нем же курс обучения в Акушерском Институте, открытом при Александре, был сокращен. Вместо четырехлетнего обучения курс продолжался только 2 года. При этом же Институте была открыта гинекологическая амбулатория. В открытом в 1844 г. повивальном Институте в Киеве курс обучения был разделен на полугодовой теоретический курс и полугодовые практические занятия. Кроме того в последние годы царствования Николая I в Петербургском Воспитательном Доме открылся отдел для приготовления фельдшерниц, т. е. младшего женского медицинского персонала.

При Николае же, в 1844 году, благодаря настойчивости вел. кн. Елены Павловны, была образована Первая Община Сестер Милосердия. К руководству Общины был привлечен знаменитый врач, педагог и общественный деятель Н. И. Пирогов. Члены сестричества заведывали аптекой, обучались перевязкам ран и уходу за больными.

Помощь и самоотверженная работа сестер милосердия, их умение подойти к раненым и больным, облегчать страдающих и поддержать дух умирающих солдат во время Крымской войны 1853-1855 были оценены рядом лиц. Доктор Пирогов открыто признавал, что «до сих пор мы игнорировали чудесное дарование наших женщин». Деятельность женщин так хорошо зарекомендовавших себя в этой тяжелой и ответственной работе несомненно открыла дорогу женщинам пионеркам добивавшимся доступа к высшему медицинскому образованию. Это случилось в 1861 году, когда несколько женщин подали прошения в университеты о зачислении их на медицинские факультеты. Ректора университетов, которые самовольно не могли принять их, пересылали эти прошения в Мин. Нар. Просв., а министерство передавало их в Главный Медицинский Совет, который энергично поддержал желание женщин и высказался за удовлетворение их прошений, не видя для этого никаких препятствий.

Пока велась переписка об этом деле и прошения проходили через все инстанции, несколько женщин добились в 1861 г. приема в Военно-Хирургическую Академию, в Петербурге, которая находилась в ведении Военного Министерства. Они были допущены в Академию в качестве вольнослушательниц и учились там в течение почти двух лет, с 1861-1863 года.

Но окончить курс им не пришлось. В начале 1863 года доступ женщинам и в университеты и в Академию был запрещен правительством. Единственное исключение было сделано для одной из студенток Академии, Кашеваровой-Рудневой. Она была стипендиаткой Оренбургского Края и начальник Края просил дать ей возможность окончить курс, т. к. женщины-мусульманки, населяющие этот край ни за что не подпускали к себе врачей-мужчин и благодаря этому были лишены всякой врачебной помощи. Кашеварова окончила Академию в 1868 году.

Наиболее энергичные студентки Академии уехали для окончания своего образования за границу. Первой женщиной врачом была Н. П. Сулова, окончившая университет в Цюрихе в 1867 году. Она была первой женщиной, получившей звание доктора медицины. Приветствовавший ее после публичного диспута швейцарец, профессор Розэ, высказал свою радость, что может назвать ее коллегой и выразил свое глубокое уважение к ней. Речь эта между прочим была напечатана в 1868 г. в Журнале, издававшемся в Петербурге М. Вн. Дел, «Архив Судебной Медицины и Гигиены». В России во главе приветствовавших ее профессоров и ученых был И. М. Сеченов.

Вернувшись в Петербург Сулова получила право врачебной практики только после долгих хлопот.

В конце 60-х и начале 70-х годов женский вопрос вообще и учреждение высших женских учебных заведений в частности волновали русское общество и вызывали горячее сочувствие многих представителей столичной интеллигенции и особенно профессуры. Несколько членов Медицинского Совета во главе с Н. Козловым разработали проект об устройстве женских врачебных Курсов не связанных с каким-либо мужским учебным заведением. Проект их был подан в М. Н. Пр., но подавшие его получили отказ.

Однако воспользовавшись тем, что в 1869 году Медицинский Совет рассматривал вопрос об усилении медицинского образования акушерок, Козлов предложил Совету установить две акушерские степени: первая степень — просто «акушерка»; вторая степень «ученая акушерка», с общим врачебным образованием. Для получения этой второй степени Козлов предлагал устроить специальные курсы, отдельно от мужчин, при Военно-Хирургической Академии в Петербурге и при медицинских факультетах Университетов в других городах. Ме-

дицинский Совет, обсудив предложение Козлова, принял его. Было решено принимать на Курсы только женщин получивших среднее образование. Курс учения установить 4-х летний. Обязать кончающих сдавать экзамены установленные для получения звания лекаря по той части медицины, которая входит в программу новых Курсов, и установить, что сдавшие такие экзамены получают право врачебной практики для лечения женщин и детей.

Это постановление было передано военному министру Д. А. Милютину, который дал принципиальное согласие на открытие Женских Курсов при Военно-Хирургической Академии. Но, конечно, он должен был предварительно снестись по этому делу с М. Вн. Д. и М. Н. Пр. Оба министерства по обыкновению сильно затянули дело, не давая определенного ответа. Неизвестно чем бы дело кончилось, если бы Козлов не уведомил Милютина, что одна состоятельная дама, г-жа Родственная-Шанявская, предлагает пожертвовать 50.000 р. на устройство Врачебных Курсов для женщин. Военный Министр Милютин сообщил об этом Александру II и лично ходатайствовал о разрешении открыть эти врачебные курсы, при Военно-Хирургич. Академии. Желание его было исполнено и разрешение на открытие Женских Врачебных Курсов было получено весной 1872 года. Начальником их был назначен член Медицинского Совета Н. И. Козлов.

Из поданных для поступления на Курсы 109 прошений вступительный экзамен выдержали 90 женщин. Правила на Курсах первые годы были очень строгие. Была проведена полная изоляция студенток от студентов. Студенткам было даже запрещено раскланиваться с родственниками и знакомыми студентами при встрече с ними в Академии. Было почему-то запрещено устройство библиотеки, но книги на Курсах конечно имелись. Поэтому слово библиотека было заменено словами «шкапы с книгами». Так например одно лицо, пожертвовавшее на Курсы большое число книг должно было надписать на посланных им пакетах «в шкапы с книгами для слушательниц Женских Врачебных Курсов».

Студентки учились с увлечением и очень старательно, т. к. кроме интереса к работе они чувствовали обязанность поддержать существующий в Академии высокий уровень знаний и не хотели ударить в грязь лицом. В насмешку над их усердием студенты прозвали их парфэтками и зубрилками.

При открытии этого учреждения имелись в виду Жен-

ские Курсы для подготовки «ученых акушерок», но преподавание на Курсах постепенно расширялось. Профессора читали свои лекции в полном объеме, не сокращая своих предметов, зная, что укороченные программы принесут вред, дав полубразованных врачей. Поэтому в конце 4-го года в 1876 году, профессора признали необходимость продлить на год преподавание и разросшееся учебное заведение было переименовано в Женские Врачебные Курсы. Они были переведены при этом из Академии в другое помещение, в Николаевский военный госпиталь. Деньги на необходимый ремонт в этом госпитале и устройство аудиторий, анатомического театра и лабораторий были опять даны г-жей Шанявской. Весь пятый год студентки работали в клиниках и больницах: гинекологической, детской, акушерской, глазной, ушной, венерической, хирургической, терапевтической, психиатрической и кожных болезней.

Профессора Курсов были не только великолепными преподавателями, но и борцами за женское образование. Они хлопотали о правах оканчивающих студенток, которые все еще оставались невыясненными. В виду того, что приближалось время экзаменов для учащихся первого выпуска, необходимо было выяснить какие права и какое звание получат лица оканчивающие эти Врачебные Курсы. Профессора их и военный министр высказывались за полное уравнение прав женщин с правами врачей-мужчин. Но министр Внутренних Дел на это не соглашался. Он снесся с М. Н. Пр. и дело было передано в Государственный Совет. Важный вопрос этот оставался висеть в воздухе.

Между тем около 25-30 студенток пятого курса, не закончив еще занятий, уехали весной 1877 года добровольцами на войну с турками. Им были выданы свидетельства о 5-ти летнем пребывании на Курсах. На фронте они исполняли ту же работу, что и студенты-медики 5-го курса, их посылали на передовые позиции и на эвакуационные пункты, где они выполняли обязанности ординаторов под наблюдением врачей. Их работа была всеми одобрена и о ней посылались самые лестные отзывы от начальствующих лиц и от Красного Креста, т. ч. их представили к награждению орденами. Многие погибли на фронте, а вернувшиеся по окончании войны в Петербург сдавали постепенно все свои выпускные экзамены.

Студентки первого выпуска, не принимавшие участия в войне и оставшиеся в Петербурге на Курсах сдавали свои

экзамены с декабря 1877 года по февраль 1878 г. Экзамены были обставлены очень торжественно. Кроме представителей медицины на них присутствовали члены различных правительственных ведомств. По словам одной из сдававших эти экзамены студентки, это было скорее суд, а не экзамены. Все сошло хорошо и приговор «суда» был вынесен благоприятный.

Но вопрос о правах и звании окончивших Курсы оставался неразрешенным. Противники женского медицинского образования продолжали ставить разные препятствия и министры не могли никак договориться об этом вопросе. Вместо ожидаемых дипломов сдавшим экзамены женщинам были выданы простые свидетельства о том, что они окончили курс врачебных наук и могут лечить женщин и детей. Медицинский Совет постановил тогда единогласно ходатайствовать перед М. Внутр. Дел о том, чтобы до разрешения вопроса о правах окончивших Курсы в законном порядке им предоставили в виде временной меры право на самостоятельную врачебную работу. О том же просили земства которые сильно нуждались во врачах, и города. В конце концов несмотря на их юридическую неопределенность женщин врачей стали призывать на работу не требуя дипломов. Спрос на них усиливался особенно в разных земствах. Вопрос был решен только в 1880 году, когда Александр II разрешил им присвоить звание «женщины врача» и велел выдать каждой окончившей Врачебные Курсы нагрудный знак с буквами Ж. В., указывающий на их право самостоятельной врачебной практики. И все же имена женщин-врачей появились в списке русских врачей, имеющих право лечить только в 1883 году.

Врачебные Курсы продолжали благополучно расти до 1882 года. За десять лет существования их окончили 959 человек. Но когда после убийства Александра II в 1881 году военный министр Милютин был заменен генералом Ванновским, по требованию последнего прием новых студенток на Врачебные Курсы был прекращен. Министр Ванновский считал неудобным существование женских Курсов при Военном Ведомстве.

На предложение его, обращенное к М. Вн. Дел и М. Н. Пр., принять эти Курсы в свое ведение оба министра ответили отказом. Первый мотивировал отказ тем, что он никогда не считал нужным привлекать женщин к врачебной работе, а второй сослался на то, что в Петербургском Университете нет медицинского факультета. Друзья Курсов, хлопотавшие о со-

хранении их, заинтересовали этим делом Петербургскую Городскую Думу. Город охотно согласился на предложение принять эту школу в свое ведение и немедленно ассигновал даже на это дело ежегодную сумму денег. Но постановление Думы не было утверждено петербургским губернатором на том основании, что вопрос о женском образовании не подлежит компетенции городского управления. Дело было передано в М. Н. Пр. и дальнейшие хлопоты женщин и сочувствующих им лиц, их письма, просьбы и статьи в печати не привели ни к чему.

Печальная судьба Врачебных Курсов была решена: Курсы закрылись. Но это было не всё. Принципиальные враги женской эмансипации, женского образования пошли дальше. Министром Внутренних Дел в 1882 году был все тот же граф Д. Толстой, бывший с 1866-1880 г. министром Народного Просвещения. Вскоре после закрытия Курсов под его председательством состоялось Особое Совещание Министра Народного Просвещения, Военного Министра и Обер Прокурора Синода. На совещании этих 4-х министров было вынесено несколько постановлений, которые были опубликованы в начале 1883 г. Два из них были следующие: 1. Просить М. Н. Пр. о разработке программы и плана 4-х летнего курса для обучения ученых акушерок. Поручить исполнение этого дела товарищу министра кн. Волконскому. 2. Женщин врачей, которые окончили уже Врачебные Курсы и получили по приказу имп. Александра II нагрудный знак Ж. В. считать опять не врачами, а именовать их «учеными акушерками» и предоставить им право занимать места в женских институтах и гимназиях и женских монастырях.

Последнее постановление вызвало настоящую бурю протеста. Министры явно переборщили, превратив около 1000 женщин врачей, занимающих уже места в земствах, больницах, клиниках и школах по разным специальностям, — в акушерок и отменив таким образом указ, данный в 1880 г. покойным Александром II. А разрешение этим «акушеркам» работать в женских средних учебных заведениях и монастырях вызвало град насмешек. Мотивированный доклад, составленный группой женских врачей о несправедливости и несовместимости с их достоинством принять звание акушерок был подан Александру III лично Министром Двора, графом Воронцовым-Дашковым. Последний обратил особое внимание царя на неудобство звания акушерок для лиц приглашенных ра-

ботать в качестве врачей в средних женских школах и женских монастырях. Вскоре последовало повеление царя отменить звание «ученая акушерка» и предоставить женщинам, окончившим Врачебные Курсы, именование «врач для женщин и детей».

Вышеупомянутый Комитет, которому было поручено разработать под председательством князя Волконского программу для 4-х летнего курса обучения ученых акушерок работал очень энергично. Он состоял из представителей различных медицинских организаций и врачей. Было решено прежде всего собрать данные о постановке женского медицинского образования в Европе и Америке. Затем были собраны мнения известных врачей специалистов в России, деканов медицинских факультетов в университетах и членов Медицинского Совета. На основании собранного материала большинство членов комитета высказалось против женского элементарного медицинского образования и настояло на том, чтобы подать проект о предоставлении женщинам полного образования, введении пятилетнего курса обучения и открытии специального Женского Медицинского Института.

Мнения членов правительства, познакомившихся с этим проектом, разделились. Вокруг этого вопроса шла сильная борьба. Принципиальные противники женского образования долго не сдавались. Но в конце концов в 1891 году проект этот был подан наконец на утверждение Государственного Совета. Большинство членов последнего дало принципиальное согласие на открытие Женского Медицинского Института, но с условием, чтобы он открылся и существовал на частные средства, так как государственной необходимости в этом учебном заведении нет. Министру народного просвещения было поручено представить Государственному Совету разработанный проект штата и положения будущего Института. Надо добавить, что на этот раз М. Н. Пр., Делянов, бывший прежде противником, теперь отнесся очень сочувственно к открытию этого учебного заведения.

Узнав радостную новость, что единственным препятствием к основанию Женского Медицинского Института является только отсутствие необходимых средств, сочувствующие этому делу лица начали усердно искать жертвователей. От закрывшихся Врачебных Курсов оставался капитал превышающий 220.000 р. Больше всего и охотнее всего жертвовали москвичи, большая сумма денег была опять дана Шанявскими,

поступало тоже много мелких пожертвований. В общем было собрано больше 700.000 рублей. В начале 1895 года М. Н. Пр. представило на утверждение Государственного Совета разработанный план о положении Института. На заседании Государственного Совета рассматривавшего этот план возникла последняя заминка. Меньшинство членов, 8 человек, предъявило требование о том, чтобы женщины поступающие в Институт сдавали экзамен не только по латинскому, но и греческому языкам. Большинство в 34 человека настояло на том, чтобы требования предъявляемые женщинам не превышали тех, которые установлены для мужчин при поступлении в университеты.

Положение о Женском Медицинском Институте было утверждено Государственным Советом летом 1895 года, а в сентябре 1897 года Институт был торжественно открыт. В 1898 г. вышел закон, дававший право женщинам врачам быть принятыми на государственную службу.

Привожу здесь некоторые статистические данные:

	подано прошений	принято	окончили курс
1897		188	
1898	390	212	
1899	430	279	
1900	726	241	
1901	789	313	
1902	819	333	113
1903	772	361	149

К концу 1903 года в Институте училось 1392 человека, из них было 226 стипендиатов земств, городов, общественных учреждений, и самого Института. В 1904 году в Институте училось 1525 студенток. Подавших заявления о допущении к государственному экзамену было 248 человек. Сдававших эти экзамены 239, из них 14 докторов медицины окончивших университеты за границей. Сдали эти экзамены 236 человек. Из них 168 получили степень лекаря с отличием, а 68 степень лекаря. В 1904 году содержание Института было переведено на государственный счет и Институт перестал быть частным учебным заведением.

Система пятилетнего курса обучения была предметная. Строго проверялся переход со 2-го на 3-й курс. На 3-й курс допускались только студентки, сдавшие все экзамены по общеобразовательным предметам, которые проходились первые два года. В течение этих двух лет кроме подробнейшего курса по анатомии человека студентки слушали лекции и, работая

в лабораториях, познакомились с основами неорганической химии, физики, ботаники, зоологии, гистологии и эмбриологии. С 3-го курса проходились предметы, имеющие уже прямое отношение к медицине, как бактериология, патологическая анатомия, хирургическая анатомия и предметы чисто медицинские. С этого же года начиналась работа и дежурство в клиниках, что продолжалось до окончания Института. Диплом со званием лекаря давал право практики. Его получали после сдачи государственных экзаменов. Но в общем редко кто из студенток успевал окончить в пятилетний срок. Обычно они оставались на год или два дольше.

Так как число подающих заявления о желании поступить в Институт всегда превышало количество свободных мест на первом курсе, то принимали обычно по конкурсу аттестатов 8-ми классных гимназий. Плата за право учения была низкая, всего 50 рублей в год. Общежитий при Институте не было. Студентки, большей частью очень ограниченные в средствах, снимали комнаты в частных квартирах, живя иногда по две-три в одной комнате. Питались они в студенческих столовых. Эти столовые находились под наблюдением самих учащихся и помещения были очень просторные, светлые и чистые. Пища была баснословно дешевая. За 20-25 копеек можно было плотно пообедать.

По словам учившихся в Институте с 1907-1912 год и с 1911-1917 г. студентки в те годы большого интереса к политике не проявляли. Они были поглощены занятиями — большим количеством лекций и работой в лабораториях, госпиталях и клиниках. За все эти годы работа из-за забастовок в Институте не прерывалась ни на один день.

Открытие в 1897 году Женского Медицинского Института значительно облегчило работу лиц, хлопотавших об учреждении женской медицинской школы в Москве и других городах.

В 1900 году М. Вн. Д. беспрепятственно утвердил устав Общества для учреждения Женского Медицинского Института в Москве. Но профессора медицинского факультета московского университета, заинтересованные в этом вопросе, пришли вскоре к заключению, что гораздо легче, проще и дешевле открыть не Институт, а медицинский факультет на существующих уже в Москве В. Ж. Курсах. На курсах имелась администрация, а часть лекций и практических занятий можно было совместить с работой и лекциями естественного

отделения ф. м. факультета. Кроме того было известно, что Министерству Нар. Пр. давно уже пожертвован большой капитал в 100.000 рублей на устройство женской медицинской школы в Москве с условием, что эта школа откроется при каком-нибудь учреждении с тремя факультетами.

Проект об открытии медицинского факультета при М. В. Ж. К. был утвержден в 1906 году. Окончившие его приравнивались в правах к окончившим мужские медицинские факультеты университета. Прием студенток поступающих на медицинский факультет был открыт осенью 1907. Между прочим я была приглашена в качестве ассистентки вести с первокурсницами этого факультета практические занятия по анатомии растений. Это были шестинедельные занятия, происходившие еженедельно по три часа с каждой группой медичек. Они учились с большим рвением, овладевали микроскопической техникой, сами делали препараты, зарисовывали их и получали правильное представление об устройстве разных растительных клеток и тканей.

На таких же основаниях были разрешены медицинские факультеты при В. Ж. К. в Харькове, 1906, в Киеве, 1907, и в Одессе в 1910 году. В Харькове в 1910 году был открыт кроме того частный Женский Медицинский Институт учрежденный Медицинским Обществом и частный Мед. Институт в Юрьеве. А в Томске с 1913 г. правительством было разрешено принимать женщин на свободные вакансии медицинского факультета в университете.

ЛУБЯНСКИЕ КУРСЫ В МОСКВЕ

Лубянские Курсы открылись осенью 1869 года под названием «Публичные лекции для женщин с программой мужских классических гимназий». Это своеобразное учреждение развилось через несколько лет в школу с серьезным 4-х летним курсом высшего учебного заведения. Лубянские Курсы, открывшиеся на окраине Москвы, на т. н. Разгуляе, можно считать первой открывшейся в России Высшей Женской Школой.

Летом 1868 г. группа женщин в Москве начала хлопотать об основании высшего женского учебного заведения при Московском Университете. Собрания их были очень многолюдны, велись неумело, собиравшиеся на заседания женщины шумели, перебивали друг друга, спорили о том как назвать эту школу, о том к кому обратиться с прошением, собирали среди

знакомых и незнакомых подписи под прошением. Они принялись за дело не только не спросив Университет о согласии на свою затею, но даже не уведомив его о своем намерении присоединить к нему эту новую школу. Благодаря поднятому ими шуму по городу разнеслись разные неблагоприятные слухи об этих собраниях и они были запрещены полицией.

Дело это однако не заглохло. Оно перешло в руки небольшого кружка женщин, которые повели его тихо и осторожно. Им удалось заинтересовать этим вопросом директора 2-й мужской гимназии Ф. Королева. Он подал по их просьбе министру народного просвещения прошение о разрешении открыть Высшие Женские Курсы при 2-й гимназии, с тем, чтобы лекции на Курсах происходили по вечерам, когда занятий в гимназии не было. В мае 1869 г. министр ответил на это согласием. Но разрешение было дано только на открытие «Публичных лекций для женщин с программой мужских классических гимназий», а не на открытие Высших Курсов о которых мечтали хлопотавшие.

Лекции эти разрешались под ответственностью подавшего прошение директора. Министерство прислало при этом Устав с 11 пунктами из которых наиболее важными были следующие: 2) В программу должны входить все предметы, которые преподаются в мужских гимназиях, 4) Курс каждого предмета открывается тогда, когда желающих будет достаточно, чтобы оплатить все издержки, сопряженные с слушанием предмета, 5) Все издержки — вознаграждение преподавателей, расходы по освещению, прибавка жалованья прислуге, вознаграждение лицу, которое должно присутствовать для соблюдения порядка (надзиратель или другой из лиц служащих в гимназии) и пр. — все расходы слушательницы принимают на свой счет, 10) Главным распорядителем этих Курсов должен быть директор 2-й гимназии. Ему же вверяется хранение денег и заведывание кассой, а также предоставляется право входить в сношение с избранными с общего согласия слушательниц преподавателями относительно вознаграждения их и пр., 11) Право избрания для их курсов преподавателей известных своей опытностью в деле преподавания предоставляется самим слушательницам, но никто не может быть избран окончательно без согласия на это директора 2-ой гимназии.

Первоначальная программа включала в себя все предметы, проходившиеся в мужских гимназиях, однако, она посто-

янно изменялась под влиянием двух факторов: ежегодное изменение числа слушательниц записывавшихся на проходившиеся предметы и желание их расширить свое образование. Разрешения на постепенно вводимые новые предметы давались властью ежегодно без всяких препятствий. Особенно ценным в школе было отсутствие стеснений при записи на лекции. Свобода выбора предмета давала возможность пожилым женщинам и молодым матерям, занятым семьей или работой, хоть отчасти пополнить свое образование, записываясь на один курс лекций или на небольшое число предметов. Слушательницы были всех возрастов, имели, конечно, разное образование и принадлежали к разным сословиям. Такая пестрая аудитория сильно затрудняла первые лекции преподавателей, но недостаточно подготовленные к предмету слушательницы отпадали, переходя на другие предметы, и дело скоро налаживалось.

Первый год число записавшихся на лекции слушательниц было — 190. Выбор предметов, на которые записались при открытии школы студентки, показал определенно, что большинство было наиболее заинтересовано физикой — 65 и математикой — 46 слушательниц. Затем шли русский язык — 42 и всеобщая история — 24 человека. На остальные предметы: география, три новых языка и латынь число записавшихся не превышало 13 и 14 человек. То же, но еще яснее показала запись во втором академическом году. На физику было записано 129, на математику 80 студенток. Курсы на новые языки закрылись за отсутствием желающих. Вместо них была введена химия. Годом позже, в 1871-1872 г., было уже три разных курса математики, два курса физики и введены два новых предмета — аналитическая механика и астрономия. В 1873-4 г. исчезли латынь и география, вместо них были введены зоология и ботаника. Русский язык и история продержались до 1878 г. Таким образом из программы постепенно исчезли все предметы, не имевшие отношения к физико-математическому факультету университета. Студентки, интересовавшиеся гуманитарными науками, уходили на Высшие Женские Курсы Герье, открывшиеся в Москве в 1872 г., а Лубянские Курсы разработали в 1874 г. четырехлетний план занятий, приобретающий характер ф. м. факультета с отделениями математическим и естественным. План этот, посланный на утверждение в М. Н. Пр. был утвержден последним только через семь лет, в 1881 г.

В 1884 г. слушательницы постановили по желанию большинства обязательно держать экзамены и репетиции. Было также постановлено выделить преподавание элементарной математики в специальный подготовительный курс и поручить его трем студенткам, окончившим на Курсах математическое отделение, а трем окончившим естественное отделение было поручено вести практические занятия по ботанике и зоологии.

Первые годы студентки платили от 4 до 8 рублей в год за каждый выбранный ими предмет, но с увеличением программ увеличивались и расходы. Вследствие этого было решено брать с действительных студенток по 50 р. в год, а для вольнослушательниц, записавшихся не более чем на 3 предмета, плата оставалась прежняя.

Преподавательский персонал на Курсах был прекрасный. Большинство лекторов были молодые приват доценты Университета — впоследствии цвет его профессуры. Приведу здесь хотя бы несколько имен: историк В. Ключевский, физики Н. Жуковский и Н. Умов, химики В. Морковников и А. Колли, астрономы Ф. Бредихин и В. Цераский, зоолог — М. Мензбир, ботаник И. Горожанкин, математики Б. Млодзеевский и Н. Бугаев и геолог А. Павлов и др. Получали они только по пяти рублей за годовой час, а за практические занятия от вознаграждения большинство из них отказывалось. К тому же они еще сами нередко снабжали слушательниц книгами и учебниками.

Для занятий по физике лектора и студентки пользовались физическим кабинетом гимназии, а недостающие приборы и инструменты предоставлялись бесплатно большим магазином Швабе, владелец которого сочувствовал образованию женщин. Одна из частных женских гимназий давала бесплатно по воскресеньям свое помещение для практических занятий по зоологии и ботанике.

Не приводя здесь подробного денежного отчета, укажу только на итоги прихода и расхода за два академических года. В 1871-72 г. приход был равен 2969 р., расход — 2760 р. В 1884-85 г. приход был 7004 р. 91 к. расход — 6124 р. 51 к.

Управляли делами на Курсах сами студентки. Интересно остановиться подробнее на том, как и почему развилось это необычайное для всякого учебного заведения самоуправление. В первый год существования Курсов Ф. Королев, положивший бесплатно столько труда на организацию их, не только хранил деньги, но вел также запись поступавших в школу

студенток, работал над планом преподавания и фактически вел все хозяйство Курсов. Но через год после их открытия он получил повышение по службе и был переведен в другое место. Курсы были вынуждены искать новое помещение. После многих хлопот и неудач они нашли приют в 3-й мужской гимназии, помещавшейся в центральной части Москвы, на Лубянке. Отсюда и название Лубянских Курсов. В этой гимназии они оставались 18 лет до закрытия их. Директор 3-й гимназии соглашался предоставить им помещение и готов был хранить их деньги, но категорически отказывался вести хозяйство. Так как согласно Уставу школы (пункты 5 и 11) право выбора преподавателей, расходы и распоряжение деньгами было предоставлено учащимся, то по совету уходившего Королева ведение хозяйства было передано в руки самих слушательниц. Несколько выборных студенток-распорядительниц (в начале 2, позже 7 человек) заведовали кассой, вели отчетность и официальные сношения. Избирались они простым большинством голосов студенток. Директор гимназии только хранил деньги в банке, выдавал их распорядительницам, утверждал приглашенных ими лекторов и давал слушательницам разрешение на общие собрания, необходимые им для обсуждения дел на Курсах. На этих общих собраниях, в присутствии наблюдавшего за порядком надзирателя, происходили выборы новых преподавателей и студенток-распорядительниц, обсуждалась смета на следующий год, определялся размер платы за учение и вознаграждение преподавателей, разбирались возникавшие недоразумения и др. дела.

Преподаватели вначале не принимали участия в делах Курсов, но постепенно в привычку вошли совещания студенток-распорядительниц с преподавателями относительно приглашения новых лекторов, введения новых предметов, расширения общего плана преподавания и пр. дел, касавшихся преподавания. Распорядительницы избирались на год. Большинство их продолжало эту ответственную работу на Курсах по несколько лет.

Раза три за время существования Курсов некоторыми студентками делались попытки передать управление Курсами одному из преподавателей. Но большинство не соглашалось на указанное ими лицо, в другом случае на управление Курсами не соглашался выбранный преподаватель. Дело оставалось в руках самих студенток.

Отрадно отметить еще следующий факт. Благодаря раз-

решенным общим собраниям слушательниц, необходимым им для ведения дела, на Курсах никогда не было демонстраций и волнений, так часто нарушавших жизнь и учение в других высших учебных заведениях. Общие собрания на Курсах иногда были очень шумные, студентки долго обсуждали некоторые вопросы, не соглашаясь друг с другом, но поспоривши и решив в конце концов вопрос простым голосованием, они мирно расходились.

Несмотря на то, что порядок на Курсах ни разу не нарушался, что учение ни гроша не стоило правительству и, что не было вообще никаких видимых причин, которые могли бы повлиять на решение министра народного просвещения закрыть эту школу, она все-таки была закрыта. Согласно уже упомянутому мною распоряжению М. Н. Пр. все высшие женские школы в России должны были прекратить в 1886 г. прием новых студенток, а в 1889 г., по окончании учения последних учащихся, закрыться. Нельзя не отметить, что Лубянские Курсы были впервые официально признаны высшим учебным заведением только тогда, когда их решили закрыть. За 18-19 лет их существования на них училось 1973 студентки.

Можно прибавить здесь, что эти Курсы возродились в Москве под другим названием, с измененным уставом и с расширенной программой преподавания. Узнав о предстоявшем в 1889 г. закрытии Лубянских Курсов, студентки распорядительницы вошли в сношение с Обществом Учительниц и Воспитательниц в Москве. В 1888 г. с разрешения Попечителя Учеб. Окр. это Общество открыло для своих членов новые высшие женские курсы под названием «Коллективные Уроки». Эта новая школа имела много общего с закрытыми Лубянскими Курсами.

С. Сатина

НАЧАЛО ВТОРОГО ПОСЛЕСТАЛИНСКОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Для советского сельского хозяйства, задохнувшегося под мертвящей пятой Сталина, было нетрудно достичь не только некоторого, но даже значительного улучшения после смерти диктатора. Но то, что было достигнуто, составляло только малую толику имевшихся налицо огромных резервов (резервы тем бóльшие, чем более отстало и более дезорганизовано хозяйство). Но зарядки, полученной от освобождения от Сталина, хватило только на недолгие годы. Последние годы послесталинского десятилетия сельское хозяйство СССР почти целиком стагнировало. В расчете на душу городского и сельского населения производство даже уменьшилось, а ведь количественный рост производства был и раньше главной сферой, где наблюдалось улучшение.

Остаток недоделанного в сельском хозяйстве СССР так велик и очевиден, что даже изящная литература отображает положение с большой долей корректности. В этом смысле особенно любопытен один эпизод в рассказе Ф. Абрамова «Вокруг да около», в первом номере журнала «Нева» за 1963 год. В отсталом колхозе где-то на севере Европейской России настало или, лучше сказать, уже миновало время, когда нужно было бы убирать сено. От уборки его зависело кормление скота предстоящей зимой, выполнение обязательных поставок животноводческих продуктов государству, кормление школьников в колхозе и т. д. Но колхозники отказывались косить сено, потому что добросовестный председатель колхоза (коммунист) строго исполнял предписание сверху платить за уборку сена только 10% урожая. Председатель колхоза целый день безрезультатно расхаживал по селу и уговаривал колхозников явиться на следующий день, хотя бы на приготовление силоса. Наконец, в глубоком огорчении председатель присоединяется к выпивающей компании колхозников. А когда он проснулся поздно на следующий день, он с изумлением узнал, что всё село

на сеноуборке. Оказывается, накануне, в нетрезвом виде он обещал платить за уборку сена не 10, а 30% урожая, что он и сам считал справедливой оплатой. Так, зимняя кормяжка скота, обязательные поставки животноводческих продуктов и собственные нужды в них колхоза — всё было спасено.¹

Себестоимость животных продуктов

Когда нужно бравировать достижениями, поголовье социалистического сектора и размеры производства продуктов животноводства играют первостепенную роль. Если себестоимость производства этих продуктов и упоминается, то лишь вскользь, да и то, главным образом, тогда, когда было достигнуто ее снижение. То, что снижение могло быть с чрезвычайно высокого уровня до так же чрезвычайно высокого, хотя и немного сниженного, уровня, — до этого читателю добраться нелегко.

Продукты животноводства составляют больше половины всей товарной сельскохозяйственной продукции. Уровень себестоимости животных продуктов заслуживает поэтому большого внимания. Я посвятил этому вопросу сравнительно большую работу в *Soviet Studies* (октябрь 1963 и январь 1964). Краткое резюме не будет, вероятно, лишним сообщить и здесь.

Необходимые данные приведены ниже. Для стран вне СССР я оперирую только ценами. Для СССР — себестоимостью и ценами, из которых первая гораздо важнее вторых.

¹ Описания подобных явлений можно найти в изобилии и в экономической литературе. Так, А. Волконский в статье «Работы по подъему слабых колхозов» в Торжокском колхозно-совхозном управлении Калининской области («Вопросы экономики», ноябрь 1963) рассказывает о ряде таких явлений.

«От колхозов требуют, чтобы выбраковка коров в стаде составляла бы не более 5-6% поголовья. В результате в экономически слабых колхозах оказалось до 50% старых непродуктивных коров, что наносит колхозам большой экономический убыток» (стр. 65). Колхозникам приходится держать старых непродуктивных коров, а забивать на мясо нетелей, отчасти уже покрытых. Коров делается больше, а молока меньше.

Любопытен и случай со льном в колхозе «Борьба», сообщаемый тем же Волконским (стр. 66). Колхоз вынудили посеять гораздо больше льна, чем было по его силам. Часть льна пришлось в конце концов просто сжечь на корню. Но и лен, который удалось убрать, не дал почти ничего.

Данные для стран вне СССР взяты из Ф. А. О. Production Yearbook, 1963. В нем цены в местных мерах и валютах в 1961 г. пересчитаны в американские доллары за килограмм (мною доллары пересчитаны в центы). Цен для СССР в этом источнике нет. Данные о себестоимости в СССР заимствованы из «Экономической газеты», январь 9, 1964 г. Цены, которые государство платит колхозам, тоже взяты из советской прессы. Себестоимость в 1961 г. и цены на 1-е июня 1961 г. в СССР в новых копейках за килограмм. Хотя официальный курс одной копейки составляет 1,1 американского цента, новая копейка здесь принимается как имеющая ценность одинаковую с американским центом.

Цены продуктов животноводства в СССР и вне его

Рогатый скот (живой вес):

САСШ (цены производителей)	44,5
Канада (хорошие быки, экспортные, Торонто)	49,4
Аргентина (откормленный скот, Буэнос-Айрес) ..	17,3
Дания (молодые коровы, Копенгаген)	31,4
Западная Германия (молодые, хорошо откормленные быки, 24 рынка)	58,4
Англия (откормленный скот, проданный с аукциона)	44,8
СССР — себестоимость в колхозах	84,7
закупочные цены государства для колхозов	83,9

Свиньи (живой вес):

САСШ (цены производителей)	36,6
Аргентина (выше 140 килограммов, Буэнос-Айрес)	23,7
Германия (100-119,5 килограммов)	64,4
СССР — себестоимость в колхозах	112,9
цена государства для колхозов	105,9

Свиньи (убойный вес):

Канада (Торонто)	59,2
Дания (1-й класс, 60-70 килограммов живым весом, цены на скотобойне в убойном весе)	55,0

Куры (живой вес):

САСШ (фермерские куры)	22,0
САСШ (коммерческие бройлеры)	31,0
Канада (3-4 англ. фунта в штуке)	34,0
Дания (убойный вес, цена на скотобойне)	37,0
СССР — себестоимость в колхозах	130,0
цена государства для колхозов	125,3

Молоко:

САСШ (средняя цена производителей)	9,59
Дания (средняя цена производителей)	5,29
Голландия (цена производителя)	8,00
Западная Германия (цена производителя)	9,05
СССР — себестоимость в колхозах	12,9
цена государства для колхозов	12,5

Яйца (в американских центах за килограмм):

САСШ (экстра большие, Чикаго)	52,5
Дания (цены производителя)	45,9
Западная Германия (класс В: 55-60 грамм)	68,2
Нидерланды (цена производителя)	50,2

Яйца (десяток):

СССР — себестоимость в колхозах	82
заготовочные цены государства для колхозов	66,0

(Страны вне СССР: цены в американских центах за килограмм в 1961 г. Себестоимость в СССР в 1961 г. и закупочные цены государства от колхозов с 1-го июня 1961 г. в новых копейках за килограмм).

Аргентину с ее особенно низкими ценами лучше игнорировать. Себестоимость свиней в СССР была в три раза выше цен в САСШ, Канаде и Дании. Даже в Западной Германии, с ее высокими тарифами на зерно, цены на свиней не намного больше половины их себестоимости в СССР.

Себестоимость мясного рогатого скота в СССР была почти вдвое выше цен в САСШ и приблизительно вдвое больше цен в Канаде; разница была еще больше по сравнению с ценами в Дании.

Себестоимость живых кур в СССР больше, чем в четыре раза превышает цены в САСШ. Очень велика разница и по сравнению с ценами Канады и особенно Дании.

Разница между себестоимостью в СССР и ценами на внешних рынках меньше всего по молоку, но всё же себестоимость в СССР больше, чем на четверть превышает цену в САСШ и больше, чем вдвое выше цен в Дании.

Килограмм яиц содержит около 17 штук среднего размера. Принимая это во внимание, себестоимость яиц в колхозах СССР раза в три выше цены в Дании и почти в три раза выше, чем в Голландии.

Себестоимость в совхозах для рогатого скота, свиней и в особенности птицы еще выше, чем в колхозах.²

В САСШ, в Германии и еще кое-где принято рассчитывать соотношение между ценами на животноводческие продукты и на кормовые хлеба. Эти расчеты наиболее показательны в отношении свиней и птицы, которых во многих странах кормят главным образом зерном. Соответственные расчеты особенно наглядно показывают необыкновенную дороговизну животных продуктов в СССР.

Типичное соотношение между ценами на кормовые хлеба и на живых свиней в свиноводческих странах Зап. Европы — это 6-7 (кормовой хлеб) к 1 (живые свиньи). В САСШ соотношение между ними, как 8,2 к 1. В СССР себестоимость живых свиней в колхозах превышала в 1961 году себестоимость всех колосовых хлебов больше, чем в 30 раз. Разница была еще больше по сравнению с себестоимостью кормовых хлебов. (См. «Народное хозяйство СССР в 1961 г.», стр. 426).

Себестоимость производства животных продуктов в СССР в 1961 г., хотя и была колоссально высокой, всё же была самой низкой за многие годы. Но понижение с 1958 г. не было большим. В колхозах оно составило 10% для рогатого скота, 11% для свиней, 3% для молока и 10% для яиц. (См. «Народное хозяйство СССР в 1962 г.», стр. 332). При таком темпе понижения в будущем понадобились бы десятилетия, чтобы свести себестоимость животных продуктов до разумных пределов. Пока же потребитель будет продолжать жертвовать на алтарь строительства основ коммунизма.

Корма и стоимость рабочей силы — две важных составных части себестоимости животных продуктов. Как это ни странно, при низком уровне доходов колхозников и рабочих в совхозах, стоимость рабочей силы, как элемента себестоимости животных продуктов, очень высока: в некоторых случаях она выше всей цены этих продуктов в чужих странах. Но большие размеры расходов на корма еще важнее. Они являются результатом как плохой организации использования кормов, так и неправильного состава кормов. Эти две причины приводят к тому, что количество кормов, используемых на единицу животных продуктов, в СССР гораздо больше, чем в других странах. Не-

² N. Jasny, "The Failure of the Soviet Animal Industry", *Soviet Studies*, October 1963 page 212.

правильное кормление затягивает период откорма, а это увеличивает и затраты труда. О себестоимости кормов кое-что будет сказано ниже.

Использование земли

Посевные площади в послесталинский период были чрезвычайно расширены. Главную роль в этом расширении играла распашка целинных и залежных земель. По словам Хрущева, количество вновь распаханых земель с 1954 до 1962 г. составило 42 миллиона гектаров. Очень большая часть вновь распаханых земель, в особенности в Казахстане, была такова, что эти земли не получали даже минимума влаги, необходимой для пахотной земли (скажем, 290 миллиметров осадков в год в температурных условиях Северного Казахстана). К тому же на новых землях большей частью сеяли пшеницу год за годом, что приводило к огромному распространению сорняков и благоприятствовало эрозии.

Наряду с распашкой целинных и залежных земель расширение посевов шло за счет сокращения чистых паров. В то время как в 1953 году пары занимали 29,5 милл. гектаров, через десять лет их почти не стало вовсе (5,4 милл. га в 1963 г.), несмотря на большое расширение посевов в засушливых районах, правильное использование которых невозможно без парования.

Посевные площади не возросли, однако, на площади вновь распаханых земель (42 милл. гектаров, по Хрущеву); плюс сокращение чистых паров (не меньше, чем на 30 милл. с 1953 до 1962 г., если включить пар, необходимый для новых земель). Посевные площади за 10 лет выросли с 157,2 милл. га до 216,0 милл., т. е. на 58,8 милл. га. Больше, чем 10 милл. га, ранее пахавшихся и вновь распаханых земель, были за послесталинское десятилетие, в лучшем случае превращены в пастбища. Значительная часть этих земель погибла целиком. Заращение кустарником, заболочивание и пр. привели эти пахотные земли в негодность.

В первом году второго послесталинского десятилетия Хрущев сообщил итальянскому издателю Эйнауди («Нью-Йорк Таймс», февр. 23, 1964), что ввиду истощения и эрозии новым землям в Сибири и Казахстане будет возвращена их роль пастбищ, как только принятый план применения искусственных удобрений и такого же орошения начнет давать более высокие урожаи в старых, более благоприятных сельскохозяйственных районах СССР.

Принятие решения о прекращении культивирования целинных земель не помешало чествованию десятилетия со времени начала подъема целины и провозглашению освоения целинных земель всенародным праздником, который будет жить века («Правда», 9 марта, 1964).

5,4 милл. га, до чего сведена была площадь паров в 1963 году («Вестник статистики», 14 сентября 1963 г., стр. 80), будет, нужно думать, надолго рекордным минимумом. Полезная толика пара была урезана еще в 1963 году. А в феврале 1964 г. можно было прочитать в передовой «Коммуниста» (№ 3, стр. 6), что отвод части земель в засушливых районах под чистые пары, «как доказано передовой наукой и практикой, экономически и агрономически оправдан и не снижает валовых сборов зерна. Наоборот, он создает хорошую основу для организации устойчивого зернового хозяйства в засушливых районах. Чистый пар в засушливой зоне, это, по существу, малое орошение, достигаемое без особых затрат».

Еще раньше, 4 декабря 1963 г., Мельник, председатель Бюро ЦК компартии Казахстана по руководству сельским хозяйством, заявил: «Серьезным недочетом в использовании земель в целинных районах следует считать также крайне малый удельный вес паров. На большей части площади, начиная с освоения целины, сеялась пшеница по пшенице, что привело к сильному засорению полей».

На февральском пленуме 1964 г. Хрущев определил желательную площадь паров в 20% тех пахотных земель, которые в парах нуждаются. Это, конечно, весьма неопределенно, но всё же возможно, что пары будут вновь доведены до 15-20 милл. гектаров.

Нужно добавить, что предполагаемый уровень парования будет гораздо ниже того, который практикуется в засушливых районах Канады, Соединенных Штатов и многих других стран. Здесь земля, в крайнем случае, паруеться каждый третий год, а во многих районах, например, в Саскачеване (Канада) или в западной части САСШ, пар чередуется с посевом культуры (большей частью — пшеницы) каждый год. В противоположность этому А. И. Бараев, директор Всесоюзного научно-исследовательского института сельского хозяйства («Правда», февр. 13, 1964) пишет оптимистически: «Наукой и практикой доказано, что в этой (засушливой) зоне экономически выгодно часть пашни держать под чистым паром, чтобы затем на этих хорошо увлажненных и очищенных от сорняков полях получать более высокие и устойчивые урожаи в

течение ряда лет. Прибавка урожая, полученная после пара на протяжении трех-четырех лет, полностью покрывает недобор урожая за тот год, когда поле находится под паром и, естественно, урожая не дает».

О борьбе с большим выпадением пахотных земель, пришедших в негодность, постановление февральского пленума 1964 г. говорит: «Обязать партийные, советские и сельскохозяйственные органы в каждом случае расследовать причины, вследствие которых пахотные земли пришли в негодность, и виновников привлекать к строгой ответственности как за порчу государственного достояния». («Правда», 16 февр. 1964 г.).

Импорт пшеницы и «королева полей»

Пожалуй, главным дефектом в области организации растениеводства и, в частности, производства кормов является, как и в других областях, сосредоточение усилий на одной какой-нибудь культуре без внимания к различиям в требованиях ее к климату, почве и нуждам севооборота. Хрущев решил, что кукуруза — самая урожайная зерновая культура и что ее можно сеять везде. Кукуруза была даже провозглашена «королевой полей». И посевы кукурузы бурными темпами расширились в соответствии с этой оценкой.

«Гром не грянет, мужик не перекрестится». Нужно было, чтобы понадобился ввоз из заграницы значительного количества пшеницы (для этого достаточно было плохого урожая в одном лишь году, 1963), чтобы коммунистическое руководство спохватилось, что пшеницу выгоднее производить, чем кукурузу. На Украине, в Молдавии и на Северном Кавказе кукуруза хорошо родится, но здесь можно производить и хорошо-урожайную и более ценную озимую пшеницу. В Поволжье, Сибири и Казахстане можно производить только низко-урожайную яровую пшеницу, но эти районы для кукурузы не подходят вовсе, так что по сравнению с кукурузой выгодность производства яровой пшеницы здесь в районах для нее подходящих еще бóльшая, чем пшеницы озимой.

Но еще в начале 1963 г. Хрущевы этого не видели. В 1962 году — последний год послесталинского десятилетия — посевная площадь под озимой пшеницей была больше, чем в 1953 году всего на 2,3%. В том же 1962 г. она была равна только площади 1958 года.

Посевная площадь под кукурузой в 1962 году была вдесятеро больше по сравнению с 1953 годом и вдвое больше, чем

в 1958 году. («Народное хозяйство СССР в 1962 г.», стр. 259). Не менее как 37,1 милл. га были под кукурузой в 1962 г. Но что это была за кукуруза?

В СССР различают четыре категории кукурузы:

1. кукуруза, убранная в зрелом виде на зерно;
2. кукуруза, убранная в молочной или восковой зрелости на силос;
3. кукуруза, убранная до молочной зрелости на силос, и
4. кукуруза, убранная до молочной зрелости на зеленый корм; полностью потерянные посевы кукурузы входят в четвертую категорию.

Кукуруза растет очень быстро в последние 4-6 недель перед полной зрелостью. Урожай кукурузы второй категории поэтому значительно ниже кукурузы первой категории, даже не считая стеблей и початков, получаемых при уборке зрелой кукурузы. Особенно велика разница по сравнению с кукурузой, убираемой **в самом начале** молочной зрелости. Судя по официальным перечислениям урожаев кукурузы в молочно-восковой зрелости в зрелое зерно, **в среднем** урожай первой на треть ниже урожая второй («Народное хозяйство СССР в 1961 г.», стр. 343, и «Народное хозяйство СССР в 1962 г.», стр. 277). К этой недостающей трети нужно прибавить потери при силосовании, которые для этой категории кукурузы составляют около 25%. Так что в конечном счете питательная единица силоса из кукурузы в молочно-восковой зрелости обходится приблизительно вдвое больше, чем питательная единица кукурузы, убранной в зрелом виде. Так как кукуруза, убранная в молочно-восковой зрелости, не дает урожая вдвое большего, чем урожай серых хлебов, то если те и другие произведены в одинаковых условиях, производить такой силос в очень большом количестве особенного смысла не имеет. Более благоприятные результаты с кукурузой, убранной после достижения молочной зрелости, получаются лишь тогда, если кукуруза на силос убирается в оптимальный момент (это приходит за 7-10 дней до полной зрелости) или когда кукуруза производится в районах, где урожай в молочно-восковой зрелости большой, а кукуруза на спелое зерно не вызревает, как, например, на северо-западе Украины.

Так как в первые недели после посева кукуруза растет очень медленно, производить ее на зеленый корм невыгодно.

Тем более невыгодно производить силос из кукурузы до достижения ею молочной зрелости. Урожай мал.³ Содержание влаги в зеленой массе кукурузы в этот период очень высоко, а потери при силосовании достигают 35-40%. Да и качество силоса очень низкое. Он скоро делается кислым; излишняя в нем жидкость оседает на дно, создавая там своего рода потоп. Принимая во внимание низкий урожай, большое содержание влаги и большие потери при силосовании, силос из кукурузы, убранной до молочной зрелости, обходится (в кормовых единицах) чуть ли не в четыре раза дороже зрелой кукурузы.

Преобладание в СССР силоса как формы использования кукурузы отчасти объясняется тем, что в районах, где кукуруза может полностью вызреть, сеют больше кукурузы, чем имеющаяся техника позволяет убрать. (И это, несмотря на то, что это районы, где озимая пшеница дает хорошие урожаи). Но главная масса силоса производится в более северных районах Союза, где кукуруза на спелое зерно не вызревает. В большей части более северных районов кукуруза не достигает и молочной зрелости. Эти районы таковы, что в подобных им по климату районах вне Советского Союза, за исключением Восточной Германии, производится только совершенно ничтожное количество кукурузы.⁴

Эти подробности нужны были, чтобы читателю стала совершенно ясной бессмысленность «упоения» кукурузой, кото-

³ Урожай кукурузы на силос, убранной до молочно-восковой зрелости, составил в среднем за 1957-59 гг. меньше двух третей урожая кукурузы, убранной после молочной зрелости. См. «Сельское хозяйство СССР», Москва 1960, стр. 248-49. К тому же содержание влаги значительно выше в кукурузе, убранной до молочной зрелости.

⁴ В номере втором «Коммуниста» за 1964 г., стр. 59, можно прочитать следующее сообщение из одного колхоза Костромской области: — «В отдельные годы мы сеяли до 400 га кукурузы. Но она уродилась только в 1954 и в 1961 гг. Один урожай за 3-5 лет! И какой урожай: зеленая масса на силос. Доброкачественный корм получается, как известно, в том случае, когда кукуруза дает початки в молочно-восковой зрелости. В наших же условиях, в связи с ранними августовскими заморозками, кукуруза не успевает развиться. В то же время есть очень хорошие и устойчивые по урожаю культуры на силос, такие, как горох, вика, бобовые смеси, клевер, рожь. Они без больших затрат труда дают у нас по 200, а если приложить руки, — по 300 и больше квинталов зеленой массы с га».

рое существовало еще вчера и, повидимому, не ликвидировано и сегодня. Из 37,2 милл. га под кукурузой в 1962 г. (т. е. в последний год послесталинского десятилетия) только 7 милл. га, или меньше 20%, было убрано в зрелом состоянии. Чуть-точку больше (7,1 милл. га) кукурузы было убрано в молочно-восковой зрелости. Кукуруза третьей и четвертой категорий, т. е. та кукуруза, производство которой связано с огромными убытками, в том же году занимала огромную площадь в 23 милл. га.

1962 год был, правда, неблагоприятным годом, но и в 1961 г., самом благоприятном году по составу произведенной кукурузы, из 25,7 милл. га посевов кукурузы 7,1 милл. были убраны в зрелом виде и 6 милл. в молочно-восковой зрелости, 12,5 миллиона (или почти половина всей площади) были убраны до восковой зрелости.

Ни перед чем не останавливались, чтобы оправдать эпитет «королева полей». И не случайно в «Народном хозяйстве в 1962 году», напечатанном по истечении послесталинского десятилетия и **после начала хлебных закупок за границей**, данные о себестоимости производства кукурузы еще отсутствуют; себестоимость же зерна дана «без кукурузы» (см. стр. 332, 333 и 338). Исследователь мог, конечно, подозревать — лучше сказать, понимать — что себестоимость производства кукурузы значительно выше себестоимости колосовых, но самому вычислить эту себестоимость не так-то просто.

Только в первом году второго десятилетия опубликованы были данные о себестоимости производства кукурузы. Как и можно было ожидать, она оказалась много выше себестоимости колосовых. М. Лемешев дает ее (без объяснения причин выбора областей) для Краснодарской, Ставропольской и Ростовской областей в среднем по 1959-61 годам в 94%, 70% и 50% выше, чем по колосовым («Плановое хозяйство», январь 1964 г., стр. 24).

Факт опубликования себестоимости производства кукурузы указывает на некоторое к ней охлаждение. А раскрытие высокой себестоимости производства кукурузы не может не послужить добавочным источником дальнейшего к ней охлаждения.

Еще до опубликования данных о себестоимости, утверждение, что кукуруза — самая урожайная культура, уступило место утверждениям, что самая урожайная культура — озимая

пшеница, а кукуруза лишь на втором месте.⁵ Эпитета «королева полей» тоже что-то стало не слышно. Значительное расширение посевов озимых, главным образом, озимой пшеницы, было решено уже осенью 1963 г., возможно с некоторым запозданием против лучших сроков посева. Расширение это могло произойти преимущественно за счет кукурузы. Таким образом, посевы кукурузы будут сокращены как раз там, где условия для ее производства наиболее благоприятные.

Судя по заявлениям советской печати, площадь под кукурузой может не потерпеть больших изменений как раз там, где производится кукуруза третьей и четвертой категории, т. е. где она приносит огромные убытки. На это указывает следующее глубоко ошибочное утверждение Хрущева в заключительном слове на январском пленуме 1964 г.: «Сейчас по всем зонам доказана эффективность выращивания кукурузы на силос».

Я всё же ожидаю некоторого снижения площади под кукурузой и там, где она регулярно не достигает молочной зрелости.

Зерновые бобовые

Во всех странах, кроме Советского Союза, зерновые бобовые, ввиду низкой их урожайности, производятся почти исключительно и всё больше как пищевой продукт. На корм идут лишь отбросы. В Советском Союзе с недавнего времени решено сделать зерновые бобовые (главным образом, горох) основным белковым кормом. Площадь под зерновыми бобовыми увеличилась с 1959 по 1963 год больше, чем в пять раз (с 2,5 милл. га до 12,8). В 20-тилетнем плане предусмотрено довести ее до 30-40 милл. га, причем главная масса прироста должна произойти уже к 1965 году. Если бы поставленная цель была достигнута, площадь под горохом, который доминирует в СССР между зерновыми бобовыми, была бы в Союзе чуть ли не в пять раз больше площади под горохом сейчас во всем мире, кроме СССР.

⁵ Это, конечно, неверно. В районах, благоприятных для кукурузы, она родит лучше озимой пшеницы. Всё результаты путаницы с терминологией, смешения урожайности с выгодностью. Ввиду более низкой стоимости производства озимой пшеницы по сравнению с кукурузой и большей ее ценности, озимая пшеница может быть выгоднее кукурузы и там, где она родит несколько меньше последней.

Начало второго послесталинского десятилетия принесло, повидимому, некоторое охлаждение и к бобовым. Задания двадцатилетнего плана для этих культур на 1970 г. на пленумах декабря 1963 г. и февраля 1964 г., повидимому, повторены не были.

И. П. Воловченко, министр сельского хозяйства СССР, заявил на февральском пленуме 1964 года, что «урожайность гороха и фасоли остается низкой». Но в действительности урожайность зерновых бобовых была в самые последние годы в нормальном соотношении с урожайностью хлебов.

Принимают необоснованные решения, задаются невыполнимыми целями, а потом оплакивают неудовлетворительные результаты...

Сахарная свекла на корм

Наряду с концентрацией внимания, без достаточного к тому основания, только на некоторых культурах для советской аграрной политики характерно предпочтение культур или методов работы, противоположных тем, которые характерны для стран вне Союза.

Как было показано, только около 25% кукурузной площади убирается в СССР на зрелое зерно, в то время как в САСШ, главной кукурузной стране мира, убирается на зерно около 90% кукурузной площади. Соответственно этому только малые части площади под кукурузой убираются в САСШ на силос или зеленый корм, в то время как в СССР силос — главная форма использования кукурузы. И часть ее урожая, используемая на зеленый корм, тоже в несколько раз больше в Сов. Союзе, чем в САСШ. Во всем мире вне Союза силос, как главную форму использования кукурузы, можно найти только в Восточной Германии, царстве Ульбрихта, хрущевского послушного последователя.

Вне СССР сахарная свекла производится для переработки на сахар. Скармливается лишь малое количество отходов (2-3% урожая). Широко распространено представление, что в Дании скармливается большое количество сахарной свеклы. Но это недоразумение, вызванное неудачной терминологией. То, что в Дании скармливается в большом количестве, только называется «сахарная кормовая свекла». Это кормовая свекла с особенно высоким содержанием сахара, но уровня настоящей сахарной свеклы по содержанию сахара она не достигает примерно на 20%.

В начале второй половины послесталинского пятилетия Хрущев выступил с идеей производить сахарную свеклу в больших количествах на корм скоту, ввиду ее якобы высокой урожайности. На то, что себестоимость производства сахарной свеклы (в кормовых единицах) очень высока, внимания не обращалось. Тем более игнорировалось чрезвычайно важное в советских условиях обстоятельство, что сахарная свекла бедна протеином, дефицит которого так велик в кормах в СССР. В 1959 г. официальная статистика впервые показала 0,2 милл. га сахарной свеклы на корм. В 1962 г. ее уже было 2,8 милл. га. Хрущев говорил о семи миллионах такой свеклы, как о цели.

Вновь появившаяся сахарная свекла на корм не производилась, однако, на землях, подходящих для этой культуры, она получала и значительно меньше удобрений и ухода. В результате — мизерабельная урожайность, еще больше удорожающая стоимость производства. В среднем за 1959-62 гг. урожайность сахарной свеклы на корм составила только 97 квинталов на га, в то время как урожайность свеклы, произведенной на сахар, составила всё же (тоже не очень-то много) 168 квинталов. («Народное хозяйство СССР в 1962 г.», стр. 282-83).

Хотя чрезвычайная невыгодность производить сахарную свеклу на корм при такой низкой урожайности самоочевидна, указаний на это нельзя было найти в советской литературе. Перемена пришла лишь в первом году второго послесталинского десятилетия. М. Лемешев пишет в № 1 «Планового хозяйства» за 1964 г.: «Производство сахарной свеклы на корм скоту, с учетом современного уровня затрат на ее производство, неэффективно» (стр. 29). В Черноземном Центре, по словам автора, себестоимость сахарной свеклы, произведенной на корм, в кормовых единицах была в среднем за 1958-61 гг. почти вдвое больше себестоимости зерновых хлебов (там же, стр. 28). В 1963 г. площадь под сахарной свеклой на корм сократилась с 2,8 до 2,4 милл. га («Вестник статистики», 1963, № 9, стр. 80). Вполне возможно, что кампания за сахарную свеклу на корм уже прошла свой зенит.

Химизация

Как было показано, начало второго послесталинского десятилетия принесло перемены почти по всей линии:

1. Понижающийся процент пашни под парами сменяется повышающимся.

2. Площадь под кукурузой, вместо того, чтобы продолжать расти, сокращается — при том в первую голову в районах для нее благоприятных — чтобы уступить место озимой пшенице, более выгодной и более нужной. Судьба кукурузы в районах, где она может производиться (на силос или зеленый корм) легче, не достигая молочной зрелости, остается неизвестной.

3. Некоторое охлаждение к зерновым бобовым (это еще не наверное).

И — что не было еще отмечено — значительно более благоприятная оценка многолетних бобовых трав, в первую очередь — клевера и люцерны. Еще год назад последние сваливались в одну кучу с однолетними, не бобовыми травами, и отвергались как малоурожайные культуры, как убыточное использование земли. Кстати, легкость, с которой все эти планы менялись и еще меняются, хорошее свидетельство плохой организации советского сельского хозяйства.

Важнейшие перемены, принесенные началом второго послесталинского десятилетия, это большое увеличение производства и потребления химических удобрений и расширение искусственного орошения с целью резкого повышения урожайности на старых землях. Как раньше вопль шел, скажем, о «королеве полей», теперь то же происходит с химизацией и искусственным орошением.

Сосредоточение внимания на минеральных удобрениях отличается в хорошую сторону от ряда мер первой послесталинской «декады» (ликвидация паров; преобладание кукурузного силоса; принижение роли посевных трав, включая бобовые; зерновые бобовые как основной белковый корм и т. д.). Благодаря этому СССР идет теперь не против того, что делается вне его, а на этот раз шествует по той же дороге. Во всем мире потребление в сельском хозяйстве минеральных удобрений, особенно азотистых, росло бурным темпом в последнем десятилетии. В Европе, кроме СССР, потребление, например, азотистых удобрений (в питательном веществе) увеличилось с 1948-49 — 1952-53 гг. до 1961 на 152%. То же по фосфатам — на 74% и по калийным солям — на 69%. По азотистым и фосфатным удобрениям рост потребления в САСШ был еще больше.

В СССР производство минеральных удобрений увеличилось с 1958 до 1962 г. всего лишь с 12,4 милл. тонн до 17,3 милл. Потребление в сельском хозяйстве внутри страны за те же годы выросло еще меньше; с 10,6 до 13,6 милл. тонн — ввиду расши-

рения экспорта этих удобрений («Народное хозяйство в СССР в 1962 г.», стр. 165, 298).

В обоих случаях цифры для СССР в условных, но близких к действительности, единицах содержания питательных веществ, которые отражают отсталость производственной техники, весьма низки для азотистых и фосфатных удобрений. Эти условные единицы следующие: 25,5% для азотистых, 18,7% для суперфосфата (фосфатная мука — 19%) и 41,7% для калийных.

В своей речи в Краснодаре в конце сентября 1963 г. Хрущев сказал, что производство минеральных удобрений достигнет в 1970 г. 100 милл. тонн («Правда», окт. 2, 1963). Через каких-нибудь три месяца он в своем докладе на декабрьском, 1963 г., пленуме ЦК КПСС оперировал с производством в 80 милл. тонн минеральных удобрений (во всех случаях в количествах с условными процентами содержания питательных веществ) в 1970 году. Цифра эта была дана с разбивкой по видам удобрений и по годам («Правда», декабря 10, 1963). «Что касается перспективы, — сказал Хрущев, — то, повидимому, в 1980 г. нам потребуется производить 150-170 милл. тонн». Однако, И. П. Воловченко в своем докладе на февральском, 1964, пленуме говорил о решении декабрьского пленума увеличить производство минеральных удобрений до 70-80 милл. тонн в 1970 г. («Правда», февр. 21, 1964).

Задание для производства минеральных удобрений в 1970 году на декабрьском пленуме (70-80 милл. тонн) оставалось, таким образом, без перемен по сравнению с 20-летним планом. И если теперь для выполнения этого задания ассигнуются весьма значительные дополнительные капиталовложения и испытываются большие затруднения с выполнением гораздо лучше финансируемого плана, то это лишь показывает, как невыполнимо было соответствующее задание 20-летнего плана, как не серьезно оно было. Задания 20-летнего плана по искусственным удобрениям оставались очень далеки от выполнения до самого конца послесталинского десятилетия.

Производство минеральных удобрений возросло затем в 1963 г. с 17,3 до 19,9 милл. тонн, т. е. не на много больше, чем в предшествующем году, когда прирост составил 2 милл. тонн («Народное хозяйство СССР в 1962 г.», стр. 165 и «Итоги выполнения плана 1963 года», в «Правде», янв. 24, 1964 г.). Планы на 1964 и 1965 гг. предусматривают уже большой подскок в производстве до 25,5 милл. тонн в 1964 г., доходя до 35 милл. тонн в 1965 г. (Доклад П. Ф. Ломако, председателя Госплана

СССР, см. «Правду» от 17 дек. 1963 г.). Прирост за один 1965 год должен быть равен приросту за 9 лет, с 1953 до 1962 г.!

Помимо упомянутого выше низкого содержания питательных веществ в удобрениях, производимых и используемых, были и еще имеются и другие недостатки. Некоторые удобрения имеют тенденцию слеживаться с весьма неблагоприятными последствиями для их качества. Отправляются потребителям в СССР удобрения без упаковки, навалом. Значительная часть их по прибытии сваливается под ж. д. откос. Нередко накапливаются целые горы таких удобрений. Известная карикатура «Крокодила» показывает горы, с которых катаются на лыжах; на этих горах имеется, однако, надпись: «Минеральные удобрения». Потери удобрений от неправильной формы отправки и хранения оцениваются в СССР в 15-20%.

Использование искусственных удобрений часто не дает нужных результатов ввиду несоответствия их почвам, в которые они вносятся. Малорезультатно, например, внесение искусственных удобрений в кислые и солонцовые земли.⁶

Все эти недостатки должны быть устранены в ближайшие годы, согласно постановлению февральского, 1964, пленума. Оно требует: «Предусмотреть меры по улучшению качества, повышения концентрации удобрений, правильной организации перевозки и хранения удобрений. Важным условием повышения эффективности минеральных удобрений является разумное их использование и т. д.»

Выправить все недостатки производства и использования минеральных удобрений и вместе с тем в огромной степени увеличить и то и другое, и всё это за небольшое число лет — было бы недостижимой задачей. Между тем, задания по с. х. производству, принятые на последних двух пленумах ЦК, по видимому, базируются именно на таком предположении.

Главнейшие из соответственных заданий: доведение в 1970 г. валовых сборов зерна до 14-16 миллиардов пудов, производства мяса — до 20-25 милл. тонн, молока — до 115-135 миллионов тонн. (Постановление февральского, 1962, плену-

⁶ По словам Воловченко («Правда», 11 февр. 1964), в одной только Европ. России имеется 35 милл. га кислых земель, требующих известкования. В настоящее время в СССР вносятся только ничтожные количества материалов для известкования. Данные об этом, по видимому, не публикуются. В САСШ использование таких материалов раз в 7-8 больше, чем в СССР (Данные по САСШ в USDA, Agricultural Statistics, 1962, стр. 580).

ма. См. «Правду» от 28 февраля 1964 г.). По мясу это задание означает больше, чем удвоение производства за семь лет.

Запоздание с выполнением плана по производству минеральных удобрений, скажем, на 1970 год, на 2-3 года было бы наименьшим злом. Не было бы катастрофой также, если бы улучшение качества производимых удобрений шло несколько более медленным темпом, чем предусмотрено планом. Но изменить порядок, при котором из 13,6 милл. тонн удобрений, поставленных с. х-ву в 1962 г., по крайней мере 15-20% гибло целиком, а немалая часть остатка использовалась по разным причинам неэффективно, и чтобы через 8 лет уже использовалось бы, и притом эффективно, 65 милл. тонн — об этом трудно даже думать...

Искусственное орошение

Площадь с оросительной сетью практически стагнировала с 1953 до 1957 г. (рост с 11,0 до 11,2 милл. га). Незначителен был рост и в дальнейшие годы (в 1962 г. эта площадь достигла всего 11,9 милл. га).⁷ Полито же было земель с оросительной сетью всего 6,7 милл. га в 1953 г. и 7,8 милл. га в 1962 г. («Народное хозяйство СССР в 1962 г., стр. 300»). Целая треть земель с оросительной сетью не использовалась таким образом вовсе. Некоторая часть земель, числящихся политыми, была орошена недостаточно; 520 тыс. га поливных земель были заняты сенокосами, выгонами и пастбищами. То, что этот факт подчеркивается, как отрицательный,⁸ указывает на плохой уход и плохие урожаи.

Часть политых земель засолена. По словам А. Иргашева, министра производства и заготовок с. х. продуктов Узбекской ССР, половина орошаемых площадей в этой республике «засолена, и на них без соответственных мелиоративных работ трудно добиваться высоких урожаев» («Правда», февр. 12, 1964).

Председатель Госкомитета по орошаемому земледелию Алексеевский отмечает и ряд других дефектов, в том числе отсталость техники оросительных сооружений. Искусственное

⁷ «Сельское хозяйство СССР», Москва, 1960, стр. 259 и «Народное хозяйство СССР в 1962 г.», стр. 299.

⁸ Е. Е. Алексеевский, председатель Госуд. производ. комитета по орошаемому земледелию и водному хозяйству («Правда», 12 февраля 1964).

дождевание, например, составляет, по его данным, лишь 2,3% общего объема работ по поливу (там же, «Правда», февр. 12). Остальное поливается вручную, с большой затратой рабочего времени.

Л. Левановский в статье «Экономическая эффективность поливного земледелия» («Вопросы экономики», ноябрь 1963, стр. 71) пишет: «Крупнейшим и нетерпимым далее недостатком надо признать крайне низкую урожайность зерновых хлебов на орошаемых землях». По Союзу в целом урожайность была в 1963 г. 13,1 квинтала с га по колосовым, 19,9 по кукурузе и 24,6 квинтала по рису.⁹ В 1962 г. урожайность была еще ниже («Правда», февр. 12, 1964). В частности, в оба года она была ниже урожайности неполиваемых земель на Украине. По словам Алексеевского, «до половины всех орошаемых земель в стране используются пока неудовлетворительно...»

На XXII съезде в 1961 г. площадь орошаемых земель для 1980 года была установлена в 28 милл. га («Правда», февр. 12, 1964). По Алексеевскому, орошаемая площадь должна увеличиться в 1964 и 1965 гг. на 761 тыс. га и «в следующей пятилетке ежегодное расширение будет порядка 1 милл. га» («Правда», там же). Но тот же Алексеевский пишет, что «на более близкий отрезок времени, по нашим подсчетам, требуется оросить около 5 милл. га». Если «более близкий отрезок времени» обозначает период до 1970 г., то вторая цитата указывает на более низкую цифру нового орошения, чем первая. Всё это происходит потому, что планирование очень приблизительное, еще более приблизительное, чем по минеральным удобрениям.

Задание 20-летнего плана для искусственного орошения не было повышено на последних пленумах. Оно остается на уровне принятого XXII съездом КПСС в 1961 г. Но темп роста капиталовложений в 1962 и 1963 гг. и предполагаемые темпы вложений в будущем не оставляют сомнения в том, что темпы 1961-63 гг. были явно недостаточными для выполнения плана.

В 1960 г., т. е. до XXII съезда, вложения в водохозяйственное строительство составляли только 453 милл. руб., в 1963 г. они составили уже 940 милл. рублей, а в годы следующей пятилетки в водное хозяйство страны, включая затраты на с. х. освоение, в среднем за год будет вкладываться 2,5-3 миллиарда рублей.

⁹ Международный термин «квинтал» заменен в СССР двусмысленным термином «центнер».

Постановление февральского, 1964, пленума «Об интенсификации сельского хозяйства» говорит: «Пленум требует от ЦК компартий и Советов министров союзных республик, Госземвода СССР — принять неотложные меры к тому, чтобы все поливные земли использовались эффективно. Надо покончить с таким ненормальным положением, когда многие колхозы и совхозы получают на поливных землях низкие урожаи».

«Руководство»

Статья начата была с эпизода, описанного Абрамовым. За уборку сена назначено было такое мизерное вознаграждение, что оно обрекало сено на гибель. Всё советское сельское хозяйство насыщено подобными эпизодами.

В 1955 г. проведено было мероприятие по децентрализации планирования в с. х-ве. Децентрализации в новом мероприятии было не так уж много. Заготовки по-прежнему должны были устанавливаться в центре, а заготовки в значительной степени предопределяют производство.

28 февраля 1964 г. на совещании руководящих работников, посвященном осуществлению решений февральского, 1964, пленума ЦК «Об интенсификации с. х. производства», Хрущев произнес пятичасовую речь. Это была четвертая большая речь, целиком или почти целиком посвященная им с. х-ву, меньше чем за три месяца (чтобы все работали, а Хрущев будет говорить!). В этой четвертой речи был и важный раздел: «Решительно покончить с извращениями в планировании, с администрированием в руководстве колхозами и совхозами» («Правда» 7 марта 1964). Из него видно, что невмешательство в с. х. производство даже в тех скромных пределах, в которых оно было установлено в 1955 году, очень часто — скорее всего, регулярно — не соблюдалось еще и в 1963 г.

В своей речи Хрущев приводит ряд абсурдных примеров такого администрирования. В частности, он много говорил о невыполнении закона 1955 г. о децентрализации руководства. Но речь содержала и другое. Она не оставляла сомнений, что он говорит о том, чего сам не понимает. Хрущев сравнивал, например, производство уток в совхозе «Яготинский» Киевской области с условиями производства уток в имении Бельца в Зап. Германии и приходил к безотрадным выводам для киевского совхоза. Повидимому, Хрущев не понимает разницы между «килограммами кормовых единиц», в частности, кило-

граммами советских «кормовых единиц» и килограммами кормов. Хрущев сравнивает расход кормов на уток в обоих предприятиях «в кормовых единицах». Для совхоза «Яготинский» — это, очевидно, советские «кормовые единицы». Их истрачено было по 5,50 кг. на килограмм уток (живым весом). Это совсем не плохо, принимая во внимание малый размер советской кормовой единицы. Но какие кормовые единицы фигурируют в данных имения Бельца в Зап. Германии? Никто не станет там вести расчеты в советских кормовых единицах. Данные для этого предприятия (3,5 килограмма на килограмм уток в живом весе), которые Хрущев дает в кормовых единицах, были, вероятно, просто-на-просто килограммы кормов, а это значительно больше советских кормовых единиц. Если бы эти данные были пересчитаны для хрущевской речи в советские кормовые единицы, он бы на это указал.

Правильная оплата труда, которая стимулировала бы производство по количеству и качеству, — одна из задач, о которой сейчас в СССР говорят очень много, но справиться с нею не могут. В речи Хрущева много материала, говорящего об этом.

Основные несообразности советского с. х-ва (23 милл. га кукурузы 3-й и 4-й категорий, приносящей огромные убытки; превращение сахарной свеклы в «высокопроизводительный дешевый корм»; большое сокращение посевных площадей под люцерной и клевером и замена их горохом; почти полное уничтожение чистых паров и т. д.) — все это результаты руководства советским с. х-вом самим Хрущевым, которому возражать нельзя. Никто, например, не указал на совещании в феврале 1964 г., что сравнение Хрущевым стоимости уток в советском совхозе и немецком имении ведется в различных единицах.

За главнокомандующим Хрущевым следуют и командующие главы республик, затем областные командиры и, наконец, колхозно-совхозные производственные управления. Всем им «нужно» командовать. По словам Волховского, «многие и многие руководители этих (отсталых) колхозов, бухгалтеры, специалисты, бригадиры не считают колхозную копейку, работают вслепую, по принципу: куда кривая вывезет» («Вопросы экономики», ноябрь, 1963, стр. 67).

Тот же Волховский показывает, что колхозы знают, что им нужно, но вышестоящие командиры только портят дело, изливая на колхозы непрерывный поток директив и указаний.

Вся эта неразбериха происходит через 30 лет после начала коллективизации, через десять слишком лет после смерти Сталина. Где основания ожидать, что последующие пятилетки или даже десятилетки принесут что-нибудь существенно иное?

Заключение

Что же из всего этого следует?

Единственное, в чем легко согласиться с Хрущевым, это в том, что сельское хозяйство Советского Союза имеет огромные резервы. Это потому, что советское с. х-во колоссально отстало, что оно дезорганизовано, что колхозные и совхозные гиганты весьма неэффективны. Напомним хотя бы троекратную стоимость производства живых свиней и четырехкратную стоимость производства птицы по сравнению с другими странами, где значительная часть с. х. предприятий целиком обходится без наемной рабочей силы.

Недостаточные капиталовложения имели, конечно, большое значение, как тормаз к развитию с. х-ва СССР. Но хрущевское «руководство» тоже играло и играет большую роль.

Приводимое в настоящее время значительное увеличение капиталовложений в с. х-во должно привести, по всей вероятности, к улучшению работы в нем по всей линии. Большое увеличение производства минеральных удобрений и устройств для искусственного орошения не может не привести к росту с. х. производства (вопрос только в размерах этого роста), а рост производства должен привести к увеличению оплаты труда и другим улучшениям.

Но «хрущевские» методы руководства сохраняются, хотя наиболее вредные их черты могут смягчиться в результате плачевного опыта в прошлом. «Хрущевщина» в основном остается, и вместе с нею остаются и ее проявления. Вполне эффективное сельское хозяйство, какое мы находим в индивидуальных сельскохозяйственных предприятиях Западной Европы и Северной Америки, нужно как будто признать для Советского Союза, руководимого Никитой Сергеевичем Хрущевым, недостижимым.

Н. Ясный

О СОЦИАЛИЗМЕ НАШИХ ДНЕЙ

1

В сентябре 1963 года в Амстердаме состоялся восьмой конгресс Социалистического Интернационала, в котором участвовали делегаты партий демократического социализма сорока семи стран. Это был второй конгресс Интернационала, происходивший в Амстердаме. Первый международный социалистический конгресс в Амстердаме состоялся почти шестьдесят лет тому назад, летом 1904 г. На конгрессе 1904 года были представлены все европейские социалистические партии, а также обе социалистические партии, существовавшие тогда в Соединенных Штатах Америки (Социалистическая партия и Социалистическая Рабочая партия) и молодая в то время социалистическая партия Японии.

Конгресс 1904 г. привлек к себе внимание всего мира. О нем много писали в европейской и американской печати, хотя социалистические партии во всех странах, за исключением Германии и Австро-Венгрии, были тогда еще сравнительно слабы. Но на Амстердамском конгрессе 1904 г. присутствовали в качестве делегатов все тогдашние лидеры международного социализма, видные теоретики, известные писатели и публицисты, выдающиеся политические деятели, члены парламентов. Многие из участников Амстердамского конгресса 1904 г. в последующие годы играли большую роль не только в своих собственных странах, но и в международной жизни. Французскую делегацию тогда возглавляли Жан Жорес, Жюль Гэд и Жак Алеман. Германскую делегацию — Август Бебель, Эдуард Бернштейн, Карл Каутский и Клара Цеткина; австро-венгерскую — Виктор Адлер и Пернерсторфер. Во главе бельгийской делегации были Эмиль Вандервельде и Эдуард Анселе. Из итальянцев на конгрессе присутствовали Филиппо Турати и Энрико Фери. Российских делегаций было две: социал-демократическая и делегация партии социалистов-революционеров. Представителями РСДРП были основатели первой марксистской «Группы Освобождения Труда» — Г. В. Плеханов,

П. Б. Аксельрод, Вера Засулич и Лев Дейч. Делегатами же партии социалистов-революционеров были Екатерина Брешковская, Леонид Шишко, Виктор Чернов. Две английские делегации (Независимой рабочей партии и Социал-демократической федерации) возглавляли Джемс Кейр-Гарди, Генри Гайндман и Квельч. Делегатами Польши были: Игнаций Дашинский и Иосиф Пилсудский (от польской социалистической партии — ППС) и Мархлевский, Варский и Роза Люксембург (от социал-демократии Польши и Литвы). Во главе шведской делегации был Брантинг. Датскую делегацию возглавлял Торвальд Стаунинг. Голландскую — Трульстра и Ван-Коль. Главой швейцарской делегации был Грейлих. Испанскую делегацию возглавлял Иглезиос. Представителем японской социалистической партии был Катаямо.

Почти вся работа конгресса 1904 г. была посвящена обсуждению вопроса об основных политических и тактических положениях международного социализма. За пять-шесть лет до этого, видный теоретик немецких социал-демократов, Эдуард Бернштейн выступил в печати с критикой учения Маркса, получившей название «ревизионизма». Его выступление свидетельствовало о новых реформистских течениях в международной социал-демократии. Перед западно-европейскими социалистическими партиями стоял вопрос: бескомпромиссная классовая борьба или сотрудничество с либеральным и радикальным крылом буржуазии для достижения определенных целей? Иначе говоря, социально-политические реформы, как конечная цель, или же только как средство к конечной цели — социальной революции? За год до Амстердамского конгресса, в 1903 году, съезд германской социал-демократической партии, происходивший в Дрездене, посвятил большую часть своей работы обсуждению именно этого вопроса.

Противники Бернштейна увидели в «ревизионизме» и «реформизме» большую опасность для «освободительного движения пролетариата» и мобилизовали все силы для решительной борьбы. На съезде в Дрездене «ревизионисты» потерпели поражение. В принятой в Дрездене резолюции, между прочим, было сказано, что «съезд осуждает всякое стремление затушевывать существующие классовые противоречия с целью опираться на буржуазные партии... Конгресс, в противоположность существующим ревизионистским стремлениям, выражает убеждение, что классовые противоречия не ослабляются, но постоянно обостряются... Что социал-демократия не

может стремиться к участию в правительственной власти внутри буржуазного общества...»

В связи с обсуждением т. наз. «Дрезденской резолюции», предложенной немцами для одобрения ее Социалистическим Интернационалом, на конгрессе 1904 года произошла знаменитая словесная дуэль между вождем германской социал-демократии Августом Бебелем и самым выдающимся представителем французского социализма Жаном Жоресом по вопросу о том, могут ли социалисты участвовать в несоциалистическом правительстве. В дебатах по этому вопросу участвовали Каутский, Плеханов, Виктор Адлер, Вандервельде и другие видные социалисты.

В Дрездене, как уже было указано, победил ортодоксальный марксизм, представленный Каутским и Бебелем. Во Франции же, наоборот, ортодоксальный марксизм наиболее видными представителями которого были Жюль Гед и Поль Лафарг не пользовался большим влиянием. Их партия была самая слабая из всех трех социалистических партий, существовавших тогда во Франции. Там вопрос об участии социалистов в несоциалистических правительствах имел практическое значение. Он уже несколько лет стоял на очереди. Поэтому было естественно, что вопрос об участии социалистов в буржуазных правительствах и о классовой политике рабочего класса был поставлен первым в порядке дня Амстердамского конгресса.

Жорес в своей речи сказал: «Дрезденская резолюция носит сектантский характер. Нельзя этой резолюцией создать бумажное интернациональное единство и связать деятельность пролетариата. Что лежит в основе этой резолюции? Род недоверия к пролетариату, боязнь того, что он сможет потеряться в компромиссах, что он испортится от сотрудничества с демократией. С одной стороны, пролетариату приписывают величайшие цели, ему говорят, что он завоюет мир, образует новое общество, а с другой, — его считают таким несовершеннолетним и незрелым, что боятся, как бы он не поддался всякому обману... Чем более зрел пролетариат страны, чем он сильнее, тем решительнее он присоединяется к нашей (т. е. Жореса — Д. Ш.) тактике. Где есть полная свобода действия и движения, там встают новые проблемы... В Англии социалистическое движение не потому слабо, как думает Бебель, что английская буржуазия прекрасно поняла, как маленькими реформами отвести рабочих от собственной организации, но потому, что английские социалисты, загнипнотизи-

рованные теорией катастрофы, не сумели войти в тесное соприкосновение с рабочим классом через практическую повседневную работу. Но теперь замечается приближение социалистической мысли к профессиональному движению...»

Закончил Жорес следующими словами: «Чем больше демократии, чем большей свободой обладает страна, чем более может полетариат проявить решительной политической энергии в своем парламенте, тем больше он будет смущен вашим предложением, которое является препятствием к развитию всеобщей политической свободы и вместе с тем интернациональному социализму».*

Тогда огромным большинством все-таки была принята т. наз. «Дрезденская резолюция». Но не прошло и двух десятков лет, как «ревизионистские» и «реформистские» идеи Бернштейна и Жореса восторжествовали во всех крупных европейских социалистических партиях.

2

В 1904 г. большинство социалистов всех стран думали, что Социалистический Интернационал в состоянии определять политику и тактику социалистической партии каждой страны. Но уже через десять лет после Амстердамского конгресса для огромнейшего большинства социалистов во всем мире стало ясно, что это была иллюзия. Каждая массовая социалистическая партия вынуждена в своей политике и тактике считаться прежде всего и по преимуществу с интересами своего собственного народа и с существующими условиями в данной стране. Никакая интернациональная организация не может выработать для всех социалистических партий единую политику и единую тактику. Но есть целый ряд вопросов, особенно в области международной политики, о которых партии демократического социализма могут договориться и занять общую позицию. Это и пытается делать современный Социалистический Интернационал, к которому сейчас примыкают партии демократического социализма, сорока семи стран, насчитывающих вместе 11 миллионов 800 тысяч членов. В тех странах, где есть свободные выборы, на последних выборах за кандидатов партий демократического социализма голосовало больше 70 миллионов избирателей.

* Две речи. Книгоиздательство «Вперед». Петербург, 1905 г., стр. 6-11.

Известный французский публицист проф. Реймон Арон еще лет десять тому назад заметил, что «социализм в западных странах перестал быть мифом потому, что он стал частью действительности». В Австрии демократические социалисты получили 44 процента всех поданных голосов, в Бельгии — 37 процентов, в Западной Германии — 36 процентов, в Швеции — 51 процент, в Норвегии — 47 процентов, в Англии — 44 процента и т. д. Демократические социалисты стоят теперь во главе государственного управления в Швеции, Норвегии, Дании, на Цейлоне и Мадагаскаре. Они участвуют в коалиционных правительствах Австрии, Бельгии, Исландии, Сан-Марино и Швейцарии.

В ряде стран, где демократические социалисты не участвуют в правительстве, социалистические партии по своей величине и по числу голосов, полученных на парламентских выборах, являются вторыми партиями в стране (например — Рабочая партия в Англии, социал-демократическая партия в Западной Германии, Рабочая партия в Австралии, социалистические партии в Японии и другие). Благодаря, главным образом, борьбе, которую социалистические партии в течение ряда лет вели в промышленно-развитых странах, вся структура капитализма теперь сильно изменилась и жизненный уровень народных масс высоко поднялся. Современный капитализм глубоко отличается от капитализма времен Маркса. И столь же сильно отличается современный социализм от социализма 19-го века. Последовательных, так сказать, выдержанных марксистских партий в настоящее время в Европе нет. Даже до второй мировой войны только социал-демократические партии Германии и Австрии, да русские социал-демократы-меньшевики и еврейский «Бунд» в Польше, считали себя марксистскими партиями. Во всех остальных социалистических партиях Европы либо совсем не было марксистов, либо число их было очень невелико. Английская Рабочая партия, например, никогда марксистской не была, а сейчас даже германская и австрийская социалистические партии уже не марксистские. Недавно в лондонской еженедельной газете «Обсёрвер» было напечатано интервью с официальным лидером Рабочей партии Гарольдом Вильсоном, который, кстати сказать, возглавлял английскую делегацию на последнем конгрессе Социалистического Интернационала в Амстердаме. На вопрос редактора «Обсёрвер», какое влияние имел на него марксизм, Вильсон ответил: — «Никакого. Я изучал этот предмет в рамках истории. Без него нельзя понять Советский Союз. Но должен

сказать откровенно, что из «Капитала» Маркса я прочитал только две первых страницы. Корни английского социализма — религиозные».

Родители Вильсона были радикалами и религиозными людьми. Его дед был глубокого религиозным человеком и считал, что народ должен применять в политике религиозные принципы. Дальше Вильсон сказал: «Моя жена — дочь священника-радикала. Я всегда был проникнут духом религиозно-общественного протеста. Вот на этой почве и выросла английская рабочая партия. Среди людей моего поколения много радикалов той же традиции. И наш подход к политическим вопросам определен религиозными ценностями, которые мы унаследовали от своих родителей. Понять английскую Рабочую партию нельзя, не принимая во внимание всего этого. То же самое можно сказать и о нашем профсоюзном и кооперативном движении».

Покойный лидер английской рабочей партии Хью Гейтскелл был тоже религиозным человеком, и таково большинство активных деятелей английской Рабочей партии. Среди членов германской социал-демократической партии и австрийской социалистической партии в настоящее время не только много верующих рабочих и интеллигентов, но даже есть священники разных исповеданий.

Социализм, который теперь во всем мире проводят в жизнь партии демократического социализма, чрезвычайно отличен от социализма 19-го века, не говоря уже, конечно, о коммунизме.

3

Было время, когда социалисты всех стран считали, что, когда социалистическая партия какой-либо страны приходит к власти, она в первую очередь должна национализировать главнейшие отрасли промышленности. Большинство социалистов второй половины 19-го и первой половины 20-го века верили, что социализм означает обобществление средств производства и что национализация всех отраслей промышленности, всех банков, природных богатств и путей сообщений ведет к социализму. Но после второй мировой войны социалистическое движение во всех странах, где были сильные социалистические партии, приняло совершенно другой характер.

Человечество живет теперь в новом мире, который непрестанно меняется. И характер социалистического движения, и

социалистическая идеология, также быстро меняется. Одним из основных положений прежнего социализма было, что только путем превращения главных отраслей промышленности и природных богатств страны в государственную собственность, можно создать лучший и более справедливый общественный строй. Теперь же для всех партий демократического социализма стало ясно, что национализация сама по себе автоматически не меняет общественных отношений в желательном для социалистов направлении. Неверны утверждения многих консервативных американских и английских журналистов, что национализация якобы всюду и везде вдет к провалу, что национализированные отрасли промышленности и транспорт в Англии, во Франции, в Италии и в других западно-европейских странах приносят только убыток. Но верно то, что национализация ни в одной стране не изменила общественных отношений в направлении к социализму. Когда-то социалисты боролись за усиление власти демократического государства. Теперь же большинство демократических социалистов убеждены, что концентрация экономической и политической власти в одних руках является большой опасностью для свободы и независимости человеческой личности. Поэтому они против полного огосударствления. Они являются сторонниками **смешанного** хозяйства, где наравне с национализированными отраслями промышленности существовали бы и **кооперативные** и **частные** отрасли промышленности и предприятий. Первыми, кто заговорил о **смешанном** хозяйстве вместо **сплошного** национализированного или социализированного хозяйства, были некоторые правые социалисты в Англии. Вслед за ними германские социал-демократы ясно формулировали это в своей новой программе. И сейчас это фактически господствующая точка зрения в большинстве партий демократического социализма. На съезде социалистической Рабочей партии Новой Зеландии, происходившем в мае 1961 г., была принята декларация, в которой, между прочим сказано:

«Справедливое распределение национального богатства требует расширения общественной собственности и контроля и других законов для обуздания частных монополий, проведения радикальной системы налогов и защиты интересов потребителей. Но наравне с общественным сектором хозяйства **необходимо иметь также частно-владельческий сектор**».

Еще в 1961 г. известный французский социалист Жюль Мок, член Национального комитета французской социалисти-

ческой партии, в статье, помещенной в швейцарском социалистическом журнале, поставил вопрос: «Действительно ли национализация ведет к социализму»? И анализ, который он дал, очень интересен и весьма поучителен. Национализация во Франции была проведена при правительстве Леона Блюма в 1936-1937 гг. и потом — через десять лет, при Временном правительстве после освобождения Франции. Сейчас во Франции государству принадлежат все каменноугольные рудники, почти все станции электрической энергии и газовые заводы, весь транспорт, многие нефтяные предприятия, стоимостью более чем в миллиард швейцарских франков, все железные дороги, которыми пользуется население, три четверти кораблей и две трети пассажирских аэропланов, авиационные фабрики, которые производят две трети всех аэропланов и половину моторов, фабрики Рено, которые производят половину французских автомобилей, большинство арсеналов армии, морского и воздушного флотов, многие химические фабрики, большинство банков страны, почти половина страховых обществ и другие отрасли промышленности — в количестве нескольких сот. В 104 из них все их акции принадлежат государству. В других — правительство владеет только частью акций. В национализированных фабриках заняты миллионы рабочих.

С технической точки зрения, говорит Мок, национализированные предприятия несомненно пользуются значительным успехом. Производство электрической энергии с 1946 г. увеличилось в три с половиной раза. Поезда ходят теперь гораздо быстрее и аккуратней, чем прежде. Производство аэропланов на национализированных фабриках также значительно повысилось. Национализированные отрасли промышленности приносят государству прибыль. Но с социальной точки зрения, национализации несомненно до сих пор были провалом. Забастовки происходят на национализированных фабриках и предприятиях не меньше, чем на частно-владельческих фабриках. Рабочие и служащие частно-владельческих фабрик и предприятий, по крайней мере в больших городах, зарабатывают не меньше, а часто даже больше, чем рабочие и служащие национализированных предприятий. Французским железным дорогам теперь с большим трудом удастся достать необходимое число рабочих, особенно в восточной и северной Франции, где заработная плата выше, чем в южной. Участие рабочих в управлении национализированных отраслей промышленности фактически только номинально. Это не толь-

ко потому, что рабочие делегаты в меньшинстве в советах правлений, но также потому, что они не избраны для этой цели теми людьми, которых они должны там представлять. Это в большинстве случаев должностные лица профсоюзов. Они выбраны рабочими членами профсоюзов, но исключительно для профсоюзных целей, а не для решения проблем, связанных с управлением различными предприятиями. И Мок приходит к заключению, что действительный социалистический строй может быть установлен только тогда, когда народные массы станут более культурны, более идеалистичны и будут учитывать не только интересы отдельного гражданина, но и интересы всего общества. Необходимо, говорит Мок, путем образования и пропаганды, готовить человеческие умы для лучшего общества и одновременно проводить необходимые реформы. Одно должно стимулировать другое, и мы не должны быть поражены, — заканчивает Мок, если большие, но преждевременные реформы не приносят ожидаемых результатов. Это потому, что они были проведены быстрее, чем рос духовный прогресс масс, в интересах которых эти реформы были осуществлены.

4

Еще лучше и яснее те же мысли высказал несколько лет тому назад английский социалист С. А. Крослэнд в двух своих книгах — «Будущее социализма» и «Консервативный враг». В предисловии к книге «Будущее социализма» автор указывает, что для всякой работы, которая хочет дать ответ на вопрос — «что такое социализм?» — нужно прежде всего основательно проанализировать все экономические и социальные изменения, происшедшие в мире с 1939 года. И рассматривать социализм надо в свете этих изменений, указывая практические пути, какими новая социалистическая программа может быть проведена в жизнь. В тридцатых годах английские социалисты были согласны относительно ближайших целей Рабочего социалистического правительства, если оно будет располагать большинством в парламенте. Цели эти были: ликвидация нищеты и расширение социального обеспечения, более справедливое распределение народного богатства, экономическое планирование с целью предоставить работу всем трудящимся и установление экономического равновесия в стране. Многие социалисты думали, что эти цели недостижимы при существующей экономической системе. Они находились

под сильным влиянием марксизма и верили, что капитализм должен быть раньше свергнут насильственным путем. Правда, английское рабочее движение — говорит Крослэнд, — всегда было свободно от догматизма. Марксизм никогда не имел на него большого влияния. Марксистская Социал-демократическая Федерация, основанная в Англии Генри Гайндманом в начале 80-ых годов, еще при жизни Маркса, никогда не пользовалась успехом. Но в начале 30-ых годов этого века, во время большой экономической депрессии, когда революционные политические идеи были сильно распространены по всей западной Европе, значительная часть английской интеллигенции тоже была захвачена марксистским «поветрием». Но те времена уже давно прошли. И сейчас среди английской социалистической интеллигенции, даже крайне-лево настроенной, у марксизма очень мало сторонников.

Крослэнд говорит о Карле Марксе с большим уважением, но весьма убедительно показывает, что теория Маркса о «внутренних противоречиях капитализма», будто бы неминуемо ведущих ко все большему обнищанию масс и в конечном счете к краху всей системы, совершенно ложная теория. На фактах и цифрах Крослэнд доказывает, что жизненный уровень рабочих масс не только в Англии, но и во всех других демократических странах за годы, прошедшие со дня опубликования «Капитала» Маркса, все выше и выше поднимался также, как постоянно увеличивался и национальный доход Англии. Марксистская теория классовой борьбы, на которой были основаны почти все довоенные социалистические программы, тоже совершенно устарела. Неверно, что в демократических странах общество контролируется господствующим классом капиталистов и что правительства там являются орудием в руках капиталистов для эксплуатации трудящихся масс. Еще в 1937 году английский полу-коммунист, ныне покойный профессор Гарольд Ласки писал, что «при всякой форме государства политическая власть фактически будет в руках тех, в чьих руках — экономическая власть». Это — говорит Крослэнд — было неверно и в 1937 году и в свете фашизма и нацизма, а теперь это сугубо неверно. Капитализм теперь совершенно иной, чем тот, каким он был даже в 30-ых годах.

Весь характер английской экономики и роль различных слоев населения за последние пятьдесят лет сильно изменились. Трудящиеся массы теперь играют огромную роль в политической, экономической и социальной жизни страны и это является одной из причин почему пророчества Маркса о пути

дальнейшего развития капитализма не осуществились ни в Англии, ни в какой другой демократической стране. Одна из главных ошибок Маркса была в том, что он недооценил социально-экономические результаты политической демократии.

Современная Англия не социалистическая страна, но Крослэнд показывает, что она также и не капиталистическая страна, какой была во времена Маркса. Социалистической страной еще меньше, чем Англия, может быть назван Советский Союз. Рабочие в Советском Союзе работают на фабриках и заводах за определенную зарплату, так же как и в Англии и в Соединенных Штатах. Неважно, что в Советском Союзе все фабрики и заводы являются собственностью государства. Что в действительности важно, так это то, является ли управление фабриками и заводами автократическим или демократическим? То есть, насколько рабочие участвуют в установлении размера зарплаты и условий труда и имеют ли они право объявлять забастовки и оставлять место работы? «Во всех этих отношениях, — пишет Крослэнд, — советский рабочий более пролетаризирован, чем английский рабочий. У советского рабочего нет права бастовать и менять работы. Системы арбитража там не существует. У советского рабочего также нет своей политической партии, которая представляла бы его интересы в демократическом парламенте. У лишенного личных прав советского рабочего, всецело подчиненного автократической власти, есть все основания завидовать английскому рабочему, у которого есть свободные профсоюзы, так же как он может завидовать американскому рабочему, его более коротким рабочим часам и его большой свободе.

Подобно капитализму и социализм за последние несколько десятков лет сильно изменился. Цитируя фразу Раймона Арона — «социализм в западных странах перестал быть мифом потому, что он стал частью действительности», — Крослэнд прибавляет: «не полной действительностью, но уже настолько, чтобы не быть больше мифом». Социалистические рабочие партии стояли у власти в целом ряде стран и на опыте убедились, что ответственность гораздо сложнее и разнообразнее, чем они ожидали. Чтобы быть в состоянии по-новому формулировать социалистическое учение, говорит Крослэнд, нужно прежде всего выяснить, что собственно понимают в настоящее время под словом «социализм». Это Крослэнд сделал отчасти в своей книге «Будущее социализма», но подробнее и более конкретно — в книге «Консервативный враг».

5

В своей первой книге «Будущее социализма» Крослэнд писал, что социалистическое движение возникло как протест против материальной нищеты и эксплуатации масс при капитализме. Этот протест был вдохновлен желанием помочь угнетенным массам добиться своих прав и создать общество, где бы вместо классовой борьбы были бы свобода, равенство и братство. Идеалом всех социалистов до большевистского переворота в России было: справедливое кооперативное общество, в котором нет ни богатых, ни бедных, нет классовых подразделений, а все свободны и равноправны. Но главным стимулом этого социализма была страстная вера в свободу и демократию. «Большинство социалистов всего мира до первой мировой войны никогда, — пишет Крослэнд, — не могли себе даже представить социализм вне свободы личности».

Той нищеты рабочих, о которых социалисты когда-то не переставали говорить, — пишет Крослэнд, — теперь больше нет ни в Англии, и ни в какой другой из промышленно-развитых демократических стран. Жизненный уровень трудящихся масс всюду непрерывно поднимается. Боязнь длительной безработицы все более ослабевает. Современный молодой рабочий надеется на такое свое будущее, которое его отцу даже и не снилось. Социальной несправедливости теперь гораздо меньше. И все-таки это еще не социализм, но это и не капитализм. Это, — говорит Крослэнд, — большой шаг по направлению к социализму. Идеал социализма — достижение равных возможностей для всех членов общества, независимо от их происхождения и социальной среды. Но это может быть достигнуто только в результате органического роста общества и постепенного расширения прав отдельного человека. При этом вопрос о частной или общественной собственности на средства производства и обмена вовсе не так тесно связан с идеалом равенства. Опыт показал, — говорит Крослэнд, — что частная собственность может также существовать вместе с широким равенством в то время, как национализация всех средств производства и обмена может быть использована, как мы это видим в Советском Союзе, для установления системы, основанной на большом неравенстве. Идеалом современного демократического социализма является смешанное хозяйство, где часть индустрии и финансовых учреждений принадлежит государству, а другие являются собственностью кооперативов, профсоюзов, принадлежат пенсионным фондам и миллионам

частных семейств. Отосударствление всего промышленного капитала, — пишет Крослэнд, — теперь не является условием создания социалистического общества, установления социального равенства, увеличения общего благосостояния или уничтожения классовых подразделений. Что несправедливо в современной нашей системе — это распределение национального дохода, но эта проблема может быть разрешена скорее и гораздо лучше в смешанном хозяйстве, чем в таком хозяйстве, где все принадлежит государству.

Главные аргументы в пользу всяких национализаций, — пишет Крослэнд в книге «Консервативный враг» — были основаны на предположении, что только при национализированном хозяйстве возможно осуществление идеала бесклассового общества и всеобщего равенства. Но после опытов последних десятилетий мало кто из английских социалистов теперь хочет, чтобы все в Англии принадлежало государству и было под контролем правительства. Гарантировать свободу каждого человека и предотвратить концентрацию экономической и политической власти в одних руках — может лучше всего смешанное хозяйство, где наравне с национализированными отраслями промышленности, владельцами многих отраслей промышленности, торговли и транспорта являются муниципалитеты, свободные кооперативы, свободные профсоюзы и миллионы частных семейств.

Крослэнд приводит такую цитату из брошюры Ричарда Кроссмэна, известного английского левого социалиста «Социализм и новый деспотизм», написанной в 56-ом году: «Социализм не может и не должен быть основан на какой-либо определенной теории... Те, кто обосновывали социализм на, якобы, имманентных 'внутренних противоречиях' капиталистической системы, отклонялись от традиций английского радикализма, внося чуждый элемент в философию нашего рабочего движения. Действительным динамизмом английского рабочего движения всегда был моральный протест против социальной несправедливости, а не утверждения, что капитализм неминуемо должен рухнуть».

Те же мысли высказаны в брошюре, опубликованной группой левых английских социалистов: — «Для социалистов былых времен, — говорится в этой брошюре, — вопрос о том, кто владельцы средств производства, распределения и обмена был главным критерием того, — является ли данное общество — капиталистическим или социалистическим. Они отождествляли социализм с общественной собственностью... За

последние несколько лет мы стали отличать средства социализма от его целей... Нас теперь мало интересует, кто владец фабрики?»

Известный английский левый социалист, ныне покойный Энюрин Беван в 1952-ом году по этому поводу писал: «Для всякого человека, серьезно изучающего современную политику ясно, что смешанная экономика это то, что предпочитает сейчас большинство людей на Западе... А вопрос в том, где должна быть установлена граница между общественным сектором хозяйства и частным — должен решаться разное в разных странах». К этим мыслям Бевана Крослэнд от себя прибавляет, что сейчас почти все большие социалистические партии в своих программах принимают смешанное хозяйство.

Крослэнд отмечает факт, что не только в Англии и Соединенных Штатах, но и во всей Западной Европе, люди, которые могут быть классифицированы как «рабочий класс», добились такого высокого уровня жизни, что живут в общем также, как и люди среднего класса и проникаются психологией средних классов. Рабочие, бывшие активные члены Рабочей партии, если они уходят из нее, то обыкновенно отходят к либералам, а не к коммунистам, как это бывало раньше. Рабочая партия должна учесть это новое положение, — говорит Крослэнд. Эта проблема, — указывает он, — стоит перед каждой социалистической партией в любой из промышленно-развитых стран. И большинство социалистических партий (особенно голландская, шведская, норвежская, датская, западно-германская, австрийская, швейцарская, канадская и ново-зеландская) самым радикальным образом пересмотрели основы своих программ и из чисто-рабочих партий они стремятся теперь стать **народными** партиями в полном смысле этого слова. Но меньшинство, а именно французская, японская и австралийская социалистические партии все еще упорно цепляются либо за отжившую марксистскую догму, что особенно нелепо во Франции, или же апеллируют только к одному классу. Первые партии, «ревизионистские», добились больших успехов, значительно укрепив свои позиции, в то время, как упомянутые три партии сильно пострадали от всяких расколов и политическое влияние их заметно упало.

Никакой демократ, — заканчивает Крослэнд свою книгу, — не может ни на минуту поддерживать государственную монополию всех средств производства и всех ресурсов страны. Крослэнд и другие «ревизионисты» западно-европейских партий демократического социализма считают, что свобода

личности, равенство доходов, права потребителей, наибольшая децентрализация власти — это те ценности, которые в наши дни составляют суть западного социализма.

6

Недавно умерший председатель германской социал-демократической партии Эрих Оленхауэр осенью 1963 г. в связи со столетним юбилеем своей партии, в беседе с журналистами на вопрос, не опорочили ли разные тоталитаристы идеи и идеалы социализма, ответил так:

«Конечно, понятием 'социализм' злоупотребляли и национал-социалисты и коммунисты. Это многих ввело в заблуждение, дезориентировало. У многих сложилось превратное, искаженное понимание социализма. Однако, я верю, что как принципы демократического социализма, так и конструктивная работа социалистов находят все большее понимание и признание. Общеизвестно, что все наши усилия направлены к тому, чтобы создать жизнь, достойную человека. Это коренным образом отличает нас от тоталитарных движений, от национал-социализма в прошлом и коммунизма в настоящем». И дальше Оленхауэр сказал: «Посторонним наблюдателям кажется, что мы сегодня — консервативная партия. Но это не верно. Нельзя ведь отрицать, что там, где социал-демократы у власти, а также там, где они могут влиять на ход событий, существует демократический строй и непрерывно повышается благосостояние трудящихся. Это — наше достижение. То, что во многих цивилизованных странах рабочие, трудящиеся имеют или решающий или веский голос в обществе, — это вследствие столетней борьбы социалистов за социальный прогресс, справедливость и законность. В нашей стране на очереди задачи такой организации демократического открытого общества, при котором всем трудящимся было бы гарантировано благополучие. Для этого необходимо обеспечить общую занятость, демократическое планирование и многое другое, предусмотренное нашей программой. Наша цель ясна. Мы боремся за такой общественный порядок, в котором все люди жили бы в условиях демократических свобод, не зная нужды, страха, развивая свои таланты, разумно пользовались бы досугом, и воспитывались бы в духе человеколюбия и международной солидарности».

А секретарь нового Социалистического Интернационала Карти, накануне открытия Амстердамского Конгресса

1963 года, в беседе с журналистами сказал: — «За последние 25 лет идеи демократического социализма нашли живой массовый отклик в Азии, Африке и Латинской Америке. В каждой стране эти идеи преломлялись по-своему, и это — неизбежное, закономерное явление... Вся деятельность демократических социалистов направлена на достижение свободы и мира в мире. Мы за мир, в котором не будет эксплуатации человека человеком, человека — государством, одним государством — другого государства и народа. Мы за мир, в котором свободное развитие индивидуальной личности является базой развития человечества... Мы за правовое, демократическое, открытое общество, за благополучие для всех, основанное на свободе выбора деятельности, на владении предметами потребления и личного пользования. Мы за непрерывный естественно-закономерный прогресс человеческой цивилизации свободных людей объединенного мира».

Демократические социалисты во всем мире все более приходят к убеждению, что осуществление социализма не может быть зависимо только от изменений экономической и социальной структуры общества. Должны также произойти и изменения в человеческом поведении и в отношениях людей. Без политической и духовной свободы никакой социализм невозможен и демократия, это не только средство для достижения социализма, как многие социалисты в прошлом думали, демократия, это — цель сама по себе, как наилучшая форма человеческого общежития. Свободное общество может быть создано только свободными людьми. Но общество свободы и равенства не может существовать без морали.

Партии демократического социализма решительно против каких бы то ни было революций в демократических странах. Они стремятся привлекая на свою сторону большинство населения, при всех демократических гарантиях использовать государственную власть в интересах огромнейшего большинства населения. Такова политика социалистов Англии, Швеции, Норвегии, Дании и других демократических стран, где социалисты стояли или стоят у власти. Защита демократии стала первостепенной и главнейшей задачей социалистов во всех странах.

Д. Шуб

ВОСПОМИНАНИЯ И. Г. ЦЕРЕТЕЛИ

Воспоминания И. Г. Церетели доведены только до событий второй половины июля 1917 года. И это является невознаграждаемой потерей для исторической науки, потому что о последующем периоде никто уже не сможет дать отчет такой же исключительной ценности, какую представляют собой воспоминания Церетели для описываемого периода. Историк этого периода должен быть глубоко благодарен А. М. Бургиной, тщательная и вдумчивая редакционная работа которой сделала возможным публикацию «Воспоминаний о Февральской революции» в достаточно полном для данного периода и законченном виде. И я не боюсь сказать, что эта публикация, в том виде, как она появилась, впервые делает возможной вполне солидную историю русской революции 1917 года. Это не значит, что в ней есть все, что нужно историку. И не значит, что историк должен принять все интерпретации автора «Воспоминаний». Но он получает в высокой степени надежный материал — я бы сказал, максимально приближающийся к недостижимому идеалу абсолютной достоверности.

Эта достоверность была оплачена дорогой ценой медленности работы, остановившейся из-за этого немногим дальше, чем на полпути. Я не знаю всех причин этой медленности, но не думаю, что главной из них было то, что Церетели не был писателем, обладающим так называемым «бойким пером» или то, что можно назвать недостатком литературной техники, позволяющей сравнительно легко и быстро облекать в письменную форму хранящийся в памяти материал. Он писал с трудом, задумываясь над каждой формулировкой своей мысли, почти что над каждым словом, и это не ради стилистического блеска, а ради точности в воспроизведении фактов и выражении своей мысли. Таким, по крайней мере, представляется мне процесс его писания хотя Церетели отнюдь не был медленно думающим человеком, а наоборот — отличался находчиво-

* И. Г. Церетели. Воспоминания о февральской революции. Кн. I и II. Mouton and Co. Paris. 1963.

стью и часто блестящим остроумием. Его речь вообще двигалась более плавно и непринужденно, чем его письменное изложение. Но главную причину медленности его работы — повторяю — я вижу в его исключительной, чтобы не сказать чрезмерной, добросовестности и его глубокой интеллектуальной честности. Хотя Церетели и обладал превосходной памятью, которую очень близко знавший его Б. И. Николаевский характеризует в своей вступительной статье как «феноменальную» он все же на свою память полностью не полагался и тщательно выискивал данные для проверки каждой детали своих воспоминаний, следя, насколько это было возможно, за всем, что давал новый материал о революции 1917 г.

Посмотрим же, что дает этот метод конфронтации собственных воспоминаний с другими показаниями. Он еще не делает эти контролируемые воспоминания историей, потому что сосредоточенные на личности автора они неизбежно ограничены теми сторонами и моментами исторического развития, с которыми автор имел непосредственное или, по крайней мере, близкое соприкосновение. Но в тот период Церетели был настолько доминирующей фигурой и деятельность его была так многообразна, что эта область непосредственного сопротивления с событиями была очень широка. Без Церетели тогда просто нельзя было обойтись, и его привлекали для решения множества каждодневно возникавших вопросов. Тут я не могу не вспомнить, каким я видел его в то время — больным, истощенным, буквально измученным тем бременем, которое он на себя взял. Помню, как мне сказали, что он уже в последней стадии туберкулеза, что у него кровохарканье, что ему дают не больше полугода жизни. К счастью, это мрачное предсказание не оправдалось, но он несомненно был тяжело больным и болезнью ослабленным человеком. И тем не менее он проявлял наиссякаемую энергию, которой мог бы позавидовать иной, совершенно здоровый, полный сил, человек. Какая в этом была колоссальная нравственная сила, какое безграничное чувство долга, заставлявшее его напрягать все силы для выполнения легших на его плечи задач, или просто скажу, какая **добросовестность** — та же добросовестность, которая делает его «Воспоминания» почти беспримерными по достоверности.

В тех областях, в которых Церетели играл руководящую роль, он в то же время входил буквально во все детали, и его рассказ по существу является прекрасно документированной историей. Насколько я могу установить, нигде, напри-

мер, нет такого обстоятельного и точного отчета об отношениях между Временным правительством и Украиной, как во второй книге «Воспоминаний», в главе «Национальный вопрос в период первого коалиционного правительства и украинский кризис». Огромную массу информации, до сих пор или неопубликованной или «по кусочкам» разбросанной в различных публикациях, содержит глава «Мирная кампания советской демократии среди европейских социалистических партий». Этой теме посвящены (в первой книге «Воспоминаний») 170 с лишним страниц, из которых 70 приходится на третий раздел «Кампания за созыв Стокгольмской Конференции». Ни один другой вопрос Церетели не трактует с такой исчерпывающей обстоятельностью. И вы чувствуете, что это был для него больше чем один из очень важных вопросов. Ликвидация войны путем заключения демократического мира — «без аннексий и контрибуций», «без победителей и побежденных» — была для Церетели центральной проблемой революции, от решения которой зависела возможность уберечь зародившуюся в России демократию. Задним числом легко констатировать, что он заблуждался в оценке шансов успеха своей политики. Идея, что можно достичь или хотя бы приблизить ликвидацию военного конфликта путем соглашения между социалистическими партиями воюющих сторон — эта идея оказалась утопической. Но именно «оказалась», а не была такой в то время, когда под руководством Церетели готовилось ее осуществление. Как-никак, но в ходе долгих переговоров многочисленные препятствия, стоявшие на пути к конференции, были преодолены (хотя, с точки зрения Церетели, и не вполне удовлетворительно). Конференция должна была состояться с участием представителей не только оппозиционных меньшинств, но и большинства социалистических партий воюющих сторон. Стокгольмская конференция была сорвана не несогласием между социалистами, а отказом правительств Антанты выдать делегатам, которые должны были ехать на конференцию, визы для поездки в Стокгольм.

Когда Церетели упорно вел работу по подготовке конференции, он, без сомнения, был — «как оказалось» — слишком оптимистичен. Церетели всегда был оптимистом, и это его поддерживало, давало ему силу преодолевать в то время свою физическую немощь. Для одушевленной борьбы нужны или оптимизм, то есть вера в возможность успеха, или мужество отчаяния, для которого в то время еще не было оснований. Церетели держался своим оптимизмом. И я должен

признаться, что меня, принадлежавшего в то время к «пессимистам», его оптимизм часто удивлял, хотя я не меньше других находился под обаянием его личности и до конца августа в большинстве вопросов следовал за его политикой. Но Церетели отнюдь не был слишком оптимистичен в своей надежде достичь соглашения между социалистами воюющих стран о созыве конференции. Это соглашение было достигнуто. Ошибочным было представление о внутреннем положении в воюющих странах, о реальном соотношении сил. Он был, как видно из этой главы его «Воспоминаний», слишком оптимистичен в оценке способности и готовности социалистических партий оказать достаточно сильное давление на их правительства. «Убедившись, — пишет он, — что никакие способы дипломатического давления не смогут сломить сопротивления союзных правительств, мы возложили все свои надежды на поворот в общественном мнении союзных стран, который должен был произойти в результате Стокгольмской конференции и согласованного выступления социалистов всех стран в пользу мира» (книга 1-ая, стр. 227). Эти надежды, наверное, были преувеличенными, но совсем необоснованными они не были, потому что союзные правительства приняли меры к тому, чтобы Стокгольмская конференция не состоялась, очевидно опасаясь, что она может создать затруднения для их военной политики.

Эта пространная глава чрезвычайно важна для понимания политики Церетели и следовавшей за ним «революционной демократии», то-есть по существу обеих демократических социалистических партий, меньшевиков и эсеров, которые в то время господствовали в советах. Эта политика по вопросу о «войне и мире» и в то время не встречала достаточного понимания, а противниками ее, как более правыми элементами, так и большевиками, грубо искажалась. То же непонимание и то же извращение существуют и до сих пор. Можно сомневаться в правильности оценок Церетели, но точность его фактического изложения, бесчисленное количество раз проверенного, совершенно бесспорна. Его упрекали и сейчас упрекают в том, что он не понимал, как необходимо было России выйти из войны, продолжать которую страна была не в силах. Церетели понимал это не хуже других. Но он понимал и то, что для России выход из войны без согласия союзников был просто невозможен, потому что он означал бы не прекращение войны, а ее продолжение, может быть, в еще более разорительной для страны форме. Ведь так и случилось после заклю-

чения большевиками сепаратного мира. Поэтому Церетели добивался от Временного правительства, чтобы оно оказывало на союзные правительства давление в пользу мира по соглашению, а когда выяснилась невозможность сломить их сопротивление, «возложил все свои надежды» на созыв Стокгольмской конференции. Если рухнули и эти надежды, то это меньше всего было его виной. Он сделал все, что было объективно возможно сделать, доведя дело вплотную до несостоявшейся конференции. Добавлю к этому, что благодаря продуманности своей работы и, в особенности, такту, с которым он вел трудные переговоры с иностранными социалистами, Церетели приобрел большую популярность в европейских социалистических партиях. Позднее, когда он был в Социалистическом Интернационале представителем грузинской социал-демократии, некоторые видные деятели Интернационала, как например, Рудольф Гильфердинг, были сторонниками избрания Церетели главным секретарем Интернационала, от чего он, однако, наперед отказался.

Читая главу о кампании за созыв Стокгольмской конференции, я почти на каждом шагу убеждался в том, как мало я знал об этом в свое время и как мало я узнал с тех пор, пока не дождался «Воспоминаний» Церетели. В них и помимо этой главы найдется много неизвестного и неожиданного для того, кто сам активно участвовал в событиях того времени и имел основание считать себя хорошо осведомленным. Но здесь я, конечно, не могу говорить не только обо всем, но и о сколько-нибудь значительной части того, что содержится на более чем девятистах страницах двух томов «Воспоминаний». Ограничусь тем, что остановлюсь на одном вопросе, которому и сам Церетели придавал центральное значение.

В статье «Уроки поражения», напечатанной как приложение во второй книге «Воспоминаний», Церетели писал (в 1929 г.): «Была одна проблема, которая требовала решения в первую очередь и практическое разрешение которой оказалось не под силу революционной демократии. Это была проблема государства, проблема создания твердой власти, опирающейся на демократически настроенные массы и способной защищать завоевания революции не только от угрозы реакции, но и от атак левого максималистского меньшинства». Правильность этого положения подтверждается на всем протяжении «Воспоминаний». Ни одна из попыток создания реальной государственной власти — и не только до конца июля, но за весь период до большевистского переворота — не оказалась удов-

летворительной. Проблема государственной власти оставалась нерешенной. В течение нескольких месяцев советы — и только советы — обладали реальной властью, но эта власть не была государственной. А разные составы Временного Правительства, которому те же советы вручали власть в принципе государственную, имели слишком мало реальной власти. Создать власть государственную и в то же время вполне реальную не удалось. Есть много объяснений этой неудачи, правильных и неправильных или лишь частично правильных. И причин было много. Церетели много раз указывает и особенно подчеркивает, что выросшая в традициях гуманности «революционная демократия» была психологически неспособна действовать иначе как убеждением и уговариванием, но не принуждением. Это, без сомнения, верно. Но ведь это характеристика русской передовой, демократической и социалистической интеллигенции, а не всех тех элементов, которые покрывались не слишком определенным понятием «революционной демократии», включавшей рабочих, крестьян и солдат, т. е. главным образом крестьян в военной форме. Церетели сам же рассказывает, как недоумевали прибывшие с фронта солдаты, когда видели, что никакая власть не решается применять репрессивные меры против большевиков. А вот как рассказывает Церетели в статье «Традиционная идеология и действительность русской революции» (приложение ко второй книге «Воспоминаний»): «Вспоминаю вечер, когда мы, министры-социалисты, делали доклад на собрании руководителей большинства Исполнительного Комитета (главным образом меньшевиков и эсеров. Ю. Д.) о решении правительства арестовать Ленина и других вожakov июльского восстания. Все как-то растерялись. Либер, наиболее импульсивный из всех, взволнованно воскликнул: «История будет считать нас преступниками!» — и с ним произошел сильный нервный припадок. А между тем Либер был одним из самых решительных противников большевиков, во время восстания называл их «изменниками революции»... и, оправившись от припадка... принял самое деятельное участие в ликвидации большевистского восстания» (Вторая книга «Воспоминаний», стр. 411).

Церетели постоянно пользуется понятием революционной демократии, которое в то время было общепринятым и повторялось на каждом шагу и ее сторонниками и ее противниками. Но я не могу вспомнить, чтобы где-либо были даны точный анализ и достаточно четкое определение этого понятия. Оно представлялось само собой разумеющимся. Гово-

речь о революционной демократии значило говорить о советах — рабочих и солдатских, позднее и крестьянских депутатов, армейских комитетах и так далее. Все это были органы революционной демократии. В этих пределах никакой неясности не было. Но это понятие постоянно расширялось отождествлением этих органов с теми слоями населения, из которых они вышли. Совет рабочих депутатов это был организованный пролетариат, совет крестьянских депутатов — организованное крестьянство, а затем пролетариат вообще и крестьянство вообще. Между тем правильнее, реальнее было бы отождествлять органы революционной демократии с той демократической и в значительном большинстве социалистической интеллигенцией, которая играла в них руководящую роль, фактически с лидерами партий меньшевиков и эсеров. Это было бы не так опасно, если бы отношения между избирателями и их представителями были так же относительно устойчивы, как в нормальных условиях без больших потрясений, в стране, где уже существуют демократические традиции. Но в революционное время с его почти непрерывными скачками настроений такой устойчивости быть не может, и представительство различных социальных слоев легко могло стать фиктивным, в особенности в стране без демократической традиции, какой была — и, к несчастью, остается — Россия. Так это и произошло. И это чувствовалось если не с самого начала, то все же чувствовалось еще в то время, о котором рассказывает Церетели. Лидеры, поглощенные работой в политическом центре страны и главным образом, так сказать, на высшем эшелоне ее политической жизни, если и замечали фиктивность своего «представительства», то лишь со значительным опозданием. От этого недостатка не был свободен и Церетели. Я помню, как, когда уже очень явственными были проявления враждебности крестьянства по отношению к рабочим, я, при всем своем глубоком уважении к Церетели, не удержался от такой остроты: — «Что такое соглашение пролетариата и крестьянства? Это значит, что Церетели о чем-нибудь сговорился с Черновым».

Конечно, Церетели был прав, когда он стал настаивать, что нельзя осуществлять власть без принуждения, только разумными рассуждениями и моральным воздействием, отвечая на вооруженные выступления воззваниями. Но сначала он встретил упорное сопротивление со стороны своих же ближайших единомышленников и остался в меньшинстве. Я, кстати сказать, был очень удивлен, узнав из рассказа Церетели,

что его главным оппонентом по этому вопросу был Ф. И. Дан, от которого, при его характере, было бы естественно ожидать склонности к более твердой позиции. Как писал Церетели в своих статьях, напечатанных как приложение, «История вряд ли знает другой такой пример, когда политические партии, получив так много доказательств доверия со стороны подавляющего большинства населения, выказали бы так мало склонности стать у власти», а потом «революционная демократия... обнаруживала все меньше и меньше воли к власти». (Книга вторая, стр. 403 и 415). При таких условиях нельзя удивляться, что «революционной демократии» так до конца и не удалось создать твердую государственную власть.

Трудно представить себе революционные партии без воли к власти. Но в России и, в особенности, для русских марксистов это было возможно благодаря доктрине, согласно которой в данный период революция могла быть только «буржуазной», и задачей рабочего класса было, так сказать, привести к власти буржуазию (стараясь в то же время осуществить как можно больше политической демократии). На своем первом выступлении в Рабочей секции Петроградского совета Церетели говорил: «Вы поняли, что совершается буржуазная революция, что она составляет этап социальной революции и что надо прежде всего укрепиться на этом этапе, чтобы дальше двинуть развитие всей России, развитие всего человечества к светлым идеалам социализма. Властью завладела буржуазия. Вы передали буржуазии эту власть, но вместе с тем вы стали на страже вновь добытой свободы»... (Книга первая, стр. 96). Те силы, которые в течение нескольких месяцев фактически возглавлял Церетели, пошли по этому пути, хотя потом им пришлось в некоторой мере преодолеть свое отталкивание от власти. Так создалось положение, когда буржуазия на самом деле властью не овладела, потому что у нее на это не было силы, а те силы, которые могли стать властью, этого не хотели. Был ли возможен другой путь, который спас бы **демократическую** революцию, предотвратив большевизм? Я этого не знаю. И тогда не знал и теперь не знаю. Вернее: если бы я и мог теоретически представить себе такой спасительный путь, я бы не смог этого доказать, как это обычно бывает с вопросами: «что было бы, если бы было иначе»? Церетели считал правильным тот путь, который он обрисовал в своей речи. Он «чувствовал... внутреннюю психологическую трудность подчеркивать перед рабочими буржуазный характер революции», но считал, что «надо было напрячь все силы, что-

бы удержать рабочий класс на этом пути» (там же, стр. 37). И он напряг все силы, доведя себя этим напряжением до полного истощения. Это был тяжкий труд, бескорыстный и самоотверженный, отвечавший тому благородству, которое словно излучалось его личностью. И этому труду Церетели сам поставил достойный памятник своими «Воспоминаниями».

Ю. Денике

О СУЩНОСТИ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

В апреле сего года, в Нью-Йорке состоялся первый съезд американских славистов, большинство из которых являются так называемыми экспертами по делам Восточной Европы, в особенности СССР. На этом съезде произошли довольно неожиданные прения по вопросу о том: к какой категории государств надо относить Советский Союз в настоящее время. Основной доклад прочитал профессор Принстонского университета Кирилл Блак. На этом съезде почти не было лиц русского происхождения; это не случайное явление — в Америке твердо укоренилось убеждение, что при изучении какой бы то ни было культуры следует избегать лиц, которые как бы выросли в нее т. е. в ней родились и в ней выросли. Поэтому, обсуждение велось исключительно лицами, которые в России не родились и с Россией связаны лишь очень поверхностно.

Профессор Блак представил свой доклад в форме нескольких вводных тезисов и затем сравнил их с действительным положением вещей в СССР. Блак не объяснил, как он вывел свои тезисы, но очевидно он считал их вполне отвечающими идеям о современном государстве и в то же время воплощенными сейчас в Советском Союзе. В список критериев современного государства докладчик внес следующие пункты. Во-первых, государство должно быть способно воспринимать и приспособлять к своим нуждам современные идеи. Во-вторых, власть в государстве должна быть не традиционной, т. е., иными словами, не поддерживать каких бы то ни было традиционных форм правления и социального строя. В-третьих, население государства должно состоять по крайней мере на 75 процентов из лиц не занятых в сельском хозяйстве. В-четвертых, (этот пункт довольно неясен) оно должно сочувствовать идее международной интеграции.

Доклад вызвал довольно оживленные прения, при чем большинство выступавших по докладу сочувственно отнес-

лись и к тезисам профессора Блака, и к их применению к советской действительности.

Как уже было сказано, профессор Блак не объяснил каким образом он пришел к выставленному им списку, но очень трудно понять, каким образом он смог совершенно уклониться от обсуждения политических форм государственного устройства. Неужели же эти формы безразличны для суждения о том, является ли данное государство современным или нет? В особенности удивляет то, что профессор Блак никак не отметил принципа демократии, который несомненно является одним из современных достижений в государственной и общественной жизни.

Удивительно также и то, что среди участников съезда лишь очень немногие отметили этот пункт и потому большинство выступавших не стало отрицать, что Блак прав, называя советское государство современным. Между тем, если был бы поставлен вопрос о демократии, то как никак профессор Блак, да и все другие должны бы были придти к выводу, что СССР никоим образом современным государством не является.

Рассмотрим этот вопрос с разных сторон. Прежде всего, демократия предполагает такой образ правления, при котором государственная власть отражает в основе господствующие настроения в обществе. Не станет же профессор Блак утверждать, что СССР действительно устроен так, чтобы этому принципу соответствовать. Все знают, и Блак не хуже других, ибо он в частности был главным редактором сборника статей, которые были построены на основе докладов, сделанных несколько лет тому назад на конференции о постоянных и меняющихся сторонах жизни Советского Союза. Профессор Блак конечно знает, что так называемые органы советского государства никак не могут считаться отражающими общественные настроения, иными словами, общественное мнение, которого в Советском Союзе конечно и не имеется. Всем известно, как выбираются Советы депутатов, включая и Верховный Совет СССР, и все знают, что не в этом органе принимаются решения о направлении политики. Хрущев, например, никого не спрашивал, когда порвал с прежней линией отрицания во что бы то ни стало всяких достоинств за западными государствами.

Затем, надо обратиться к рассмотрению отдельных свобод, которые должны существовать в государстве, чтобы оно имело право называться демократическим. Прежде всего — неприкосновенность личности. Мы отлично знаем, что хотя

сейчас арестов и ссылок гораздо меньше чем было лет десять тому назад, при Сталине, но их все-таки много. Если кто в этом сомневается, пусть вдумается в недавно нашумевший инцидент с профессором Баргхорном. Его арестовали без всякого видимого повода и выпустили просто потому, что политические условия или вернее условия на международной арене не допускали внезапного ухудшения отношений с США. Возьмем другие свободы. Начнем хотя бы со свободы религии. В настоящее время нет сомнения, что в СССР поднялась волна новых гонений. Закрываются духовные семинарии, распускаются монастыри, в частности фактически уже закрыта Почаевская Лавра, еще один монастырь в Бессарабии, а сейчас нависла угроза над семинарией в районе Минска, в Жировицах. За последние годы, туда уже не принимают новых студентов, и семинарии осталось жить вероятно всего год-два. Затем принимаются все более и более радикальные меры, чтобы отделить молодежь от верующих стариков, т. е. иными словами, от тех людей, которые по партийному убеждению являются представителями всего отжившего. Родителей иногда судят за неправильное воспитание их детей, за то, что они не пускают их в пионерские и комсомольские организации. Есть указания и на то, что в некоторых местах иногда органы власти мешают священнослужителям начинать богослужение до тех пор, пока не удостоверятся, что ни одного молодого человека в церкви нет.

Возьмем другие свободы — свободу мысли устной, письменной или печатной. Конечно, ее нет и в помине. Думать каждый может по своему, но распространять свои мысли он не смеет, потому что это сейчас же вызовет более или менее строгие репрессии. В этом отношении, сравнительно мало переменялось, если сопоставить наши дни с днями Сталина. Никто, например, не мог бы выступить с заявлением о том, что коммунистический идеал далеко не единственный возможный и что следовало бы России перейти на другие пути.

В науке дело обстоит сейчас так: физико-математические науки почти совсем освобождены от давления власти, которая при Сталине решала, что верно и что неверно в современных научных теориях. Здесь теперь достигнута своего рода свобода исследований, на том простом основании, что без этого нельзя бы было продвигаться по пути вооружений и использования естественных ресурсов России для целей победы коммунизма в международном масштабе. Интересно од-

нако, что в области биологии, где одно время безраздельно господствовал Лысенко, как будто бы теперь сняты запрещения с инакомыслящих, но положение Лысенко в советском государстве изменяется зигзагообразно, соответствуя очевидно той или иной политике. В области психологии принято за истину учение Павлова, который конечно сделал громадный вклад в науку психологии, хотя психологом не был. Он на самом деле создал лишь биологическую теорию, которая потом была применена и к психологии. Но наука ведь не стоит: делу Павлова теперь уже более полувека, а за это время знания в сфере биологии и психологии существенно продвинулись вперед.

В области гуманитарных наук, таких как история, социология, экономика, право и т. д., свободы конечно нет. Никто не смел бы, например, провозгласить предпочтительность строя свободной экономики, сравнительно со строем коммунистическим. Все это отражается на всех социальных и гуманитарных науках, и здесь — полный застой. Я лучше всего знаком с состоянием социологии, которая до недавнего времени, правда, приравнивалась в Советском Союзе к проведению дедуктивным порядком выводов из марксизма применительно к строению государства и общества. Сейчас разрешаются некоторые исследовательские работы, но то что делается в СССР все-таки совершенно ничтожно по сравнению с тем, что делается на Западе.

В литературе также замечаются колебания вверх и вниз к большей и меньшей свободе. Сейчас, конечно писателям и поэтам несколько легче, чем было при Сталине, но еще остается огромная дистанция до подлинной свободы.

Таким образом, можно сказать, что по всем пунктам, определяющим демократию, Советскому Союзу никак нельзя поставить ту высокую отметку, которую дает ему профессор Блак. Весьма сомнительно утверждение, что Советский Союз ведет борьбу с какими-то устарелыми мыслями, с какими-то устарелыми формами, и теми правительствами, которые на последних настаивают.

Далее, надо сказать, что профессор Блак не пожелал остановиться на социальном составе населения Советского Союза. По его критерию, современное государство должно иметь в составе своего населения свыше 75% людей, не занятых в сельском хозяйстве. Этого несомненно нет в Советском Союзе. Конечно процент городского населения, сравни-

тельно с дореволюционным временем, сильно вырос. Последняя перепись 1959 г. показала 52% населения в сельских местностях. Прошло с тех пор пять лет, но за эти пять лет больших перемен произойти не могло, тем более, что за эти годы темп индустриализации значительно замедлился. Сколько сейчас в СССР лиц занятых вне сельского хозяйства мы не знаем и вероятно придется ждать еще лет пять, пока будет следующая перепись, а до тех пор можно только гадать, какой процент населения работает в промышленности, в торговле, в науке, в технике и т. д. Несомненно всех этих людей гораздо меньше чем 75%, требуемых профессором Блаком.

Что же касается вопроса об интеграции Советского Союза в международном обществе, то этот пункт так неясно формулирован профессором Блаком, что я отказываюсь по нему высказать какое бы то ни было мнение.

В прениях по докладу, наиболее строгим критиком профессора Блака оказался профессор Тредголд из университета штата Вашингтон. По его словам, если применять критерии Блака, то придется приписать свойства самого современного государства Кувэиту, крошечному арабскому государству в северо-западном углу Персидского залива, которое природой одарено исключительно богатыми залежами «черного золота», т. е. нефти. В этом отношении Кувэйт напоминает наш Бакинский район, а население, конечно, не может быть земледельческим потому, что весь Кувэйт совершенно не имеет никаких подходящих к обработке земель. Это кусочек аравийской пустыни, на котором развилась бурно, при помощи европейского капитала, в особенности английского, промышленность, дающая шейху возможность не собирать налоги, а наоборот распределять кое-какие суммы между населением. Похоже это немножко и на княжество Монако, которое до недавнего времени имело возможность распределять доходы от рулетки между своими подданными.

По свидетельству присутствовавших на съезде общее настроение было в пользу тезисов профессора Блака. В частных беседах, некоторые ученые проводили мысль, что приход к власти большевиков был неизбежен, т. к. дореволюционная Россия была гораздо хуже, нежели рисовалась кадетами и умеренными социалистами. Чем объяснить такое отношение присутствующих к докладу профессора Блака? Мне кажется, что позиция Блака и защита его тезисов лучше всего объясняется общей тенденцией американцев верить в благопри-

ятные для себя измененья в окружающем мире. Теперь, после поворота Хрущева, если можно так выразиться, «лицом к западу», кажется желательным отстранять всякие враждебные и пессимистические оценки того, что делается в Советском Союзе. Это очень напоминает времена второй мировой войны, когда американское правительство косвенно влияло на издателей, стараясь задержать книги и статьи, в которых выражались весьма отрицательные мысли по поводу Советского Союза. В частности, мне самому пришлось испытать это давление при издании моей книги о «Религии в Советском Союзе». К счастью, издатель настоял на своем, и книга вышла без искажений. Эта общая тенденция американцев, поворачиваться лицом к более благоприятным процессам в международных отношениях, делает весьма трудной борьбу с суждениями неприемлемыми для тех, кто несколько глубже понимает и проникает в дела Советского Союза. Интересно, что после второй мировой войны, в Америку хлынула большая волна новой эмиграции, среди которой попадались лица просвещенные и исполненные добрых намерений, которые хотели открыть глаза Западу. Они утверждали, что вопреки мнению Запада, в Советском Союзе нет ни свободы, ни благосостояния, и что благоприятные суждения иностранцев о Советском Союзе построены на песке. Но убеждать в этом экспертов было не нужно, потому что они это знали, а убеждать мало осведомленных обывателей дело чрезвычайно трудное, ибо их мнение всегда основано на эмоциональных соображениях. Правда, в настоящее время есть мало оснований опасаться в ближайшее время третьей мировой войны, потому что Хрущев, насколько можно понимать, этой войны действительно не хочет; ему все-таки уже за 70 лет, и вряд ли ему хочется подвергнуть риску уничтожения то государство, где он вырос, и где сделал свою головокружительную карьеру. Но Хрущев смертен, а кто будет после него, мы не знаем. В заграничной печати уже обсуждаются кандидатуры отдельных лиц, но мы все знаем, что такие предсказания чрезвычайно ненадежны: ни разу, после смерти единодержавных вождей Советского Союза к власти не пришел тот, кого умерший вождь выдвигал в свои преемники. Ленин оставил завещание, по которому только не Сталин должен был стать его наследником, и именно Сталин им стал. Сталин несомненно выдвигал себе в преемники Маленкова, но Маленков вместе с Молотовым и Кагановичем исключены из партии, и никакой роли не играют, и вряд

ли когда-нибудь будут играть. В коммунистических партиях второстепенных государств ощущается раскол между последователями Хрущева и последователями Мао, который настаивает на войне, как единственном средстве вызвать коммунистическую революцию.

Но довольно гадать о будущем — хорошо известно, что в социальной сфере предсказания будущего чрезвычайно затруднительны, если не вовсе невозможны. Вернемся к докладу профессора Блака, который в сущности ведь не занимается предсказаниями, а как бы дает диагноз того, что сейчас есть. Это вполне под силу социальным наукам, но как было уже сказано, диагноз Блака несомненно неправилен. Если называть СССР современным государством, то это только возможно в смысле хронологическом. Да, СССР во времени существует одновременно с нами, но существует одновременно с нами и Кувэйт и многочисленные вновь возникшие африканские государства. Современный СССР является современным государством лишь в том же самом смысле, в каком современны и Кувэйт и центрально-африканские республики.

Н. С. Тимашев

ПЕРВОПЕЧАТНИК ФЕДОРОВ

Мало кто из москвичей, спешивших по Театральному проезду, приглядывался к памятнику маячившему в одиночестве в небольшом скверике подле самой стены Китай-города. Возведенный в 1909 г. по проекту скульптора Волнухина, памятник изображал застывшего в несколько театральной позе молодого еще человека, в красивом кафтане 16-го века, с интересом рассматривавшего какой-то развернутый лист бумаги, сравнивая его, повидимому, с тут же находившейся типографской доской, с которой лист был очевидно оттиснут. Так был изображен «на радость векам» «первопечатник» Федоров, тогда как значительно более живой и художественный проект, проживавшего в Париже, известного русского ваятеля Антокольского, предлагавшего показать Федорова в виде энергичного, увлеченного своей задачей типографского рабочего, был высочайше забракован.

Место для памятника было выбрано очень удачно, ибо тут же за проломом в стене Китай-города начинался так называемый «книжный развал» — лавки и лари московских «книжников и фарисеев», которые шли от этого пролома вдоль всей старинной стены вплоть до Ильинских Ворот. Здесь велась оживленная торговля старыми книгами, рукописями, лубочными картинками и т. п., а прямо из пролома дорога вела мимо памятного москвичам ресторана «Славянский базар» (где обычно собирали «на чашку чая» своих кредиторов впавшие в неоплатность крупные московские купцы) на Никольскую улицу облюбованную большими книжными антиквариатами.

Все это было, конечно, до Октября. Теперь неосмысленная политика советского урбанизма привела к срытию сохранившихся характерных для столицы стен Китай-города, этой «средней крепости» Москвы, да и самый памятник Федорова, как будто наследуя судьбу самого «первопечатника», всю жизнь гонимого с места на место, был перенесен ближе к Лубянской площади. Широкий постамент его, насколько можно

судить по разным снимкам в советских изданиях, служит теперь для отдыха гуляющих, будучи, вероятно, более удобным для этого, чем окружающие памятник скамейки.



Прежде чем говорить о личности Федорова необходимо однако уточнить самое именование его «первопечатником». Дело в том, что до появления в 1564 г. его первого детища «Апостола», с которого обыкновенно ведут историю русского книгопечатания, в Москве уже делались попытки завести типографское дело. Так еще в конце 15-го века любский, т. е. из Любека, печатник Готан оставил следы своей типографской работы, прерванной однако его насильственной смертью, связанной повидимому с другой его работой, но уже в качестве тайного агента приславшей его державы. Был позднее — в 1551 г. — временно на типографской работе в Москве и датчанин Бокбиндер. Были и другие анонимные мастера, выпустившие незадолго до «Апостола» несколько печатных книг, в изготовлении которых, может быть, принимал участие и Федоров. Во всяком случае к этому времени он уже стал известен, как человек начитанный в святоотеческой и в современной ему литературе, да к тому же он, как истый представитель века «Ренессанса» знал помимо типографского дела и ряд других ремесел, будучи и ловким столяром, и резчиком по дереву и металлу, и переплетчиком, и маляром. Этих же знаний он позднее строго требовал и от своих сотрудников и учеников, которых он тогда именовал своими «клеветрами».

Юный, не ставший еще «грозным» царь Иван Васильевич, по свидетельству самого Федорова, «начат помышляти како бы изложити печатные книги якоже в Греках, и в Венеции, и во Фригии (т. е. Италии) и в прочих языцех, дабы впредь святые книги изложилися праведне, и тако возвещает мысль свою преосвященному Макарию, митрополиту всея Руси. Святитель же слышав зело возрадовася». Книги, о которых упоминает Федоров, находились в библиотеках ближайших друзей и сотрудников царя: ученого Афонского монаха Максима Грека, Арсения, «многоученого» благовещенского священника Сильвестра, Медведева и других. Близок к этому кругу, названному князем Курбским «Избранной Радой» был и диакон Федоров, особенно хорошо осведомленный в книгах греческих. «Благоверный же царь, продолжает свое повествование Федоров, повеле устроити дом от своя царския каз-

ны, идеже печатному делу устроитися и нещадно даяше от своих царских сокровищ делателям: Николая Чудотворца Гостунскому диакону Ивану Федорову да Петру Тимофееву Мстиславцу — на составление печатному делу...»

В мысли об устройстве своей «друкарни», как тогда называли типографию, укрепил вероятно царя Максим Грек, большой ценитель изданий великого венецианского печатника Альдо Мануция и вообще восторженный любитель книги, как видно, например, по его письму к князю П. И. Шуйскому, когда Максиму Греку удалось выбраться с Афона в Москву: «благодати прошу у вашего велелепия, писал он всесильному воеводе, отдадите ми яже со мною с Афона пришедшие книги греческие — на просвещение и утешение духовное окаянной душе моей. Покажите ко мне... христианскую милость...»

Действительно, царь Иван «дабы его царство украшено и исполнилось словом Божиим повелел, продолжает свой рассказ Федоров, составить в Москве штанбу, сиречь дело печатных книг ко очищению и ко исправлению ненаученых и неискусных в разуме книгописец...»

Решение царя Ивана ввести существовавшее уже более ста лет в Европе книгопечатание было обосновано двумя главными соображениями. Прежде всего книга, как таковая, являлась первостатейным орудием идеологического воздействия на народ, что стало особенно необходимо по мере роста государства и развития в нем ремесл и торговли. Вместе с тем из-за неисправности имевшихся богослужебных книг, размножаемых от руки и потому часто выходявших в искаженном виде, — эта неисправность была уже отмечена постановлением Стоглавого Собора в 1551 г. — государственная власть была заинтересована в централизации таких изданий и сосредоточении в его руках цензуры производимых исправлений, которые без того были делом не всегда сведущих лиц и вносили сумятицу в умы верующих.

Выбор Ивана сделан был надо думать по рекомендации знавшего Федорова и высоко ценившего его энтузиазм и преданность делу книгопечатания митрополита Макария, близкого друга царя еще с отроческих лет. «Печатный Двор» был открыт на Никольской улице рядом с греческим Никольским монастырем, где Федоров со своими помощниками стал готовить немедленно издание «Деяний и послания Апостолов», вышедшее, действительно, в 1564 г. Большая книга, так называемый «Апостол», в 267 страниц, напечатанная полуустав-

ным письмом отличалась необыкновенной тщательностью работы: чистота и отчетливый шрифт, изящество украшений, причем все прописные буквы, вставки и т. п. были сделаны киноварью, т. е. красной типографской краской; отличная бумага тоже, словом, весь вид издания вполне оправдал надежды царя, не жалевшего денег на затейное начинание. Федоров говорил, что царь средства давал «нещадно» на высокое достижение печатного искусства.

До сих пор остается невыясненным, где Федоров мог научиться мастерству, которое он показал на первом же, выпестованном им и его «клеветами» детище. И красота бумаги, и формат, и выбаротка киновари, и подгонка ее к черному типографскому шрифту, и самый шрифт этот, и умение использовать орнаменты — все делало выпещенный им «Апостол» совершенно исключительным произведением печатного станка, свидетельствующим о высоком типографском умении, проявленном первопечатником.

Экземпляр этого произведения хранится сейчас как редчайший и драгоценный памятник русского печатного искусства в Публичной библиотеке в Москве, став образцом для дальнейших печатных, а отчасти и рукописных произведений. Через год после его выхода был отпечатан столь же тщательно и бережно отделанный «Часослов», после чего деятельность Федорова была однако прервана драматически для него обернувшимся возмущением москвичей.

Правда, это событие в жизни «первопечатника» за отсутствием точных сведений не может быть всесторонне выяснено. Появление «централизованно» изданных богослужебных книг, естественно, вызвало сильное недовольство прежде всего духовенства, так как писание духовных книг было до того его монополией, которой был положен конец учреждением казенной типографии. Самовольному изготовлению богослужебных книг работа «Печатного Двора» стала помехой, все увеличивавшейся по мере роста деятельности «Двора». Печатники, а позднее их стало до 150 человек, заселивших даже целую «Слободу» между Цветным бульваром и Сретенкой и бывших в определенные дни гостями Патриаршего Двора, потчивавшего их тогда обедом и питьем, пивом и медом, сделались бельмом на глазу у всех, живших до того за счет от руки изготовленных богослужебных книг. Писцы эти были защитниками рукописменности и гонителями губительных для них нововведений.

С другой стороны среди боярства всегда была группа лиц недовольных введением новых людей в ближайшее окружение царя. Воспользовавшись нерасположением этой «Избранной Рады» к любимой жене Ивана Анастасии из рода Юрьевых, шептуны стали распространять слухи о намерении «Рады» отравить царицу. Когда вскоре она занемогла и умерла царь, поверив наветам, порвал со своими бывшими любимцами, которые подверглись всяким гонениям. Так Адашев был выслан в Ливонию, где вскоре и умер, Сильвестр заточен в Соловецкий монастырь, Курбский сам «от царского гнева бежал». Попал в немилость и дьякон Федоров, против которого, как «справщика» богослужебных книг, было выдвинуто обвинение в ереси.

С первых же шагов работы Федорова по изготовлению печатных богослужебных книг, росло недовольство им среди так называемых дельцов Спасского Моста, большого каменного на арках моста через ров, отделявшего Кремль от Китай-города у Спасских ворот. Мост был в 21 сажень длины и весь застроен по бокам небольшими деревянными торговыми лавками, где основным товаром была так называемая «грамотность», т. е. рукописные, а потом и печатные книги и тетради, лубочные картины и фряжские листы, как тогда называли иноземные гравюры. (Первая русская гравюра на меди появилась в 1647 г.). Главными изготовителями рукописной божественной литературы были всякие отставленные священнослужители, монахи, да и просто грамотные люди, занимавшиеся на «мосту» «походячей» торговлей, т. е. в разнос, подчас составляя сплошную толпу. Одно из Соборных постановлений говорило о них: «На Москве всяких чинов люди пишут в тетрадях и на листах выписки, имянуя их из книг божественного писания и продают их у Спасских ворот... и в тех писмах является многая ложь». Вызвать открытое возмущение среди такого элемента было делом не хитрым и натравленная подстрекателями и всегда готовая жечь и грабить чернь бросилась громить Печатный Двор.

Достоверных описаний этого события нет, но английский посол при Дворе Федора Иоанновича Джильс Флетчер, автор известного сочинения «О государстве русском» писал, повествуя об учиненном разгроме, что, хотя типография и существовала «к величайшему удовольствию царя», но духовенство, которое по его характеристике, «не имеет совершенно никаких сведений ни в других предметах, ни в слове Божиим,

а потому старается всеми средствами воспрепятствовать распространению просвещения», «постаралось» и типография была подожжена. Федорову с детьми и некоторыми сотрудниками пришлось спасаться бегством из Москвы в Литву к гетману Ходкевичу, прихватив, что успел из неповрежденного имущества типографии. Оставшаяся утварь была учениками его перевезена к царю в слободу Александровскую, где они и продолжали свою деятельность, позднее перенесенную снова в Москву. «Клевреты» Федорова Тимофеев и другой Андроник, по прозвищу «Невежа» отпечатали «Учебную Псалтирь» и ряд других книг.

**
*

Основными сведениями для выяснения обстоятельств жизни и деятельности Федорова служат им же составленные введения и послесловия к большинству изданных им книг. Обыкновенно, можно сказать, просто неоценимое. Прекрасное литературное изложение событий, позволяет по стилю, а иногда и по отдельным оборотам речи делать догадки о том, что к этому приложил руку сам митрополит Макарий. Разбросанные по отдельным книгам сведения — почти единственный источник материала о Федорове и его деле, во всяком случае, пока он находился в пределах Руси. Он их сам собрал в помещенную им в послесловии к Львовскому «Апостолу» «Повесть откуда начася и како свершися друкарня сия». Вопросы, которых он сам не затронул, так и поныне остаются невыясненными, несмотря на то, что, как видно из сводки, помещенной в вышедшем в Москве в 1933 г. сборнике памяти первопечатника насчитывается более 400 русских и 125 иностранных, большею частью польских и украинских, книг и статей касающихся Федорова.

Непонятным остается до сих пор и то, где мог этот русский самородок изучить печатное дело, да еще в доказанном его изданиями совершенстве. Самое происхождение Федорова остается тоже невыясненным, хотя некоторые исследователи, увлекаясь включением самим Федоровым в свой типографский герб «топора» — эмблемы боярского сына Рогозы, от которого ведут свой род дворяне Рогозины, бездоказательно относят Федорова к этому роду.

Причины бегства Федорова из Москвы ярко изложены им в следующих строках послесловия к изданному им в 1574 году в Львове «Апостолу»: ...«ради презельного озлобления,

пишет он, часто случающегося не от самого того государя, но от многих начальники, священноначальники и учителя, которые на нас зависти ради многие ереси умышляли хотяче благое в зло превратити и Божие дело в конец погубити, якоже обычай есть злонравных и ненаученых и неискусных в разуме человек... зависть и ненависть нас от земли и отечества и от рода нашего изгна и в иные страны незнаемы пресели...» Так повествовал этот незлобивый и уверенный в своем назначении «раздавать духовную пищу» друкарь.

Виленский каштелян, гетман Ходкевич с согласия польского короля Сигизмунда-Августа принял беглецов с большим радушием — «прия нас, свидетельствует сам Федоров, любезно в своей благоуспешной любви». Он даже подарил Федорову «весь немалую» в Заблудове, в 240 верстах от Вильны, где тот мог открыть новую типографию и приступить немедленно к работе. Здесь он выпустил в 1569 г. «Учительное Евангелие», а затем через год «Следованную Псалтирь с Часословцем». Однако судьба преследовала Федорова новыми неприятностями. Гетман Ходкевич из-за политических осложнений, а главное «егда же прииде в глубоку старость и начаете болезнью одержимы бывати» вынужден был сократить свои расходы, а без его денежной поддержки Федоров вести дело не мог. Он перешел было временно на положение сельского хозяина, но работа эта была ему не под силу, да и не хотел он «скрыть в земле таланта от Бога дарованного». Влекомый своим призванием к «богоизбранному делу, вместо житных семян духовные семена по вселенной рассевати», он собрался снова в путь и в самый разгар моровой язвы потащился с детьми, домашним скарбом и типографским имуществом во Львов, надеясь там устроиться более счастливо.

**
*

Во Львове, куда он прибыл преодолев тяжелый путь, который, по его выражению, «окружил его тенью смерти», Федоров обратился за помощью к жителям, выпрашивая у них «со слезами и унижением» даяния. Мольбы его помочь ему оборудовать типографию не возымели успеха у зажиточных слоев населения, которых он думал уговорить. «Метания сотворяя коленом касаясь помощи прося не умолих многослезным рыданием», вспоминал об этой поре Федоров. Не откликнулись, как он писал, «ни русские, ни греки, ни купцы, ни священники». Помогли энтузиасту в его беде «демократиче-

ские» круги, городские мещане, «не от избытка, а от лишения своего», писал он. На собранные скромные средства Федоров открыл «друкарню», где им и был выпущен в 1574 г. в новом издании, но тем же московским шрифтом «Апостол», а также и «Азбука с грамматикой» обнаруженная в недавнее время, и принадлежавшая Дягилеву и упомянутая в посвященной ему монографии С. Лифаря. Книга эта досталась затем по наследству Б. Е. Кохно, а теперь попала в библиотеку Гарвардского Университета в США. Небольшая, изящно изданная книга эта особенно интересна, так как является первым русским печатным учебником грамоты. Федоров обнаружил здесь свой дар педагога, создав «ради скорого младенческого изучения», великолепный учебник, от начальных страниц с алфавитом до заканчивавших книжку примеров сведений по грамматике, как он в послесловии и подчеркивает, называя свое произведение: «от грамматики мало нечто», и посвящая свой труд «возлюбленному, честному христианскому русскому народу». Есть указания, что подобная «малая книжица, по реченому алфавитица» была поднесена сыном Федорова Иваном-переплетчиком царевичу Алексею Михайловичу.

Но мытарства в жизни Федорова не прекращались. Возникали всякого рода неприятности, помимо и чисто денежных затруднений. Так ему пришлось тяжело бороться с цехом столяров, не позволявшим Федорову держать в типографии своего столяра. Докучали ему и кредиторы, когда он не успевал к сроку уплатить должное из-за задержки денег за поставленные им книготорговцам издания. Пришлось ему опять бросить заведенное дело и искать, где бы он мог передохнуть. На сей раз Федоров отправился к крупному украинскому магнату и ревнителю православия князю Константину Острожскому, в типографии которого он мог заняться прославившей имя Федорова так называемой «Острожской Библией».

Этот вышедший в 1580 г. «овощ от дому печатного своего», как он говорил, увенчал его деятельность, после того, как он успел еще напечатать тут «Новый завет с Псалтирью» и «Хронологию Андрея Рымши». Федоров собрал в одну книгу «Ветхий и Новый Заветы» в переводе исправленном против признанного католической церковью текста, так называемой «Вульгаты» и тем создал издание ставшее эпохальным в истории русской печатной книги. Как всегда, в книге почти не было опечаток, строки все безукоризненно прямые, заставки,

концовки, инициалы и все украшения, на которых сказалось некоторое влияние немецких изданий, красочны и красивы. Внося исправления в текст Федоров шел «с веком наравне», ибо в эту эпоху много делалось реформаторами попыток и в западной литературе вносить исправления в старый установленный текст, в дальнейшем однако снова восстановленный в качестве основного и общепризнанного Трентским Собором.

Закончив работу над «Острожской Библией» Федоров отдался своим обязанностям в качестве управляющего князя и даже лично принимал участие и притом весьма деятельное в набегах на княжеских соседей, у которых отбирал скарб, упряжь и скот. И все же снова пришлось ему покинуть своего хозяина и снова менять покровителей, скитаясь по разным городам. Помогло ему тут знание литейного дела и на службе у польского короля Стефана Батория он лил для него пушки, которые, возможно, и были использованы поляками в их борьбе с московскими войсками. В конце этих скитаний Федоров снова попал во Львов, где и умер, оставив своим сыновьям по тому времени значительное наследство, но привести его в порядок было делом нелегким. С одной стороны оказалось не мало должников, забиравших издаваемые им книги, но весьма туго за них плативших. С другой — осталось за ним много долгов, главным образом за бумагу, но и по заемным письмам. Большинство кредиторов были христиане, не замедлившие однако предъявить свои требования и наложить арест на оставшееся типографское имущество, как только Федоров умер. Единственным доброжелательным заимодавцем оказался еврей Якубович, один из крупнейших кредиторов, удовлетворившийся поручительством сына «первопечатника», тоже Ивана, так называемого «переплетчика». Расчеты с другими кредиторами были много сложнее и, например, седельник Сашка Сенькович при разборе дела в городском суде не удовлетворился судебным производством, но избил Ивана-переплетчика в кровь, поранив ему голову и правую ладонь.

Попавшая в конце концов в руки кредиторов типография Федорова была выкуплена львовским православным епископом Гедеоном совместно с львовскими мещанами, чтобы «тот скарб до чужей земле не выношася». Типография эта послужила основанием открытого в Львове русского ставропигийского института, которому польские короли даровали монополию на печатание русско-славянских книг.

Похоронен Федоров был в Онуфриевской церкви Васили-

анского монастыря во Львове, где в 1817 г. была впервые обнаружена среди других плит, использованных для замощения внутреннего двора монастыря, могильная плита с надписью: «Иоан Федорович, друкарь москвитин, который своим тщанием друкование обнови, преставися 6 декабря 1583 г.» Известный археолог, гр. Уваров в бытность свою в 1875 г. во Львове, заказал с плиты слепок и привез его в Москву, где он и находится теперь в библиотеке бывшей Синодальной Типографии. Самая плита однако с течением времени стала рассыпаться, а не то замурована где то полуистертая. Во всяком случае сейчас от места упокоения «друкаря книг предтым невиданных», как было сказано на той же плите, следов, несмотря на розыски, больше не оказалось. Сужденные Федорову гонения судьбы преследовали и прах «первопечатника». Как справедливо поэтому звучат значившиеся на ленте одного из возложенных при открытии памятника в 1909 г. венков слова: «первому мученику русской печати».

Александр Шик

П. П. СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ

В этом году исполняется 50-летие со дня кончины известного ученого и общественного деятеля П. П. Семенова-Тян-Шанского. Мы обратились к сыну П. П. — Валерию Петровичу — с просьбой написать для «Н. Ж.» статью о П. П. И с удовольствием эту его статью печатаем. *РЕД.*

П. П. Семёнов-Тян-Шанский родился в имении Урусово, Рязанской губернии 2 января старого стиля 1827 г. В возрасте 5 лет он потерял отца (гвардейского офицера, героя Бородина) и остался на попечении матери, которая под влиянием неожиданной смерти мужа заболела психически. Ее трое детей были помещены в закрытые учебные заведения. Младший из них, П. П. Семёнов в 15-тилетнем возрасте (в 1842 г.) поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, впоследствии Николаевское Кавалерийское училище. 18-ти лет он окончил эту школу первым (был записан на мраморную доску), но решил не идти на военную службу, а поступить в Петербургский университет (по естественно-историческому отделению), куда и был принят после дополнительного экзамена. В три года (в 1848 г. в возрасте 21 года) он окончил там курс со степенью кандидата естественных наук. В 1851 г. защитил диссертацию «Придонская флора и ее отношение к растительности Европейской России» (такое исследование было поручено П. П. Семёнову и его другу Н. Я. Данилевскому Вольно-экономическим Обществом), получив степень магистра ботаники. В том же году он женился. В конце 1852 г. у него родился сын Дмитрий (жена его вскоре скончалась от скоротечной чахотки).

Несмотря на очень тяжелые детство и юность, П. П. всегда руководился таким принципом: «когда с человеком случаются какие-либо жизненные катастрофы, не следует впадать в уныние; надо зрело обдумать сложившиеся обстоятельства, поставить точку и сказать себе: отсюда начинается новая фаза жизни». Едва оправившийся от тяжкой болезни (менингит), П. П. был послан врачами за границу для укрепления здоровья.

Приехав в Германию, он совершил небольшое путешествие по Гарцу, посетил города по Рейну (Кельн, Майнц, Бонн), затем во Франции — Страсбург, Вогезы, Париж, и к началу летнего семестра 1853 г. прибыл в Берлин, где зачислился в студенты университета и слушал лекции по геологии, метеорологии, химии, географии (знаменитый Карл Риттер), истории и даже китайского языка. Еще в России, П. П. был хорошо знаком с известным произведением Риттера «*Die Erdkunde*», переводя весь этот многотомный труд на русский язык для Императорского Русского Географического Общества со своими большими дополнениями, вызванными тем, что сведения К. Риттера о Центральной Азии заканчивались 1832 годом. Этот труд был постепенно издан Географическим Обществом. Достоинства этого труда были хорошо известны К. Риттеру, и потому всех молодых ученых, интересовавшихся географией Азии, он направлял к своему переводчику, говоря, что Центральную Азию он знает лучше самого профессора. Уже с 1849 г. П. П. состоял действительным членом Русского Географического Общества и заведывал его библиотекой.

Будучи студентом Берлинского университета, он сошелся со многими своими германскими товарищами, как напр. бар. Рихтгофеном, впоследствии известным геологом и председателем Берлинского географического общества. П. П. познакомился также с докторами Мюнхенского университета, братьями А. и Г. Шлагинтвейтами. Все эти молодые ученые, как и сам П. П., в то время мечтали о путешествиях в Центральную Азию с ее еще совершенно неисследованными наукою громадными пространствами. К совершению таких путешествий всех этих молодых ученых очень поощрял знаменитый А. Гумбольдт, в то время уже 84-летний старец, говоривший им, что он только тогда умрет спокойно, когда они исследуют самую интересную часть нагорной Центральной Азии — горную страну Тянь-Шань и привезут ему обломки ее скал, чтобы подтвердить предположение Гумбольдта о вулканическом ее происхождении. Сам П. П. был так увлечен этими предположениями, что тоже верил в них. В 1853 г. он испросил аудиенцию у Гумбольдта, был им принят и получил от него напутствие на это трудное и опасное путешествие. Братья Шлагинтвейты предполагали совершить путешествие в Тянь-Шань через Индию и осуществили его, но

там один из них погиб, и потому оно не дало науке тех сведений, которые ожидал Гумбольдт.

П. П., предполагавший проникнуть в Тянь-Шань с севера, решил прежде всего подготовить себя к путешествию изучением горных частей Европы. Он был уже знаком с геологическим строением Гарца. После свидания с Гумбольдтом, в связи с его предположениями о вулканизме Тянь-Шаня, П. П. принял пешее путешествие по Швейцарии для геологического изучения Альп и их ледников, и затем в Италию — специально для наблюдений над извержением Везувия, которое осенью 1854 г. ожидалось со дня на день. Приехав в Неаполь, П. П. сделал 17 опасных восхождений к кратерам Везувия. Он побывал также на островах Капри и Иския для изучения потухших вулканов и изверженных ими пород. Во время начавшегося извержения Везувия, П. П. снова сделал несколько опасных экскурсий к малым кратерам, дойдя даже до гребня главного кратера.

Весною 1855 г. П. П. вернулся в Петербург, пробыв за границей два года, и стал готовиться к путешествию в Тянь-Шань. Эта подготовка заняла почти целый год тем более, что П. П. ставил себе задачей не только теоретическое (научное) изучение края, в который он стремился, но широкое его исследование для отыскания в нем тех природных богатств, которые могли бы дать русскому народу — по его освобождению от крепостной зависимости — свободные для заселения и удобные земли. Предвидел он также возможность развития там и обрабатывающей промышленности в самых широких масштабах.

В начале мая 1856 г. П. П. выехал через Москву, Нижний Новгород, Казань и далее — на лошадях в купленном своем экипаже — через Омск, Барнаул и Змеиногорск, т. е. через Алтай, к начальной цели предполагаемого путешествия: к 1 сентября он добрался до своего опорного пункта, форта Верного (Семиреченской области). Отсюда он совершил две исследовательские поездки на лежащее южнее озеро Иссык-Куль. Они служили ему предварительным подступом для исследования самого Тянь-Шаня, которое он начал лишь в следующем, 1857 г. (Тянь-Шанский горный массив состоит из трех главных цепей: Заилийский (Кунгей) Алатау — северный хребет; Терской-Алатау — средний (более южный); между ними лежит озеро Иссык-

Куль; третий — Тенгри-таг — самый высокий, к юго-западу от второго. В Заилийском Алатау П. П. обнаружил большие каменноугольные отложения.

В 1856 г. между кара-киргизскими племенами этой местности, состоявшими в подданстве разных государств (Китая и Кокандского ханства), шла кровопролитная вражда на почве кочевого образа жизни. Поэтому путешествия даже на западный и восточный концы озера Иссык-Куль были далеко не безопасны и эти поездки приходилось совершать с военной охраной (казаков).

Вернувшись в Верный осенью 1856 г., П. П., не теряя времени, успел еще до наступления зимы съездить с казачьей почтой (в казачьей форме) в китайский город Кульджу, а затем на зиму переехал в Барнаул (Томской губ., Алтай) и оттуда съездил еще в Омск (Семипалатинская область) для свидания с генералом-губернатором Гасфортом по поводу дальнейших своих поездок, обещав Гасфорту не переходить границы Коканда. После этого в середине мая 1857 г. П. П. вернулся в Верный, но междоусобица между кара-киргизскими кочевыми племенами не прекращалась, и находившиеся в китайском подданстве племена обратились к русским военным властям (начальнику Заилийского края) за помощью против вытеснивших их с пастбищных мест по побережью Иссык-Куля кара-киргизов Кокандского ханства. Местные русские власти предложили султану уже замиренных киргизских племен, состоявших в русском подданстве, — Тезеку, оказать помощь кара-киргизам — китайским подданным, желавшим перейти в русское подданство. Тезек на это согласился и во главе конного отряда в 800 всадников, включив в него казачий отряд П. П-ча в 58 человек и несколько военных топографов, с 70 обозными лошадьми и 12 верблюдами, двинулся на южный берег Иссык-Куля. Вследствие этого кара-киргизы, кокандские подданные, быстро очистили оба берега, и для П. П. стало возможным обследовать весь северный склон Тянь-Шаня на восток от Иссык-Куля, куда его провели проводники из кокандских кара-киргизов через перевалы к главному хребту Тянь-Шаня, в одном из самых высоких его мест — группы Хан-Тенгри. Здесь П. П. удалось обследовать многочисленные, громадные (большие, чем в Альпах) ледники и собрать образцы горных пород,

показавших, что горные массивы Тянь-Шаня состоят из осадочных пород гораздо более древнего, палеозойского возраста, а не из изверженных вулканических пород. Что же касается имевшихся у Гумбольдта сведений о дымящихся в Тянь-Шане вершинах, то П. П. установил, что причина этого явления объясняется самовозгоранием пластов каменного угля, которыми эта горная страна очень богата, также как и залежами разных минералов. Так, наличие в некоторых местах грязевых сопков давало возможность предполагать существование запасов ископаемых минеральных масел (нефти). Были также обнаружены признаки нахождения металлов (железа и др.).

В настоящее время, когда со времени путешествия П. П. Семёнова прошло более 100 лет, а в этом — 1964 году — исполняется 50 лет со дня его кончины, результаты его исследований и открытий еще далеко не использованы полностью.

Как изучение быта этого населения, так и все путешествие 1856—57 годов с его богатыми научными материалами привело П. П. к мысли не только о полной целесообразности и возможности русской культурной колонизации вглубь Азии, но и о возможности мирного приобретения и освоения для России громадного Киргизского края с его неисчерпаемыми природными богатствами. С полной справедливостью можно сказать, что П. П. Семёнов Тянь-Шанский может быть назван *основателем освоения Русским государством громадного и по пространству, и по естественным запасам края Киргизских степей и гор*, получившего ныне название Казахстана и Киргизстана. Во время своего путешествия П. П. воочию убедился, что стихийная русская колонизация вглубь Азии идет по двум путям: 1) прямо с северо-запада и запада на восток, и к середине прошлого века спорадически дошла уже до Ташкента; 2) с северо-востока на юго-запад, обходя Киргизские степи, приблизительно по линии Аральского озера (П. П. говорил, что к 50-ым гг. 19 века Оренбургские и м. б. Яицкие (Уральские) казаки имели на этом озере рыбные ловли) — Орск—Колывань—Барнаул—Семипалатинск—Копал—Верный (теперь Алма-Ата), и дошла уже до последнего. При этом русскому правительству для охраны этой никем и ничем не регулируемой колонизации приходилось держать много-тысячеверстную и дорого стоящую цепь казачьей охраны против набегов кочев-

ников — киргизов — подданных разных государств (Китая и Коканда) — по линии Киргизской степи.

Непосредственно после своего возвращения из путешествия, во время которого П. П. подготовил принятие частью киргизских племен русского подданства, он стал внушать и местным представителям русского правительства, и центральным его органам в Петербурге мысль *сожмутъ* линию русских владений по южной границе колонизации, т. е. между Ташкентом и Верным (Алма-Ата), предсказывая, что тогда громадный степной Киргизский край, ныне называемый Казахстаном и Киргизстаном, отрезанный от общения с более дикими соплеменниками в Китае и Афганистане, сам добровольно пойдет, говоря официальным языком, в русское подданство. Это в действительности и случилось, как только на юге произошла, по совету П. П., смычка русских владений. Об этих своих — участии и роли во всем вопросе освоения Казахстана и Киргизстана — П. П. в своих мемуарах и в книге «История полувекковой деятельности Географического Общества» упоминает очень скромно, не желая умалять заслуг других лиц, от которых зависело реальное проведение этого плана в жизнь, но в семейном кругу он неоднократно рассказывал о такой своей идее, явившейся результатом его путешествия 56—57 годов.

Убедившись в правильности и осуществимости идеи широкой возможности русской колонизации и распространения русской духовной и материальной культуры мирным путем на восток и юго-восток, П. П., вернувшись к концу 1857 г. в Петербург, стал готовить себя к служению первой своей идее — освобождению крестьян от крепостной зависимости. Не прекращая и своих научных занятий (главным образом в Географическом Обществе), он застал столичное общество занятым разговорами о предстоящих государственных преобразованиях. Часть этого общества была значительно подготовлена к принятию идеи освобождения крестьян (напр. Кружок великой княгини Елены Павловны). Среди сторонников этой идеи П. П. хорошо знал состоявших на государственной службе Н. А. Милютина (в министерстве Внутренних Дел) и А. П. Заблоцкого-Десятовского, бывшего ближайшим сотрудником, гр. П. Д. Киселева в министерстве Государственных Имуществ — по земельному и общественному устройству госу-

дарственных крестьян. Знал он также и К. Д. Кавелина, Ю. Ф. Самарина, кн. В. А. Черкасского и многих других сторонников и проповедников этой идеи, которые, как и сам П. П., считали возможным такое освобождение лишь при условии обеспечения крестьян земельными угодьями. П. П-ча интересовал также вопрос о том, как относится к предстоящему преобразованию генерал-адъютант императора Александра II — Я. И. Ростовцов. Он стоял близко к государю еще в то время, когда Александр II, будучи наследником престола, занимал должность Главного начальника военно-учебных заведений. По воцарении же Александра II Ростовцов заменил государя на его прежней должности. Помимо знакомства с Ростовцовым по военной школе, П. П. звал его и по родственным отношениям. Также знал П. П. и то, что Ростовцов часто видится с государем и беседует с ним по вопросу о необходимости уничтожить «крепостную зависимость» владельческих крестьян от их помещиков; поэтому он решил высказать Ростовцову свои основные взгляды на то, на каких условиях, по его мнению, должно быть проведено это освобождение. На обращенное к Ростовцову по этому поводу письмо, последний ответил приглашением П. П-ча к себе. Беседы между ними стали очень часты, причем П. П. старался убедить своего собеседника в необходимости освобождения крестьян не иначе, как с состоявшею в их неотъемлемом пользовании в поместьях землею. Постепенно Ростовцов пришел к тому же убеждению и в своих частых беседах с императором Александром II встретил сочувствие государя необходимости именно такого направления готовящейся реформы. Однако, т. к. целый ряд губернских дворянских собраний обращался к государю с заявлениями о своей готовности освободить своих крепостных на тех основаниях, которые будут указаны императором, Александр II стремился придать готовящейся реформе характер *добровольного* отказа русского помещичьего дворянства от принадлежавшего ему, часто ими узурпируемого, права на труд крепостного населения. Зная, что среди дворянства всё же существует и довольно значительное число сторонников продолжения пользования принудительным трудом, или иначе сказать, известной формой рабства, Александр II надеялся, что добровольный характер такого освобождения поможет сломить такое сопротивление. Значительную

помощь в усвоении государем идеи освобождения помещичьих крестьян *с землею* сыграла очень уважаемая им великая княгиня Елена Павловна, вдова его дяди, вел. князя Михаила Павловича, которая в 1858 г., еще задолго до издания манифеста 19 февраля 1861 г. добровольно освободила с землею своих крепостных крестьян в большом своем имении Полтавской губернии. Ее примеру последовали еще несколько крупных землевладельцев. Но Александру II надо было обеспечить себе победу идеи освобождения крестьян именно с землею созданием таких временных учреждений для выработки ими закона, который беспрепятственно прошел бы через существовавшее с царствования Александра I законо-совещательное учреждение — Государственный Совет, состоявший из сановников, далеко не всегда сочувствовавших предположенной реформе. С этою целью Александр II образовал, под своим личным председательством «Секретный комитет по крестьянскому делу», превращенный в 1858 г. в Главный Комитет, под председательством сперва председателя Государственного Совета, а впоследствии брата Государя, великого князя Константина Николаевича, состоявший в большинстве из сторонников освобождения крестьян.

Образование этого Комитета было вызвано тем, что с 1857 г. на имя государя стали поступать адреса дворян разных губерний о желании их освободить своих крестьян от принудительного труда, на которые Александр II отвечал рескриптами, поощрявшими такое желание. Пользуясь этим, министр внутренних дел Лаяской по инициативе своего сотрудника, Н. А. Милютина, а Я. И. Ростовцов — по инициативе П. П. Семёнова — обратились к государю с предложением образовать при Главном Комитете комиссию, назвав ее «редакционною», для рассмотрения присылаемых дворянством проектов предполагаемого освобождения и для разработки и составления общего законодательного проекта по этому вопросу. Комиссия эта, получившая наименование во множественном числе — «Комиссий», благодаря ее нескольким отделениям, юридическому, административному, хозяйственному и выкупному, должна была быть подчиненной непосредственно самому государю. Александр II согласился на это, но при условии, чтобы их председателем стал Ростовцов.

После совещания с П. П. Семёновым Ростовцов согласился на это, но не иначе, как с тем, чтобы П. П. согласился быть заведующим делами этого нового временного учреждения. После согласия последнего, комиссии были учреждены высочайшим указом. Они вошли в состав Главного Комитета по крестьянскому делу 17 февраля 1859 г., как его подготовительный, но совершенно самостоятельный орган. Государь предоставил Ростовцову приглашать в эти комиссии членов по своему усмотрению, но с тем, чтобы среди них были и представители министерств, и «члены-эксперты», т. е. лица, хорошо знакомые с положением владельческих крестьян. П. П. Семёнов же предложил, чтобы все труды комиссий, вопреки существовавшему тогда правилу «канцелярской тайны», опубликовывались печатно и рассылались во все губернские дворянские комитеты; депутаты же комитетов — от большинства и меньшинства — были поочередно вызываемы в Петербург для выслушания их мнений и возражений по поводу предположений редакционных комиссий и выражения своих мнений по поводу реформы, которая обнимала не только вопросы *земельного* обеспечения крестьян, но и устройство их самоуправления, администрации, суда и проч.

Когда проект был выработан окончательно, он поступил на рассмотрение сперва Главного Комитета (как бы департамента Государственного Совета) и Государственного Совета, как общего собрания. Государственный Совет в то время был учреждением *законо-совещательным*, в котором обыкновенно высказывались и формулировались мнения большинства и меньшинства участвовавших членов. Монарху же, в то время самодержавному, принадлежало право утверждать то мнение, хотя бы и меньшинства, которое он разделял. И в крестьянской реформе Александр II в нескольких вопросах утвердил мнение меньшинства, но во всех случаях то, которое было более либерально, т. е. охраняло интересы крестьян. Всё-таки однако дело не обошлось без некоторых уступок консервативному направлению.

И общественно-государственная и научная деятельность П. П. Семёнова привела его еще в 1861 году к близким отношениям с семьею одного из самых крупных деятелей крестьянской реформы — А. П. Заблоцкого-Десятовского. Имевший уче-

ную степень магистра математических наук, А. П. Заблоцкий-Десятовский был женат на англичанке — мисс Фанни Эндрьюс. После объявления манифеста 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян, П. П. Семёнов, будучи вдовцом, женился на старшей дочери четы Заблоцких. От этого брака П. П. имел многочисленную семью, состоявшую из старшего сына П. П. от его первого брака и 5 сыновей и одной дочери — от второго.

После состоявшегося освобождения крестьян П. П. Семёнов, благодаря своей серьезной научной подготовке, смог объединить неоставленную им научную деятельность с продолжением государственно-реформаторской, т. е. с введением в последнюю начала научного вместо только чиновничье-исполнительного. Он получил в реформированном к тому времени государственным учреждении — Центральном Статистическом Комитете — должность директора. Этот Комитет входил в министерство Внутренних Дел на одинаковых с другими департаментами основаниях, но с применением в его работе научных методов. В это время в русских ученых объединениях, как и в правительственных сферах, был выдвинут вопрос о необходимости производства в России *учета ее населения*, т. е. производства регулярных переписей ее населения вместо устаревших ревизий, которые касались (исключительно в интересах фискальных) только так наз. *податных* сословий (крестьяне и мещане). Вводя же в свои реформы научные методы, русское государство не могло не участвовать и в международных конгрессах (статистических, географических и др.) с посылкой туда своих представителей. Таким представителем в большинстве случаев назначался П. П. Семёнов. На одном из таких конгрессов был поднят вопрос о необходимости создания постоянной международной статистической комиссии, долженствовавшей держать связь между двумя смежными сессиями конгресса и готовить для них материалы. Таким председателем постоянного международного учреждения был избран представитель России — П. П. Семёнов.

Государственная и научная работа П. П. Семёнова, имевшая либеральный характер, продолжалась во все царствование императора Александра II. В П. П.-че возбуждали негодование повторявшиеся после освобождения крестьян покушения на жизнь такого монарха, каким был этот государь. Эти покушения

можно было объяснить только опасениями русских революционеров-республиканцев, что при успешном продолжении реформ этого монарха никакой революционный переворот в России не будет возможен, т. к. дальнейшее государственное развитие ее пойдет мирным эволюционным путем, а не путем революционных потрясений, которые могут привести государство лишь к гибели. (П. П. постоянно повторял: «разрушение всегда легче созидания»). Когда же в марте 1881 г., спустя 20 лет после первой и основной реформы Александра II произошло его убийство, то оно не вызвало в П. П.-че *испуга*, как в некоторой значительной части государственных деятелей того времени: он продолжал стоять на той точке зрения, что борьба с революционерами, конечно, должна продолжаться, но продолжаться должны и государственные реформы, т. к. убийство совершено кучкой террористов, и в народной массе нет сочувствия революции.

Внешнюю политику вступившего на престол императора Александра III, стремившегося прежде всего обеспечить европейский международный мир, П. П. приветствовал и даже принимал участие в таком обеспечении. В годы царствования Александра III возник пограничный спор в принадлежавшей трем европейским государствам колонии Гвиане (в Южной Америке). Русский государь был избран заинтересованными странами третейским судьей. Решение этого суда привело к мирному разрешению спора в пользу Голландии. Этому решению подчинились все спорившие стороны благодаря тому, что к участию в ликвидации спора был привлечен русским министром иностранных дел П. П. Семёнов, обосновавший предложенное им разрешение исключительно на неоспоримых научных данных.

Во внешней политике Александра III П. П. сочувствовал заключению союза России с Францией, для обеспечения мира в Европе. Знакомство П. П. с жизнью средне-азиатских народов давало ему основание вполне одобрять совершившееся почти без всякого кровопролития присоединение к территории России Мервского оазиса (в Закаспийской области), вызывавшее неоправдавшиеся опасения Англии в возможности проникновения русского влияния в Афганистан и Британскую в то время колонию — Индию. И в этом вопросе был выслушан голос П. П. Семёнова. Из внутренних государственных мер царствования Александра III П. П. считал в крестьянском

вопросе правильным издание закона о признании установленного еще законом 19 февраля 1861 г. добровольного выкупа освобожденными от принудительного труда крестьянами отводимых им «в надел» земель — *обязательным* для обеих сторон (помещиков и крестьян), т. к. добровольный выкуп приводил часто к злоупотреблениям, от которых страдало крестьянское население. Такой недостаток закона 19 февраля 1861 г. объяснялся тем, что закон о выкупе не был окончательно обсужден Редакционными комиссиями при спешной передаче дела освобождения на рассмотрение Государственного Совета.

Несмотря на полную готовность П. П. Семёнова продолжать свою активную государственную и общественную деятельность, ему это не удалось. После принятия Александром III так называемого «охранительного» начала, по германскому образцу, с предоставлением исполнительной власти широких полномочий, происками некоторых политически близоруких советников этого государя, П. П. Семёнов был — в лучшие годы своей жизни — отстранен от такой активной работы на целые 14 лет, т. е. на всё время царствования Александра III. Вместо должности директора Центрального Статистического Комитета он был назначен сенатором, но и сам Сенат, высшее государственное учреждение для надзора за деятельностью государственной администрации, был значительно умален в своих правах и обязанностях независимого и подчиненного только монарху высшего учреждения. В его состав были введены представители административной власти с правом не только голоса в сенатских решениях, но и наложения на них своего вето с перенесением дела в Государственный Совет — только *законосовещательный* при монархе орган. Несмотря на всё это П. П. Семёнов всё же продолжал настаивать на проведении необходимых государственных реформ, не имевших политического характера. Так, он неоднократно напоминал высшей администрации о необходимости издания закона о регулярных переписях населения, результаты которых всегда помогали и в проведении новых законов, и в управлении страной, но администрация эта оставалась глуха к таким напоминаниям.

Освобожденный против воли от большей части своей активной деятельности, П. П. Семёнов в царствование Александра III особенно усилил свою работу в разных областях

науки и общественности, в ученых и благотворительных начинаниях, на различных выставках, в области изобразительного искусства (Академия Художеств), в печати (участие в периодических и популярных изданиях) и пр.

После вступления на престол в октябре 1894 г. императора Николая II проект «Положения о переписи» был утвержден в середине 1895 г. и в январе 1897 г. первая всеобщая перепись была осуществлена. После ее окончания П. П. Семёнов получил назначение членом Государственного Совета, т. е. снова был призван к активному участию в государственной работе — сперва совещательной, а с 1906 г. с учреждением двух законодательных палат — Государственной Думы и реформированного Государственного Совета — законодательной.

В это время П. П-чу было уже 79 лет, но он сохранил свою работоспособность. Так, он не прекращал своей не только государственной, но общественной, напр. благотворительной работы.

На государственной службе, в Государственном Совете он сочувственно встретил, как запоздалое окончание реформы 19 февраля 1861 г. — идею Столыпина о создании среди сельского населения единоличной земельной собственности, всемерно стараясь быть полезным своим громадным опытом и научными познаниями, но часто указывал на недостатки и большие промахи, допускавшиеся при проведении в жизнь этой реформы. Так, он находил, что закрепление в личную собственность крестьян мелкой чресполосицы есть шаг назад, а не вперед, т. к. не создает участков экономически-хозяйственной ценности, и что вместе с тем, приведение крестьянских сельскохозяйственных участков в состояние хозяйственной ценности требует такой финансовой и технической операции, которая, по географическим условиям, далеко не везде и не всегда возможна, почему для улучшения положения сельского населения требуется напряжение государственных сил и в направлении расширения и упорядочения русской колонизации на восток. Сочувствуя переходу в руки сельского населения местных земельных ресурсов (покупка Государственным крестьянским банком бывших владельческих земель), П. П. часто указывал на отсутствие широко-государственного взгляда на эти операции у представителей банка и на преследование ими узко-

ведомственных, казенных интересов в ущерб интересам общенародным; в частности, он указывал и на полную возможность, при существовавших тенденциях в сторону индивидуализации крестьянских хозяйств, создания хозяйств коллективных на *артельных* началах, напр. при приобретении через банк земель коллективами-товариществами, приводя примеры бóльшей интенсификации хозяйств в подобных случаях, чем при хозяйствах индивидуальных.

В напряженной работе в Государственном Совете по вопросам разных проектов новых реформ, в 1908 году П. П-ча постиг апоплексический удар, от которого он скоро оправился, но не мог уже с прежней энергией продолжать свою разнообразную и столь плодотворную работу. Однако он не прекращал посещения общих собраний Государственного Совета и участвовал в их голосованиях. Также продолжал он руководить и теми благотворительными организациями, где был председателем. В своей живой и энергичной деятельности в царствование императора Николая II П. П. встречал иногда затруднения и даже препятствия из-за неожиданных перемен и новых назначений в составе высшей администрации. Приходилось начинать снова «хождение» по уже начатому делу.

В 1911 г. приближался день 50-летия реформы 19 февраля 1861 г. — освобождения крестьян. Как это было установлено традицией, по предложению одного из главных деятелей этой реформы, Н. А. Милютина, в этот день бывшие члены Редакционных Комиссий должны были собираться на товарищеский обед до тех пор, пока будет жив хоть один из членов этих Комиссий. Последним таким членом оставался в живых П. П. Семёнов, в то время уже получивший, в память своего путешествия в Среднюю Азию, прибавку Тянь-Шанского. Строго соблюдая эту традицию, П. П-ч пригласил к себе в этот день, в качестве гостей, кроме своей жены — дочери члена Комиссий, — и своих сыновей, и сыновей и внуков членов этих Комиссий, имевших наследственные медали в память 19 февраля 1861 г., а также других лиц, принимавших участие в проведении реформы (напр. в качестве установленных ею «мировых посредников»). Сам П. П. громко произнес установленные тосты, и собравшиеся приветствовали его с получением в этот день высшего в России ордена св. Апостола Андрея Первозван-

ного, пожалованного ему при рескрипте следующего содержания:

Высочайший Рескрипт, данный на имя Члена Государственного Совета П. П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО.

Петр Петрович,

Сегодня исполнилось 50 лет со дня издания незабвенным моим дедом Императором АЛЕКСАНДРОМ II опубликованных при Высочайшем Манифесте 19 Февраля 1861 г. положений о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. В качестве заведывавшего делами редакционных комиссий для составления сих положений вы являлись одним из видных участников в начертании этого законодательного памятника отеческих попечений о России Царя-Освободителя.

Приветствуя в вашем лице одного из немногих, находящихся в живых сподвижников Императора АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА в разработке величайшей ЕГО реформы, Я с благодарностью вспоминаю также последующее многолетнее плодотворное участие ваше в составе Правительствующего Сената и Государственного Совета, а равно ваши труды в области географической науки и статистики по званию вице-председателя Императорского Географического Общества. В последнее время, руководя сверх того занятиями Алексеевского Главного Комитета, вы посвящаете свои силы человеколюбивому делу призрения детей лиц, погибших на поле брани.

Желая в полувековую годовщину освобождения крепостных крестьян явить знак Моего уважения к вашей патриотической деятельности, Я жалую вас кавалером ордена Святого Апостола Андрея Первозванного, знаки коего при сем препровождаются.

Пребываю к вам неизменно благосклонный
и благодарный НИКОЛАЙ.

В Царском Селе. 19 февраля 1911 г.

Рескрипт был прочтен присутствовавшим на обеде сыном Н. А. Милютина.

После 50-летия крестьянской реформы, П. П. Семёнов-Тян-Шанский прожил еще 3 года, продолжая, по мере своих сил, работать. Он посещал общие собрания Государственного Совета, Высочайшие выходы в Зимнем Дворце и бывал на аудиенциях у государя. 10 марта 1914 г. он, заболев старческим воспалением легких, тихо отошел в другой мир.

Торжественное погребение скончавшегося состоялось 12 марта в присутствии нескольких членов императорской фамилии, членов Государственного Совета, сенаторов и др. сановников, вдовы, сыновей и внуков покойного и многочисленных друзей. Отпевание состоялось в Орденском соборе Св. Апостола Андрея Первозванного (на Васильевском острове). Гроб его, покрытый присланным государем большим крестом из белых орхидей, был перенесен из дома покойного в собор, а затем на Смоленское кладбище; на место погребения гроб несли по очереди на плечах, в парадной форме, воспитанники той военной школы, которую покойный так блестяще окончил в 1845 г. — юнкера Николаевского Кавалерийского училища.

Впоследствии, уже во время войны 1914—18 гг., училище в своем саду поставило — вместе с памятниками другим своим воспитанникам — поэту М. Ю. Лермонтову и композитору М. П. Мусоргскому — памятник-бюст и Семёнову-Тян-Шанскому.

Уцелели ли они до настоящего времени?

В. П. Семёнов-Тян-Шанский

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

ПЕРЕПИСКА И. А. БУНИНА С РЕБЕНКОМ

Все эти стихи посвящены ребенку. Большинство перепечатано на машинке, только четыре написаны рукой Бунина: «Милая Олечка, как живешь»; «У Самойловых пируя»; «Угадай, что посылаю»; «На серенькой бумажке». Отдельные листы сшиты и составляют тетрадь. Очевидно Бунин тетрадь просматривал, потому что во многих местах есть сделанные его рукой поправки. Все французские слова в стихотворении «Вот что я тебе скажу» тоже написаны его рукой.

Эту тетрадь со стихами я нашел в когда-то давно подаренной мне Буниным книге «Речной Трактир». Рассказ этот я читал в «Темных Аллеях». Потому подарок Бунина я бережно обернул бумагой и спрятал. Только недавно я взял в руки «Речной Трактир» и из него выпала эта тетрадь со стихами, которая очевидно случайно оказалась в подарке.

А. Величковский

Декабрь 1940 г.

Жил-был на Босолэ
Свиненок, поросенок
Совсем еще ребенок —
На свете всех милее.
Мы часто с ним гуляли,
Покупки покупали
И танцы танцевали
И сочиняли сказки
И кушали колбаски,
Сыры и макароны
Из Ниццы и Ментоны.
Теперь у дяди Вани
Нет ничего в кармане —
Ни сыру, ни колбаски
Остались только сказки:
Он сам их сочиняет
И (Олю) вспоминает.

11 марта 1941 г.

На весь день я бросил чтение,
Сижу песенку пою
«Поздравляю с днем рожденья
(Олю) милую мою!
Ах, ах, ахахах,
(Олю) милую мою!»

29 мая 1941 г.

С постельки рано я вскочил —
Письмо от (Оли) получил!
Я не читал и не молчал,
А целый день скакал, кричал:
«Как наша (Оля) подросла —
Переросла она осла,
А ведь не маленький осел —
Он ростом выше, чем козел.
Потом, смотрите как умна
За зиму сделалась она!
Наверно очень хорошо
Сдала экзамен на башо
У кур и кроликов своих
Когда из рук кормила их!»
Но оказалось, что во сне
Вся эта глупость снилась мне:
Я и письма не получал
И не скакал и не кричал.
И так обиделся я вдруг
Что посинел и весь распух.

3 июля 41 г.

Опять от (Оли) нет письма:
Наверно Оля не сама
Писала мне зимой —
Писала за нее мамá,
Водя ее рукой,
Теперь же некогда мама,
И потому и нет письма.
Я и картинки получал.
Да их наверно рисовал
Какой-нибудь петух —
И как он только в суп попал,
Они исчезли вдруг.

8 июля 1941 г.

Пишу тебе два mots —
Целую за письмо,
За чудную картинку,
Где Ваня кормит свинку.

22 июля 1941 г.

В именины нашей Оли
Все цветы запляшут в поле,
Все деревья и кусты,
Все дороги и мосты,
А в Рюссели все цыплята,
Куры, кролики, котята,
Кошки, утки — и сама
С папой под руку мамá.

12 августа 1941 г.

Вот что я тебе скажу:
Я в полицию схожу.
Там все крикнут как один:
«Bonsoir, Monsieur Bounine»
Я же сяду на диван
И начну: «Monsieur agent,
Bonsoir и вам, и всем,
А пришел я вот зачем:
Поскорей, Monsieur agent
Поезжайте в Montauban
В La Française, затем в Russel
Где живет одна мамзель,
И под арестом тотчас
Привезите ее в Грасс
Тут я ей сто розог дам
И в колбасную продам».

22 сентября 1941 г.

Дорогая Олечка,
Подари мне кроличка
И пришли в наш дом
Заказным письмом.
Я его затем
С косточками съем,
Ушки пополам
Марге с Галей дам,

А для прочих всех
Лапки, хвост и мех.

21 октября 1941 г.

Ты когда-то все просила
Сочинить тебе стишок,
Я за это, говорила,
Покричу как петушок.
Ты была тогда с вершок
А теперь ты уж большая
И пора тебе, дружок,
Дяде Ване подражая,
Сочинять самой стишок.

14 марта 1942 г.

Дорогая моя чушка,
Ты теперь уже старушка:
Ведь тебе десятый год!
Поздравляю, поздравляю —
И хвостом тебе виляю,
Как твой Котька, белый кот.

Начало октября 1942 г.

На серенькой бумажке
Пишу тебе о том,
Что мушки и букашки
Покинули наш дом,
Что из него исчезли
Внезапно муравьи
И пауки залезли
Во все углы свои.
У нас недавно были
Такие холода
Что Леня с Галей выли
«Беда, беда, беда!»
Теперь опять теплеет,
Синеют небеса
И на деревьях зреет
Под солнцем колбаса.

27 марта 1942 г.

У Самойловых пируя
Ел зеленую икру я,
Пил настойку из клопов

И вино из бураков.
 Остальное тоже было
 Очень вкусно, очень мило:
 Суп из Наба, фарш из блох
 И на жареное — мох.
 А потом нам подавали
 Карамель из мух в крахмале,
 Чай пи-пи и торт ка-ка
 Из кондитерской Бокка́.

21 окт. 1943 г.

Милая Олечка, как поживаешь?
 В школе бываешь иль просто гуляешь?
 Дома же в куклы и с Котькой играешь?
 А вечером под руку с мамá,
 Ходишь то в гости, то в синема?
 Я вас обоих целую и жду
 Вскоре иметь от тебя **billet-doux**
 P. S. Очень жалею, что Котьки здесь нет,
 Аля сварил бы его на обед.

16 янв. 1945 г.

Милая Олечка, я нездоров
 Так что теперь не пишу я стихов.
 Кроме того ослабел я сейчас
 Очень уж голодно стало у нас.
 Мух муравьев я уж больше не ем —
 Все эти звери исчезли совсем.
 Сыт я бываю теперь лишь во сне,
 Если приснится, входит ко мне
 Жареный гусь и кричит на весь дом
 Режь меня, ешь запивая вином.

Ив. Бунин

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

АЛЕКСАНДР ШМИДТ. *Вклад Брюсова в теорию литературы. Из истории русского символизма.* (Alexander Schmidt: Valerij Brjusovs Beitrag zur Literaturtheorie. Aus der Geschichte des russischen Symbolismus). Мюнхен. 1963, стр. 160.

Диссертация Шмидта показывает, что интерес к Брюсову имеется и у иностранных славистов и что и без пользования русскими архивами можно дать полезные исследования по истории символизма. Работа посвящена Брюсову, как теоретику и автор только в исключительных случаях обращается к поэтическим произведениям Брюсова, как к источнику своего исследования. Самая интересная часть книги — изложение эстетических взглядов русского поэта, состоящее по большей части из хорошо выбранных цитат. Менее интересна вторая часть работы, посвященная проблемам формы, в частности брюсовской теории стиха, совершенно устаревшей и уже в свое время вызвавшей справедливую критику Р. Якобсона. Третья часть книги посвящена критическим и литературно-историческим работам Брюсова. Здесь можно было бы ожидать более широкого освещения отношения Брюсова к Тютчеву (автор не использовал даже специальной работы Н. К. Гудзия о влиянии Тютчева на поэзию русского символизма), затем детального анализа пушкиноведческих работ Брюсова (которыми по ошибочному мнению автора Брюсов будто бы занимался главным образом в «третий период» своей деятельности, т. е. после революции), наконец освещения суждений Брюсова об «открытой» и изданной им Каролине Павловой, наконец более внимательной характеристики отношений поэта к представителям молодого поколения русских поэтов. Как-то изолированно стоит небольшая глава о теории перевода у Брюсова, где Шмидт ограничивается только несколькими анализами переводческой работы Брюсова, между тем как детальный разбор его ранних и поздних переводов мог бы дать материал для суждения о его несомненно значительной роли в культуре русского перевода.

Эти замечания не должны умалять ценности несомненно интересной и полезной работы. Ее недостатки лежат в некоторых

частностях и прежде всего в недостаточном знакомстве автора со всей атмосферой, в которой возник и развивался русский символизм. Этот недостаток прежде всего чувствуется в краткой биографии Брюсова, предпосланной исследованию, она похожа на некролог рядового журналиста. Работа Брюсова в «Весах», где Брюсов был и фактическим единоличным редактором и животворящим духом журнала, изображена как своего рода «служба» в его редакции. Развитие взглядов Брюсова вставлено в рамки «трех периодов», которым не соответствует никакая реальность. Оказывается, например, что Брюсов в ранний период «мало ценил» проблемы формы, между тем как даже из небольшого количества приводимых автором цитат из ранних стихотворений поэта видно, что Брюсов и в ранние годы часто ничем другим, кроме формы своих произведений не интересовался. Шмидт верит резким отзывам Брюсова о «патриотических» увлечениях русских поэтов в начале войны 1914 г. и не знает, что Брюсов сам был среди этих поэтов. Отношение Брюсова к коммунизму также нельзя считать только приспособлением к условиям времени...

Наивны и ошибочны характеристики отдельных писателей и явлений русской культурной жизни (ср. о Буренине). «Факелы» вовсе не были собраниями лирических стихотворений, в этих сборниках печатались обширные прозаические произведения и теоретические рассуждения Г. Чулкова о «мистическом анархизме»... На выставках «передвижников» не только не было каких-либо произведений импрессионистов, наоборот эта группа реалистов всеми силами препятствовала проникновению влияний французского импрессионизма в Россию и развитию «модернизма» в русском искусстве. Почему слависты не читают работ о духовных течениях в России? Я не настолько нескромен, чтобы иметь при этом в виду мою духовную историю России, но если славист упоминает русскую живопись, то проще всего было бы обратиться за справками к книгам О. Вульфа или Нимица о русском искусстве.

Автор книги, к сожалению, не использовал в достаточной мере и специальную литературу о Брюсове. Ему осталась неизвестной книга Д. Максимова о Брюсове; почти не использованы им и упоминаемые в библиографии, приложенной к книге, история русской литературы 20 века под ред. С. Венгерова, том «Литературного Наследства» со статьями о символистах (т. 27-28, 1937 г.), наконец замечательные воспоминания Андрея Белого, в которых Брюсов охарактеризован, как неутомимый работник, редактор и идеологический руководитель, статья Брюсова об Игоре Северяnine и брошюра В. Зеньковского об истории русской эстетики. Так как

эти книги и статьи (кроме книги Максимова) упомянуты в библиографии, создается впечатление, что автор их использовал, между тем интересующемуся читателю необходимо дополнить указания Шмидта чтением этих работ.

Брюсов писал и в газетах, кажется, не так часто, как Андрей Белый, но некоторые из его статей (конечно, за границей они недоступны), следует привлечь к характеристике взглядов Брюсова. Они несомненно могут помочь и установлению генеалогии его теорий, слабо освещенной в книге Шмидта. Случайные ссылки Брюсова на Потебню не дают никакого повода считать его «поттебнианцем», как это делает Шмидт, и считать, что он «оживил» в России интерес к идеям Потебни. В этом гораздо больше повинен Белый, а оживление интереса к языковедческим взглядам Потебни вряд ли надо считать особой «заслугой». Существовала группа верных «поттебнианцев», издававших сборники «Вопросы теории и психологии творчества» и именно от этой группы исходили в начале 20 в. влияния уже тогда устаревших литературно-теоретических и лингвистических взглядов Потебни (умер в 1892 г.), который идеи Вильгельма Гумбольдта растворил в позитивизме Штейнталя и Лацаруса. Конечно, нельзя отрицать значения работ Потебни из области славянского языкознания и особенно фольклористики. Как Брюсов мог соединять идеи Потебни со взглядами Владимира Соловьева, как это изображает автор, трудно себе представить. В действительности Брюсов в философии был эклектиком, что видит и автор книги, упоминая, например, о влиянии на Брюсова «немецкого идеализма» «вплоть (?) до Фихте и Шопенгауэра». Но автор не заметил, что все рассуждения Брюсова об «анализе» и «синтезе» зависимы от кантовского различения аналитических и синтетических суждений; без указания на это учение Канта изложение взглядов Брюсова остается не вполне понятным. Читал ли Брюсов Канта или узнал о классификации суждений от Андрея Белого — безразлично.

Наконец Шмидт преувеличивает французское влияние на русских символистов; не отрицая воздействий французской поэзии, не следует забывать, что у истоков теорий символистов стояли прежде всего Ибсен, Э. А. Поз, Ницше и Оскар Уайльд.

Как уже сказано выше, нельзя преуменьшать значения этой старательной и богатой материалом работы о Брюсове, особенно если принять во внимание, как мало еще сделано для изучения этой центральной фигуры русского символизма.

Гейдельберг

Дм. Чижевский

А. В. КАРТАШЕВ. — *«Вселенские Соборы»*. Издание Особого Комитета под председательством Епископа Сильвестра. Париж. 1963.

Содержание книги гораздо шире ее названия. Автор говорит не только о семи Вселенских Соборах, признаваемых Православной Церковью, но и о многочисленных Поместных Соборах того времени, излагает богословские доктрины, описывает неизбежное столкновение расходящихся воззрений и постепенное выяснение догматического учения Церкви. При этом дается не сухая формулировка богословских доктрин, а уясняются отправные точки зрения и главные причины, которые приводили к столь оживленной борьбе мнений. Основу охватившей Византию «богословской лихорадки» А. В. Карташев усматривает в том особом «умственном возбуждении», которое было так свойственно антично-философскому и новохристианскому эллинизму. Объемистый том в 800 страниц охватывает период времени с начала 4-го века, когда началась борьба с арианством, до «торжества православия» в середине 9-го века.

Весь ход постепенного уяснения догматических вопросов дается на фоне политической жизни Византии, с частой и часто насильственной сменой правящих династий. Вместе с этим неизбежно выдвигается вопрос о взаимоотношении церкви и государства. Нельзя сказать, чтобы высказываемые в книге суждения по этому вопросу производили впечатление полной согласованности. С одной стороны автор полностью принимает и одобряет «теократический принцип благословенной связи Церкви с Римской империей и ее культурой, ради исторического служения Царству Божию», отмечает в отдельных случаях «спасительную роль опеки государственной власти» и указывает, как иногда «уместное и разумное вмешательство власти спасало (церковь) от анархии». С другой стороны он настойчиво подчеркивает губительное вмешательство императоров в догматическую деятельность соборов и тягостные последствия их автократического декретирования в вопросах вероучения. В книге приводится много случаев, когда неугодные императорам епископы и клирики произвольно смещались с мест, заключались в тюрьму, отправлялись в ссылку, когда слушники императорской воли в церковных делах, будь то клирики или миряне, подвергались лишению имущества, тяжелым физическим наказаниям и даже осуждению на смерть. Эпоха диктаторского богословствования императоров, как всякая эпоха гонений на веру, вносила разложение в души верующих. Рядом с светлыми образами искренних искателей истины, не отступавших от своих воззрений, А. В. Карташев описывает и иерархов — придворных дипломатов, использовавших свое положение в своих интересах, богословов-оппортунистов, легко ме-

нявших свое мнение, иерархов с надломленной волей, шедших под угрозами на тяжкий компромисс, потом возвращавшихся на путь истины и все же в конце концов погибавших. А на ряду с ними изображаются и исповедники-обличители услужливых клириков, претерпевавшие мученичество за свою стойкость.

«В прозе, слепоте страстей, грехах и немощах истории... выстрадавались светлые капли истины», и «Дух Святой... осенял откровением свыше добросовестные искания человеческого духа» — пишет А. В. Карташев. При такой трактовке деятельности соборов А. В. Карташев объясняет просто «чудом» принятие Халкидонским Собором «мудрейшего» и «совершеннейшего» учения о природе Христа. По мнению Карташева, Халкидонский Собор был похож на «клокочущий котел, готовый взорваться» от «пристрастности борющихся партий», от столкновения религиозных и политических амбиций, от непримиримости расовых умонастроений. Вынесение им «философско-богословски знаменитейшего на все века» вероопределения должно казаться, с этой точки зрения, совершенно неожиданным, непредвиденным и необъяснимым по естественному ходу событий. И вот из этого клокочущего котла «вдруг потекла светлая струя мудрой примиряющей доктрины» и «мутная вода очистилась». «И, о чудо! Да, это воистину чудо!» восклицает А. В. Карташев по поводу скорой выработки соборной комиссией проекта постановления, принятого затем всем Собором, которому правительство грозило уже роспуском.

Основной темой рассматриваемой книги является догматическая деятельность соборов. Совершенно естественно, что при этом канонические постановления отодвигаются на второй план, и они освещаются в меньшей мере, чем догматические. Особое внимание, однако, уделяется вопросу о правах Константинопольского Патриарха и Римского Папы. В связи с этим вызывает интерес определение А. В. Карташевым значения 28-го правила Халкидонского собора, этого основного постановления о взаимоотношениях Рима и Константинополя. Хотя сначала А. В. Карташев говорит, что правило это «никогда не признавалось Римской церковью», но в следующей же главе «Победа 28-го правила Халкидонского Собора» он утверждает (вопреки ранее сказанному), что сила этого правила была признана Римом «не только молчаливо, фактически, но и формально, соборно», именно — на соборах 869, 1204 и 1439 г.г. В пору оживления попыток к восстановлению единения между Восточной и Западной церквями, следует все же констатировать, что победа цитируемого Халкидонского постановления в истории была далеко не полной. Халкидонский Собор в своем 28-ом правиле не только

подтвердил «преимущества чести» Константинопольского Патриарха как первого после Римского Епископа, но и предоставил ему также «равные преимущества» с «престолом древнего Рима» (как это было затем указано и в 36 правиле Трулльского Собора). На указанных выше трех соборах Римская Церковь признала за Константинопольским Патриархом только первое место по чести после Папы, но никогда не признавала «равных преимуществ». В таком положении дело остается и до настоящего времени.

Давая прекрасный исторический обзор деятельности Вселенских Соборов, А. В. Карташев подчеркивает, что их догматическая деятельность имеет гораздо более широкое значение, чем только установление истин веры для самой Церкви. Халкидонский догмат о Богочеловечестве Христа имеет, по его мнению, «вселенское непреходящее значение» для обоснования «теократического принципа симфонии» церкви и государства, при которой «земля, дефективная, греховная природа государства и небесная, божественная, чудесная природа церкви... соединяются по образу тайны Боговоплощения без смешения и взаимопоглощения» (427). От Халкидонского догмата идут, по словам А. В. Карташева, «живые нити к нашей современности», в частности — к русской богословской и философской литературе 19 и 20 века и находят себе отражение в теориях о богочеловечестве, о соотношении духа и материи, божественного и человеческого в истории мира, о взаимоотношении христианства и цивилизации. Воззрения русских мыслителей классифицируются при этом А. В. Карташевым соответственно церковным учениям эпохи Вселенских Соборов. К представителям халкидонского двуединства он причисляет В. С. Соловьева, Архим. Федора Бухарева, С. Н. Булгакова и С. Л. Франка. Такие писатели как Н. В. Гоголь и К. Леонтьев приближаются, по его мнению, к монофизитизму, а Н. Ф. Федоров, В. В. Розанов и Д. С. Мережковский впадают в несторианство. «Монофизитизмом навыворот» признается им безрелигиозный гуманизм или секуляризм.

Попытка влить течения русской философской мысли 19 и 20 века в русло христологических споров 4-8 века и весь экскурс в область русской философии, являются лишь некоторым добавлением к основной теме и никоим образом не могут умалить большого значения книги. В ней собран огромный исторический материал с учетом новейших исследований, даются живые характеристики многих церковных деятелей и яркие картины церковной и общественной жизни Византии. Охват церковной жизни настолько широк, что книга о «Вселенских Соборах» практически оказывается историей церкви в эпоху Вселенских Соборов. Книга производит тем большее

впечатление, что она написана выразительным и образным языком. Она может читаться с интересом и людьми «не искушенными в богословии», тем более что в «религиозном большевизме» того времени легко найти и некоторые параллели с событиями 20-го века.

На тему о древних соборах появлялись и продолжают появляться исследования католических и протестантских авторов. Новая книга проф. А. В. Карташева займет, несомненно, одно из наиболее почетных мест в русской богословской литературе. Горестно думать, что самому автору так и не пришлось увидеть выход из печати той книги, на подготовку которой он потратил так много времени и сил. Посмертное появление ее является лучшим надгробным памятником ее автору.

А. Боголепов

С. П. ТИМОШЕНКО. *Воспоминания*. Париж, 1963 (стр. 408).

Воспоминания Степана Прокофьевича Тимошенко в значительной части недоступны лицам без высшего технического образования, но есть в них и другая, всем понятная, сторона — своей жизнью и работой, автор еще раз показал справедливость знаменитых слов Ломоносова: «Россия может рождать собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов». С. П. Тимошенко рано почувствовал желание преподавать в высших учебных заведениях, и это его желание вполне осуществилось. В России он преподавал сравнительно недолго; застигнутый в Киеве поднимающейся волной большевизма, он переселился в Югославию, а там, благодаря случайной встрече с одним из своих прежних учеников, получил визу в Соединенные Штаты.

Пять лет он проработал в качестве консультанта в компании Вестингхауза. Компанией этой руководили прогрессивно настроенные лица, и еще работая в ней, Степан Прокофьевич мог вернуться к любимой работе — т. е. преподаванию не трафаретному, а творческому. Чуть ли не каждый его курс выливался в крупный научный труд в сфере общей теории инженерно-строительного дела. Помещенная в конце книги библиография прямо поражает обилием трудов отчасти на русском, но впоследствии и на английском, иногда и на французском языках. Для лиц не посвященных в технические науки, особенно интересны повторные замечания об относительной слабости американских учебных заведений по части технического преподавания. Студентам предлагались всегда лишь готовые формулы для решения многих задач, но теории, на основе которой эти задачи могли быть решены, не давалось. Кстати, этот грех был замечен и многими молодыми инженерами, получившими техническое образование в Европе, в особенности в Германии и

во Франции, не в Англии, где дело велось по шаблону, близкому к американскому.

Сравнительно недавно, в 1958 году, Степану Прокофьевичу удалось посетить родину после 35 лет отсутствия. Его приняли с величайшим уважением и показали ему всё, что его интересовало — в военные тайны он конечно не пытался проникнуть. Тут его поразило следующее обстоятельство: лаборатории, где ему приходилось работать в начале своей ученой карьеры, полны аппаратов с того времени, но так-сказать со вдвоенными рядами: между старыми аппаратами вдвинуты более современные, захваченные у немцев за последнюю войну. Примеров подлинного творчества автор почти не нашел.

Для русского читателя, негодующего на еще сильное в наши времена убеждение многих иностранцев что, до революции Россия стояла чуть ли не на «африканском уровне» — ознакомление с этой книгой будет прямым опровержением этой нелепости.

Приобретающие ее совершат, кроме того, и доброе дело, т. к. вся выручка, по желанию С. П. Тимошенко, идет на усиление средств кассы взаимопомощи петербургских политехников.

Н. С. Тимашев

Ю. ТЕРАПИАНО. *«Избранные стихи»*. Изд. книжн. маг. В. Камкина. Вашингтон, 1963.

Бывают стихи, удивляющие своим блеском, неожиданностью образов, сложностью ритмов и рифм. Читаешь и думаешь: как ловко! как находчиво! Но вот, закроешь книгу и сразу забудешь и стихи и весь их блеск. А ведь именно с момента, когда книга стихов прочитана и закрыта, начинается подлинная жизнь стихотворений.

Стихи, которыми восхищаешься только во время чтения и тут же забываешь, скорее относятся к подделыванию поэзии. Настоящие стихи отличаются от поддельных тем, что они каким-то трудно определимым, почти сверхъестественным образом, находят дорогу не только к сознанию, но и к сердцу. Они понемногу овладевают нами, постепенно становясь неотъемлемой частью нашего мироощущения.

Такие стихи обогащают читателя и делают его как бы соучастником творчества поэта, — так говорил в Петербурге весной 1921-го года Осип Мандельштам о Боратынском.

Прочитав «Избранные стихи» Терапиано, я вспомнила эти слова Мандельштама. Да, их можно повторить о Терапиано. То, что они были сказаны о Боратынском не является для этого препятствием. Если кто из эмигрантских поэтов по своей высокой направленности и глубине и напоминает Боратынского, то это именно Терапиано. В

нашей современной поэзии вряд ли найдется такой ответственный за каждую мысль и каждое слово поэт, не жертвующий ничем красотой и эффектностью, до конца правдивый и честный.

Недавно в «Русской Мысли» Георгий Адамович посвятил статью «Избранным стихам» Терапиано. Конечно, говорить о любых стихах после того, как о них сказал Адамович очень трудно. Он так правильно, умно разобрал их, что мне кажется лучше всего привести здесь несколько из его суждений:

«Это — стихи спокойные и величавые, без малейшего «подмигивания» читателю и без склонности к переходу на говорок, в котором читатель уловил бы жалобу или нечто вроде приглашения к интимности и панибратству... Под сдержанностью поэта, под его ритмически размеренным пафосом скрыто многое, чему выхода в стихах он не дал. «Служение Муз не терпит суеты»: эти пушкинские слова можно было бы поставить эпиграфом к «Избранным стихам», это их духовный лозунг... Участь человека в мире, одиночество, любовь, дающая победу над ним, сны и реальность, наконец, смерть и жизнь: Терапиано не ищет тем подчеркнуто новых, избегает их, чувствуя, что новизну свою они могут быстро утратить. Но у него есть дар по новому говорить о постоянном, о неизменном — и вызывать отклик. Есть у него и редкий дар сблизить стихи с молитвой, как делает он это в небольшом цикле «В день Покрова». Опыт опасный, рискованный из-за недопустимости самого слабого срыва, т. е. вторжения литературщины в область, где ей решительно нечего было бы делать. Однако, поэт нашел в себе силы остаться простым, — или вернее вернуться к простоте — там, где всякая подделка под непосредственность и искренность оказались бы оскорбительными...» Г. Адамович заканчивает свою статью фразой: — «Иные книги достаточно перелистать: все сразу исчерпано. Эту надо прочесть — и над ней трудно не задуматься».

Да, все это совершенно правильно. Нельзя не задуматься и над взятой очень по своему темой о том, как «круты ступени чужих лестниц и горек хлеб изгнанья».

Правильно или неправильно поступили мы, приняв добровольно изгнанье?

Терапиано часто возвращается к этому:

Друг, мне грустно от того же,
Отчего и ты грустишь.
День на прошлый день похожий,
Серый будничный Париж...

Париж, в котором так трудно, так безрадостно живется: «Куда нам, с нашей нищетою, — В сегодняшний стучаться день?..» — «В город-

ской парижской больнице — Ты в январский день умерла...» — Да, их много, этих безвременно погибших изгнанников — и как замечательно дан Терапиано некролог одного из них:

Под музыку шла бы пехота,
Несли б на подушке кресты,
А здесь — на заводе работа,
Которой не выдержал ты.

Бесстрастную повесть изгнанья
Быть может напишут потом,
А мы, под дождя дребезжанье,
В промокшей земле подождем.

И тут выступает главная тема эмигрантской поэзии — тоска по родине. Но Терапиано сумел счастливо избежать заезженного шарманского напева «разлука ты разлука, чужая сторона...» — он и о разлуке и о тоске по родине говорит своими собственными словами, без сентиментально-сусальных вздохов по березкам и ручейкам: — «Благослови народ великий мой — В его великой трудности и боли».

В своих прекрасных стихах о России Терапиано перерастает не только тоску о родине, но и себя и становится уже не эмигрантским, а русским поэтом.

Ирина Одоевцева

Л. М. ДОБРОВОЛЬСКИЙ. *Запрещенная книга в России (1825-1904)*, Москва. 1962, стр. 254.

Русская цензура принадлежала к самым мрачным явлениям русской культурной жизни 19-го века. Много из истории цензуры было освещено в известных книгах М. Лемке, в которых, однако есть некоторое количество ошибок и утверждений, основанных на слухах и сплетнях, вроде рассказа о запрещении в какой-то повременной книге совета ставить кушанья «на вольный дух». Русская цензура вызвала интерес и за границей: на немецком языке в конце 19 в. появилась объемистая книга «Современная русская цензура и печать» (Берлин 1894 г., как автор назван В. И. Наградов, это, конечно, псевдоним). Наиболее нелепы были подвиги духовной цензуры: издание «Изборника» 1073 г. было приостановлено в виду «неправильного перевода» цитат из отцов церкви (могло выйти только по русским условиям необычайно дорогое литографированное воспроизведение этого переведенного еще в начале 10 века в Болгарии памятника); прекращено было и печатание «Пандектов» (правила монашеской жизни) Антиоха, также по рукописи

11 века, и уже отпечатанные страницы вышли в свет только после революции 1917 г. Наконец с таким же запозданием мог появиться и ценнейший том описания рукописей библиотеки Синода, сделанного Горским и Неустроевым: этот том был задержан духовной цензурой, так как из него можно было узнать, что в России до 15 века не было *полного* текста Библии, о чем каждый студент мог услышать на лекциях истории и истории литературы.

Книга Добровольского посвящена особому типу запрещения книг, о котором мы знаем из стихотворения Некрасова «Пропала книга», — запрещению книг, сопровождавшемуся их сожжением или уничтожением при помощи специального аппарата, рвавшего книгу в клочки. В 1871 г. в делопроизводстве цензурного ведомства выражение «книга сожжена» было по инициативе председателя совета министров заменено выражением «книга уничтожена», «выражение книга сожжена напоминает об испанской инквизиции»... Устыдились говорить о сожжении книг, но книги жгли по-прежнему (и даже в 1872 или 1878 годах в рекордных количествах). В конце 19 в. некоторые книги не «уничтожались», а оставались под спудом в цензурном ведомстве, иногда до 1905 г., когда несколько таких книг могло выйти в свет. Обычно несколько экземпляров книг успевало разойтись по рукам или оставалось у авторов. В моей (конфискованной без всяких оснований ведомствами восточной зоны Германии) библиотеке был напр. уничтоженный 6-ой том сочинений Лескова в издании 1889 г.

Хотя книга Добровольского написана в форме «скучной» библиографии, но «читается как роман». За 80 лет (с 1825-1904 года) было уничтожено 248 книг. В некоторых случаях такая расправа с печатным словом еще «понятна»: таково уничтожение в 1825 г. подготовленного декабристами к печати альманаха «Звездочка», сожжение нескольких социалистических книг (Прудона, Лассаля, Бебеля), историй революций, и даже отпечатанных *без упоминания имени автора* рассказов или философских статей Герцена (они уничтожались в 1867, 1870, 1871, 1904 годах). После ареста в 1847 году членов так наз. «Кирилло-Мефодиевского Братства» были «задним числом» запрещены и уничтожены вышедшие еще в 1840-3 годах книги участников общества, Шевченка, Костомарова, Кулиша... Но стоит особо упомянуть о ряде книг, уничтожение которых особенно ярко характеризует деятельность русской цензуры: книга Добровольского во многих случаях впервые напоминает об этих книгах и указывает на основании цензурных актов на мотивы «уничтожения».

В 1832 г. были сожжены рассказы В. Даля (так наз. «Русские сказки»), в 1850 г. — басни Езопа (см. ниже), в 1860 г. «Народные легенды», собранные Афанасьевым (изданы в том же году в Лондоне), в 1863 г. «Сборник рассказов», в котором между прочим находилась глава «Акулькин муж» из «Записок из Мертвого дома» Достоевского, в 1866 г. сборник рассказов А. Суворина (тогда еще «либерала»), в том же году «Стихотворения» М. Михайлова, но не за его оригинальные стихотворения, а за переводы из Гейне, в 1866 г. «Левиафан» Гоббса и «Философия истории» Вольтера, в 1870 г. вторая часть «Les Misérables» Виктора Гюго (этот же том был снова запрещен в 1892 году, см. ниже), в 1871 г. сожжена книга Д. Фр. Штрауса о Вольтере, в 1872 г. «Социальная статистика» Герберта Спенсера и «Романы и рассказы» Дидро, в 1873 г. начался ряд сожжений книг Геккеля, не только философских, но и его работ по биологии (сжигались в 1873, 1879, 1898 и еще в 1902 годах), в 1874 уничтожен роман Э. Золя «La curée» (в 1903 г. та же судьба постигла 2 разных издания романа Золя «La Vérité»), в 1879 г. «Искушения св. Антония» Флобера, несмотря на то, что имя Антония было заменено анонимным «пустынник»; в 80-х годах уничтожаются книги Льва Толстого, наряду с его философскими сочинениями, даже *дешевое* издание «Народных рассказов» (более дорогое в «Собрании сочинений» было пощажено), по особому ходатайству было разрешено всё издание «вывезти за границу в славянские страны!» Уничтожались и истории литературы: в 1874 г. том «Истории литературы 18 века» Геттнера, в 1885 «История новейшей русской литературы (1848-1855)» С. А. Венгерова, в 1888 г. лекции о новой литературе Георга Брандеса, в 1892 г. книга Иегера об Ибсене; в последние годы существования цензуры участились случаи уничтожения литературных произведений: наряду с упомянутым уничтожением 2-го тома «Les Misérables» Гюго (уничтожена была и биография Гюго в 1902 году!), был сожжен роман «Дурные Пастыри» Октава Мирбо (1900 г.), в нем цензура заметила «социалдемократические» идеи! В том же году была уничтожена «Мистерия» «Трагедия человека» венгерского романтика Э. Мадача, в 1902 г. — «Небожественная комедия» З. Красиньского, несмотря на то, что она уже была напечатана в 1874 г. в «Русском Вестнике» и несмотря на то, что главная тенденция трагедии антиреволюционная! Уничтожались книги по не совсем понятным причинам: книга Т. Рибо о философии Шопенгауэра (1889), русский перевод основных законов Финляндии, этой конституционной области Российской Империи (1898), книга сенатора И. Закревского в защиту Дрейфуса (1900), в этом случае пострадал

и автор: он был за эту книгу «высочайшим указом уволен со службы без прошения».

Примечательны некоторые суждения цензуры об уничтожавшихся книгах: «Эзоповы басни» подверглись уничтожению в 1846 г. как «неизящные в отношении к искусству» (! о грамматической правильности своих резолюций цензурное ведомство не слишком заботилось — ср. ряд примеров ниже), лекции харьковского профессора Н. Костыря о Батюшкове, Жуковском и Пушкине сожжены в 1853 г. за «умствования, которые... шатки, произвольны и противоречивы в строгом методе науки» (!), в 1869 г. был сожжен «Православный молитвенник» за «неправильности» в русском переводе церковнославянских молитв, в 1873 г. сожжена переводная история Соединенных Штатов К. Неймана за то, что автор «выражает... американским деятелям... восторженные похвалы», в чем цензура увидела «памфлет... на монархию», в 1875 г. уничтожен отрывок украинского перевода «Метаморфоз» Овидия в виду опасности «распространения между простым народом... языческих понятий», в 1877 г. уничтожены «Славянские драмы» Д. Мордовцева, который слишком оптимистически оценил возможность их издания во время войны за *освобождение* балканских славян, суждение цензуры было: «в трех драмах... обнаруживается страстное возбуждение к борьбе против тирании, выражающейся в действиях немцев, турок, притеснителей свободы мысли и печати, ... одним словом к борьбе против всякого (!) проявления правительственной власти», в 1878 г. была запрещена и конфискована (уничтожить ее не решились) брошюра великого князя Константина Николаевича, изданная Морским министерством «О выборе кратчайшего направления среднеазиатской железной дороги», так как «государю было неуютно, чтобы брошюра была допущена к обращению», в том же году сожжена переведенная с английского объемистая «История Византии» Г. Финлея за сочувствие ее автора иконоборцам. Впрочем, всех своеобразных суждений цензуры не процитировать! Надо заметить, что иногда даже руководителям цензурного ведомства становилось как-то неловко: уничтоженный в 1870 г. за «самое вредное направление» роман Гюго «*Les Misérables*» в 1892 г. не был запрещен сразу: во-первых какой-то предприимчивый издатель уже пустил роман в 1882 г. в обращение под заглавием «Отверженные», а во-вторых, «воспрещение... произведения столь известного в европейской литературе» может де вызвать «нежелательные толки»; роман всё же разрешен не был, но ждал своего уничтожения семь лет, до 1899 года!

Между книгами, уничтоженными различными способами был

ряд научных публикаций. Особо известны история уничтожения диссертации Н. Костомарова «О причинах и характере унии» (1841 г.) и книги «О государстве Российском» англичанина Флетчера (1848), за издание этого памятника 16-го века (!) О. Бодянский поплатился увольнением с кафедры славяноведения в Московском университете. Мало известно например «уничтожение посредством обращения в массу» (!) второго, проредактированного В. Мякотиным издания книги И. Худякова «Древняя Русь», первое издание которой вышло в 1867 г. Цензура признала, что «возбудить судебное преследование нельзя было, ввиду того, что факты, приведенные в книге изложены на основании источников и опубликованы в общедоступных изданиях». Но тогдашний министр внутренних дел, И. Горемыкин счел, что распространение книги «не может быть терпимо»...

Работа Добровольского освещает по истине трагическую страницу истории русской духовной культуры.

Гейдельберг

Дм. Чижевский

С. П. МЕЛЬГУНОВ. *Воспоминания и дневники*. Три части в двух выпусках. Париж. 1964 (стр. 333).

Недавно вышедшая в Париже книга С. П. Мельгунова трудно поддается рецензии, т. к. по существу, это сборник несколько разнородных материалов, преимущественно воспоминаний, записанных во время тюремных сидений в начале 20-х годов, и отрывков из весьма кратких дневников автора, восполненных подробными выдержками из дневника жены автора, Прасковьи Евгеньевны.

Увлекательны автобиографические рассказы автора о годах своей юности, когда волею судеб ему приходилось становиться на лето управляющим в имении своего богатого дяди. Имение находилось в Тамбовской губернии; каждый год туда пригоняли табун лошадей, купленных в области войска донского, и в этом имении их выезжали и приготавливали к сдаче армейским ремонтерам. В этих воспоминаниях ярко проступает живость характера Сергея Петровича, его мужество и склонность довести всякое дело до конца. Трудно было пробиваться юноше в ту серую эпоху, но он прошел благополучно через университетские годы на историко-филологическом факультете московского университета и рано начал работать в «Русских Ведомостях». Ему были нужны деньги, т. к., еще будучи гимназистом, он взял себе за правило, по возможности, окупать свое содержание в совсем небогатой семье, которую покинул его отец.

Дальше идут краткие записи на разные темы. Описываются несколько встреч, в том числе, с Л. Н. Толстым и Бурцевым; ничего нового из этих заметок извлечь нельзя. Курьезны отдельные эпизоды: с большим юмором говорится о привидениях, которые оказались крысами, грызшими струны инструментов, развешенных по стенам. Полна юмора также краткая заметка о встрече с родственником и т. д.

На этом заканчивается первая часть. Вторая часть посвящена годам подготовки революции 1917 года и мартовским дням, о которых Сергей Петрович в эмиграции опубликовал превосходную книгу. Третья часть (второй выпуск) состоит из заметок и выдержек из дневников автора о жизни в советской России, вплоть до изгнания в 1922 году. Задним числом, поражает смелость многих лиц, в том числе самого Сергея Петровича, и слабость, в ту эпоху, политической полиции советской власти. Книга завершается кратким, но весьма патетическим описанием выезда из России.

Когда кончаешь читать книгу, испытываешь грусть о том, что С. П. Мельгунов не оставил записи о своей жизни и работе в эмиграции; но на основании материалов, собранных в книге, кто-нибудь другой, обладающий таким же даром живой речи, каким обладал сам Сергей Петрович, мог бы написать интересную работу о 35 годах эмигрантской жизни большого русского патриота исполненного пламенным желанием вывести Россию из тупика, в каком она была в дни его юности и опять во время войны, но в то же время отлично понимавшего, что невысказано по мановению волшебной палочки, превратить ее в «самое демократическое государство на свете».

Н. С. Тимашев

NICOLAS ZERNOV. *The Russian Religious Renaissance of the Twentieth Century*. Darton, Longman and Todd. London. 1963.

«Борьба между христианами и марксистами в России подымает много проблем, касающихся не только будущности церкви в России, но и судьбы христианства в современном мире. Эта книга не претендует на знание ответов на столь важные вопросы; её задача дать описание того религиозного обновления среди русской интеллигенции, которое предшествовало падению Империи и продолжалось в первые годы коммунистической диктатуры. Атеистические предубеждения советского правительства привели не только к подавлению христианского возрождения внутри страны, но даже к запрету всякого упоминания о нем в печати, кроме как в контексте антирелигиозной пропаганды.

При этих условиях религиозное обновление нашло себе свободное выражение только среди русских в изгнании. Большинство ли-

тературы по этому вопросу было опубликовано в западной Европе и в Америке. Недостаточность источников очень затрудняет изучение этой драматической страницы развития русской культуры. Эта книга должна поэтому рассматриваться только как предварительное исследование, а отнюдь не как всесторонний разбор сложных причин, которые коренным образом изменили накануне революции духовный облик многих выдающихся представителей интеллигенции.

Люди, стоявшие во главе религиозного обновления, были видными мыслителями и проникновенными исследователями социальных и политических изменений в жизни современного человечества... Политически эти русские были побеждены. Некоторые из них были изгнаны из своей страны, другие были принуждены замолчать или погибли в тюрьмах и концлагерях; но их идеи не были уничтожены. Те из них, кому пришлось стать бездомными изгнанниками сохранили верность своим убеждениям, и продолжали служить своей церкви и своему народу».

Так пишет Николай Михайлович Зёрнов в предисловии к своей книге — «Русское религиозное возрождение двадцатого века».

Я переводил это предисловие со смешанным чувством. То, что книга проф. Зёрнова вышла по-английски — это хорошо. Она поможет иностранному читателю лучше понять духовный облик и судьбу русской интеллигенции. Ведь до сих пор у некоторых иностранных авторов, даже прославленных, нередко натыкаешься на самые удивительные об этом представления. Но эта книга, конечно, должна была бы выйти и по-русски. В том, что мне пришлось читать ее по-английски было что-то трагически нелепое. Эмигрантские книги теперь легче проникают на ту сторону и столько свидетельств было оттуда, что там молодежь, которая ищет новых идей, особенно жадно набрасывается как раз на книги тех вернувшихся к христианству представителей интеллигенции, о которых пишет Зёрнов.

Чтобы сделать читателю понятным всё значение в истории русской культуры этого духовного обновления начала века, проф. Зёрнов в предварительных главах дает краткий очерк истории духовных и политических движений среди русской интеллигенции, начиная с Радищева и вольных каменщиков Новикова. Зёрнов считает, что несмотря на всё своё западничество революционное движение интеллигенции было движением более эсхатологическим, чем политическим, сходным по своему духовному радикализму с крайне консервативным движением староверов. «Обе эти группы бунтовщиков, — пишет Зёрнов, — отличаются одинаковой верой в свои убеждения, готовностью жертвовать за них жизнью, бесстрашным протестом против государства... и отрицанием существующих общественных условий во имя идеального порядка».

При всей своей сжатости этот очерк дает очень широкую картину общественного движения в России до начала двадцатого века. Он даже полнее обычных обзоров такого рода. Так, проф. Зёрнов вводит главу о положении церкви накануне революции и о борьбе церковной интеллигенции за церковные реформы, или, по выражению «Московских Ведомостей», за «церковную революцию». Он говорит и о главном противнике церковной реформы — Победоносцеве. Воздавая должное уму и глубокому религиозному чувству прокурора святейшего синода, проф. Зёрнов указывает на цинизм его крайнего консерватизма и причисляет его к числу тех, кто, желая спасти Империю, только способствовали ее гибели.

Проф. Зёрнов говорит о религиозном возрождении 20-го века, как об одном из решающих событий в истории русской культуры. Его книга — апология этого возрождения, но ее не назовёшь партийной, в том смысле, в каком была партийной и сектантски-нетерпимой почти вся русская публицистика. Увы, большевистские приемы полемики не были изобретены Лениным и у него не было на них монополии. Бердяев не преувеличивал говоря, что коллективное общественное мнение русской интеллигенции всегда было деспотическим и в этом смысле большевистским. Духом предвзятости и нетерпимости были проникнуты высказывания даже самых демократических либеральных представителей русской интеллигенции. Так проф. Милюков в зарубежном юбилейном издании своих «Очерков русской культуры» писал о чуждых ему философских течениях с резкостью и упрощительством. Книга же Зёрнова одна из редких русских книг, свободных от этого духа нетерпимости. Это особенно чувствуется в главах, где он рассказывает злосчастную повесть «ордена русской интеллигенции». В его рассказе не найти и следа того родившегося в гражданскую войну озлобления, с каким и до сих пор многие всё еще смотрят на прошлое интеллигенции. Эта беззлобность придает книге Зёрнова редкое очарование.

В следующих главах автор говорит о первых проявлениях религиозного обновления в начале века, о Религиозно-философском обществе, о «Вехах». Он приводит обширные выдержки из основных веховских статей. Говоря о негодовании, вызванном «Вехами» среди радикальной интеллигенции, автор отмечает, что в некоторых сборниках, направленных против «Вех», особенно в статьях социал-революционеров, о веховцах говорилось совершенно в тех же грубейших выражениях, в каких через несколько лет о самих эсерах начнет говорить Ленин. Зёрнов приводит также выдержки из статьи Милюкова с призывом к веховцам вернуться в ряды интеллигенции и кончает эту главу цитатой из воспоминаний другого лидера кадетской партии Иосифа Гессена: «Успех Вех был ошеломитель-

ный . . . Не было ни одного периодического органа, который не отозвался бы на эту книгу, интеллигенция горячо защищалась, но два сборника, вступивших в бой с «Вехами» — «В защиту интеллигенции» и «По вехам» — заметного впечатления не произвели. Меня этот сборник сильно смутил, я впервые почувствовал, что нашему веку действительно приходит конец, что «Вехи» намечают лозунги будущего, постепенно они и становятся теперь господствующими и пользуются защитой науки: естествознание переходит к метафизическому мировоззрению».

Проф. Зёрнов с большой любовью говорит о четырех главных веховцах: Петре Струве, Сергее Булгакове, Николае Бердяеве и Семене Франке. Духовный путь этих выдающихся представителей интеллигенции, пришедших к православию, Зёрнов считает символистичным; «они все начали как марксисты и революционеры, но кончили как убежденные христиане и все четверо перетерпели за свои религиозные убеждения изгнание. Между тем они вышли из очень разных этнических и культурных слоев, составлявших в двадцатом веке русскую интеллигенцию».

Сходные черты в судьбе этих четырех больших людей, мне кажется, заслонили от внимания Зёрнова, что между ними были и глубокие различия. Прийдя к православию Струве и Франк одновременно пришли и к отречению от своей прежней социалистической веры, заменив ее либеральным консерватизмом. Для Бердяева же и Булгакова возвращение к христианству вовсе не значило такого отречения. Они остались верны этическому, христианскому в своем происхождении вдохновению «ордена». Они только очистили его от шелухи «вечно-шестидесятнического» интеллигентского мирозерцания. Вот почему трудно согласиться с Зёрновым, когда он пишет, что в отличие от Струве, сохранившего и после своего религиозного обращения интерес к экономике и политике, Булгаков, вернувшись в церковь, политикой интересоваться перестал. Так ли это? Ведь когда в тридцатых годах Бунаков, Федотов и Степун для проповеди социального христианства начали издавать журнал «Новый Град», Булгаков принял в нем близкое участие. В напечатанных в «Новом Граде» статьях «Душа социализма» Булгаков с большой силой и вдохновением призывал христиан искать социальную правду и «заданую их эпохе социальную утопию с ее динамизмом».

Поэтому к Булгакову вполне подходит то общее определение интеллигентов, пришедших к христианству, которое дает в своей книге Зёрнов: «бывшие марксисты, они оставались членами Ордена; они по-прежнему были одушевлены видением обновленного человечества, и по-прежнему хотели решительно бороться за социальные и экономические улучшения, необходимые для благосостояния все-

го общества; но теперь они излечились от моральной путаницы; они ясно увидели христианские основания своей социальной программы, и могли теперь безоговорочно утверждать священную ценность каждой человеческой личности и необходимость свободы для подлинного прогресса человечества. Они больше не были ослеплены анти-христианскими предубеждениями прежних вождей интеллигенции. Они освободились от догматического материализма и самодовольного позитивизма и имели моральное мужество отвергнуть терроризм и обман, как недопустимые средства политической борьбы».

Зёрнов рассказывает затем о трагической судьбе большинства этих интеллигентов, вернувшихся в церковь, о созданных ими духовных братствах и о том, как многие из них погибли в первые же годы коммунистической диктатуры, были арестованы, сосланы, расстреляны. Те же, кто оказались в эмиграции, продолжали на чужбине дело примирения «ордена» с православной церковью. В этих главах Зёрнов говорит о некоторых группах, возникших уже за рубежом: — «Русском студенческом христианском движении», «Православном деле», «Новом Граде» — и о многих замечательных деятелях, принявших участие в этих движениях. С особенной теплотой и глубоким сочувствием Зёрнов рассказывает о Бунакове-Фондаминском, о матери Марии, об отце Дмитрие Клепинине, погибших во время войны мученической смертью в немецких концлагерях.

Попутно Зёрнов говорит и о некоторых возникших в эмиграции политических движениях, хотевших «строить на христианстве», но на самом деле подменявших христианство шатовщиной. Об этих движениях, особенно об евразийстве, он говорит, по-моему, слишком уж нейтрально. В евразийстве участвовало много очень даровитых профессоров, но оно родилось из чувств, в которых было не мало болезненного и даже порочного. Этот недостаток душевного здоровья отразился на всех реформаторских замыслах евразийцев и на всей судьбе их движения. С его «бытовым исповедничеством», «идеократией» и отречением от демократического Запада, с его культом Чингиз Хана и Грозного — евразийство в сущности было русской вариацией вырождения романтизма в тоталитаризм.

Одна из самых интересных и важных глав в книге — это глава об участии русских зарубежных деятелей в экуменическом движении. Сам Зёрнов принимал и принимает в этом движении деятельное участие. Это дело всей его жизни. Раскол христианства на западное и восточное — без сомнения одно из самых трагических событий в истории христианства. Можно гордиться, что в осознании необходимости возобновления диалога между западными и

восточными христианами русские религиозные деятели сыграли очень важную роль. В эмиграции, кроме людей близких к Сергиевскому подворью и Русскому студенческому христианскому движению, мало кто об этом знал. Волнующее впечатление производит рассказ Зёрнова, как отец Сергей Булгаков выдвинул идею что сближение надо начинать с молитвенного общения перед алтарём, а не с богословских споров. Эта идея подмены спора о догматах совместным действием возможно окажется в будущем одной из самых плодотворных идей для обхода тупиков не только религиозных, но и всяких других догматических противоречий.

В главе «Премудрость Божия» Зёрнов дает очерк русского религиозного сознания, сложившегося, по его мнению, под сильным влиянием софианского богословия. Так же, как и в главе «Встреча с христианским Западом», в центре этой главы — отец Сергей Булгаков. Книга Зёрнова поможет иностранному читателю открыть этого замечательного религиозного мыслителя, в отличие от Бердяева, по-настоящему еще не открытого даже русскими читателями.

Свой рассказ о членах «Ордена» пришедших к христианству, Зёрнов кончает такими словами: «Их идеи в настоящее время неизвестны в коммунистической России; их голос не слышен народу, верными сынами которого они были. Но придёт время, когда эти представители интеллигенции смогут, хотя бы посмертно, обратиться к своему народу и получают признание, которое они заслужили своими талантами, трудами и жертвами».

Это последние слова в книге. Хочется верить, что они сбудутся.

«Что бы ни изображал художник: святых, разбойников, царей, лакеев, — мы ищем и видим только душу самого художника». Эти слова Толстого приложимы, конечно, и к историческим и к публицистическим книгам. Чем дольше живёшь и чем больше думаешь над прочитанным, тем больше в этом убеждаешься. В этом смысле отзыв на книгу Зёрнова дается без всякой внутренней борьбы. Читая ее несомненно чувствуешь — это книга светлой ауры, написанная не для разжигания вражды, а для увеличения добра в мире. Пожелаем же ей счастливой судьбы.

В. Варшавский

АЛЛА ЦИВЧИНСКАЯ. *Незабвенное, немеркнувшее...* Нью Йорк, Изд-во «Дон», 1963 (79 стр.).

В Нью Йорке, сначала по-украински в 1962 г., а затем и в русском варианте в 1963 г., вышла небольшая, печальная и правдивая повесть Аллы Цивчинской — «Незабвенное, немеркнувшее...». Это книга о профессоре Николае Константиновиче Зерове, литературоведе, критике и талантливом поэте. Зеров был главой киевской группы нео-

классиков. Он безвременно погиб где-то в системе Ухта-Печорских лагерей, куда его вывезли с одного из Соловецких островов поздней осенью 1937 года.

Неудивительно, поэтому, что советская литература о Зерове очень бедна. В томе «Литературной Энциклопедии», вышедшем в 1930 г., ему еще посвящена более или менее объективная статья с приложением библиографии, но затем, кроме злобных выпадов в периодической прессе, предшествовавших аресту Николая Константиновича, не было ничего. Это поистине гробовое молчание было нарушено только в 1960 г. В пятом томе «Української Радянської Енциклопедії» Зерову посвящено несколько строк, ничего не раскрывающих из его жизненного пути, не упоминающих о его аресте и ссылке, но указывающих дату его смерти — 13 октября 1941 года.

Среди изданий, появившихся за рубежом, поэтическому творчеству Николая Константиновича Зерова, так же как и его литературно-критическому наследству уделяется большое внимание. Опубликованию неизданных на родине трудов и литературных произведений проф. Зерова, а также составлению комментариев к ним, много помог живущий в эмиграции младший брат Николая Константиновича, тонкий поэт Михаил Орест.

Однако, ни в развернутой статье Владимира Державина «Поэзия Николая Зерова и украинский классицизм», предваряющей *Sonneta-tium* в издании 1948 года, ни в статье «Николай Зеров, его жизнь и творчество», подписанной инициалами И. П. и служащей предисловием к краковскому изданию работы Зерова «К истокам» (1943 г.), ни в каких-либо справочных изданиях и воспоминаниях не отмечена, пожалуй, самая замечательная и неповторимая черта в облике этого человека, делавшая его особенно опасным в глазах представителей советской власти. Именно этот важный пробел и заполняет книга Аллы Цивчинской, подчеркивающей дар красноречия и редкое умение Николая Константиновича привлекать к себе сердца и умы молодежи.

В предисловии к русскому варианту своей повести автор говорит: «Созданию ореола легендарности вокруг образа Николая Зерова способствовала его всесторонняя ошеломляющая эрудиция и, в первую очередь, та сторона его многогранной одаренности, которую... он унес с собой в могилу, а именно — дар его живой речи: его лекции, выступления на литературных диспутах, его рефераты... И как уносили свой талант с собою, уходя из жизни, великие сценические артисты — в те времена, когда не существовало еще ни звукозаписи, ни киносъемок, — так и ораторский талант Зерова канул в вечность вместе с гибелью самого Н. Зерова. Звукозаписи тогда не было, а если бы и была, ее для Зерова (научной величины, слишком властям несозвучной) не стали бы применять...»

Автор этой рецензии может полностью подтвердить приведенные выше слова. Нам обеим, хоть и не знакомым друг с другом, посчастливилось слушать лекции Н. К. Зерова именно в описываемое в повести время (в 1933-34 годах), предшествовавшее отстранению его от преподавания, а затем и аресту весной 1935 года. Лекции эти были по разным предметам, но их общие черты только усиливают впечатление от необычайной эрудиции и дара речи, которыми обладал «наш Микола Костьович», как его любовно называли многие киевские студенты.

Ляля, героиня повести Цивчинской, в поступках которой ясно проступает отношение самого автора к этой наиболее колоритной фигуре украинского «расстрелянного Возрождения», слушала у проф. Зерова курс украинской литературной критики и журналистики, также как и курс дореволюционной украинской литературы. Получив из рук профессора свой матрикул, Ляля радовалась, что наряду с полученной высокой оценкой, она теперь будет иметь и подпись любимого профессора. В моем матрикуле, против названия курса «Методология и методика перевода» красным чернилом тоже вписана высшая оценка, скрепленная подписью: «Ник. Зеров. 21. VI. 933».

Как характерна для Николая Константиновича эта пропущенная единица в указании года! Даже в такой мелочи сказалась его душа, равная к прошлому, отталкивавшаяся от советской действительности, от «наших подлых и скупых времен», о которых он писал в одном из своих сонетов. А сколько души было вложено во весь курс, видимо специально созданный для студентов, изучавших иностранные языки, и позволявший этому великолепному переводчику и поэту знакомить своих слушателей с жемчужинами западной литературы в переводах украинских писателей. На лекциях, и даже чаще в перерывах между ними, он охотно читал обступившим его студентам оригинальные тексты, чаще всего французские, а затем собственные переводы, или же вышедшие из-под пера его друзей и единомышленников. Эти поэты-неоклассики, по удачному выражению Владимира Державина, «спасли... достоинство и суверенитет украинского художественного слова», но все они погибли, разделив трагическую судьбу наиболее яркого представителя этого течения — Н. К. Зерова.

Эти незабываемые лекции упомянуты и в моей «Повести кривых лет»: «Полузакрыв глаза, набросив пальто на одно плечо, — аудитории наши почти нетоплены, — цитируя на память страницу за страницей, с великолепной щедростью осыпает он ошеломленных студентов богатейшими запасами своих поистине неисчерпаемых знаний...» Еще ярче встает образ Зерова-профессора со страниц книги Аллы Цивчинской: «Он поражает много цитировал по памяти, и, — сам поэт, — декламировал мастерски, глубоко продуманно, заду-

шевно... Сколько имен современников рассматриваемого автора, сколько заглавий произведений, сколько документальных ссылок... Сколько анекдотов, литературных и исторических, сколько сравнительных характеристик, сколько цитат наизусть и на скольких языках!.. И о каждом авторе профессор Зеров говорил так, точно лично близко знал его, жизнь его наблюдал собственными глазами и специально изучал его психологию... Было время, в ранние 20-ые годы, когда в часы лекций профессора Зерова (он читал тогда в педагогическом и кооперативном институтах Киева) чьи бы то ни было другие лекции не могли происходить: зачарованные студенты всего института массово шли слушать только Зерова, излюбленного ими врожденного трибуна-оратора».

Автор рецензии отнюдь не может претендовать на ту «беседу родственных душ», которую все время ведет героиня этой повести с профессором, но хотелось бы сказать, что Николай Константинович вообще был необычайно приветлив и общителен со студентами и охотно вел с ними любые «побочные» разговоры. Помню, как один случайный вопрос вызвал блестящую лекцию о Микеле Кулише и его «Народном Малахие», которую Н. К. прочел на ходу, шагая рядом со своими студентами по киевским улицам. Следовало бы отметить и то, что страстный поборник украинского слова и украинской культуры, Николай Константинович, однако, никогда не проявлял узкого национализма. Он любил все прекрасное, независимо от того, у какого народа оно родилось, и какой язык послужил материалом для передачи этого прекрасного.

Живо написанная книга Аллы Цивчинской знакомит читателя с Зеровым-человеком, правда в другом разрезе, чем это сделал Юрий Клен в своих «Воспоминаниях о нео-классиках». Несмотря на некоторую сентиментальность повести, фигура Н. К. Зерова выступает в ней очень ярко, со всеми тонко и любовно подмеченными мелкими чертами, сохранившимися в памяти и других благодарных ему студентов.

Книга эта ценна и рядом правдивых сведений о последних годах жизни Николая Константиновича на свободе. Таково, например, описание нашумевшего в свое время отчета профессора Зерова, тогда руководителя кафедры украинской литературы в университете. Этот отчет действительно был в течение долгого времени предметом толков и восхищения студентов. Задуманный университетскими властями как «покаяние», он превратился в триумф — студенты бурно аплодировали уже впадшему в немилость профессору.

Алла Цивчинская ведет читателя по всем ступеням, по которым Н. К. Зеров сошел с профессорской кафедры в тюремную камеру. Нападки газет, травля своего бывшего учителя доцентом Колесником,

неустанно громившем «врага», «националиста», «контр-революционера» Зерова создавали, казалось бы, нестерпимую атмосферу для жизни и работы. Но они не сломили силы духа «неисправимого оптимиста», как сам себя называл Николай Константинович, и не заставили его потерять веру в людей и в свои идеалы.

Снабженная теплым предисловием Вячеслава Завалишина и подробными примечаниями автора, сразу же вводящими читателя неукраинца в курс дела, эта искренняя, приятно изданная книга заслуживает внимания широких кругов читателей.

Татьяна Фесенко

АМЕРИКАНСКАЯ БИОГРАФИЯ Г. В. ПЛЕХАНОВА

PLEKHANOV. The Father of Russian Marxism, by Samuel H. Baron, Stanford University Press, Stanford, California, 1963.

С именем Георгия Валентиновича Плеханова связана не только история русского революционного движения, начиная с 70-х годов прошлого века и до большевистского переворота 1917-го года, но и история международного социализма. Но несмотря на то, что со дня смерти Плеханова прошло уже сорок шесть лет, до сих пор ни на одном языке еще нет вполне объективной биографии этого выдающегося человека, публициста и мыслителя. Среди социалистов Плеханов был бесспорно самым сильным и ярким противником Ленина и большевизма. Он был таковым еще до революции 1905-1907 гг. А после революции 1917-го года в своей петроградской газете «Единство» Плеханов почти изо дня в день не переставал писать против большевиков, левых меньшевиков и левых социалистов-революционеров, которых он называл «полуленинцами», обвиняя в том, что они своей политикой и тактикой в «Советах рабочих и солдатских депутатов» прокладывают дорогу победе ленинцев. Победу же ленинцев Плеханов считал величайшим несчастьем не только для России, но и для всего свободного мира.

Большевики считали Плеханова своим опаснейшим врагом. Только через шесть лет после смерти Плеханова они издали собрание его сочинений. Но в это собрание не вошли многие статьи Плеханова против Ленина, не вошли статьи о первой мировой войне и ни одна из статей Плеханова, которые он писал почти ежедневно в своей газете «Единство». А в этой газете Плеханов писал с первого дня своего возвращения в Россию в апреле 1917-го года и до закрытия ее большевиками в феврале 1918-го года. Те несколько биографий Плеханова, которые были опубликованы в Советском Союзе, написаны большевиками и, конечно, объективности в них искать не приходится.

Автор английской книги «Плеханов — отец русского марксизма», профессор Барон, повидимому, много работал над своей книгой. Он проштудировал обильный материал: работы Плеханова и о Плеханове. Он проинтервьюировал дочерей Плеханова, живущих еще в Париже. От них он узнал некоторые новые факты из жизни Плеханова. Они ему разрешили скопировать некоторые письма, которые Плеханов и его жена писали им из Петрограда в 1917-ом году и которые до сих пор нигде не были опубликованы.

В своей книге проф. Барон дает основные события личной жизни Плеханова, рассказывает об идейной эволюции молодого Плеханова, как он из революционного народника и сторонника анархиста Бакунина стал первым пропагандистом ортодоксального марксизма, а позднее одним из основателей и главным теоретиком российской социал-демократии. Обо всем этом профессор Барон пишет подробно. Он рисует борьбу, которую вел Плеханов против тех течений в социал-демократическом движении, которые он считал «еретическими» с точки зрения своего ортодоксального марксизма. Автор подробно рассказывает о борьбе Плеханова с так называемыми «ревизионистами» — Эдуардом Бернштейном, Конрадом Шмидтом, Петром Струве и другими. Барон говорит и о влиянии Плеханова на молодого Ленина. Он показывает, как Ленин позже стал ортодоксальнее и гораздо нетерпимее к критикам марксизма, чем его бывший учитель Плеханов.

Несомненно, что Плеханов был не только выдающимся представителем философского и исторического материализма, но он был и дальновидным политиком в широком смысле слова. Он умел предвидеть многое. Так, еще в 1883-ем году, в своем первом марксистском сочинении «Социализм и политическая борьба», Плеханов предупреждал, что попытка какой-либо революционной партии, представляющей меньшинство населения, захватить власть с целью установления в России социализма окончится тем, что производством будет заведывать «социалистическая каста». Плеханов писал:

«При такой опеке над народом народ не только не воспитался бы для социализма, но или окончательно утратил бы всякую способность к дальнейшему прогрессу или сохранил бы эту способность, лишь благодаря возникновению того самого неравенства, устранение которого было непосредственной целью революционного правительства».

А через год в своей книге «Наши разногласия», Плеханов снова предупреждал против попытки силой вводить социализм в России:

«Если бы у нас действительно установилось народоправление, то... народ на вопрос — нужна ли ему земля и следовало ли отобрать

ее у помещиков, — ответил бы: 'Да, нужна, и отобрать ее следовало'... На вопрос же — нужно ли ему 'начало социалистической организации' — сначала ответил бы, что он не понимает, о чем его спрашивают, а затем, с большим трудом поняв, в чем дело, ответил бы: 'Нет, мне этого не нужно!'

«Если правительство, образованное захватившими власть революционерами, — писал Плеханов в своей книге 'Социализм и политическая борьба', — станет, тем не менее, вводить социализм, то решить эту задачу оно должно будет или в духе современного социализма, чему помешает как его собственная непрактичность, так и современная степень развития национального труда и привычки самих трудящихся; или же оно должно будет искать спасения в идеалах 'патриархального и авторитарного коммунизма', внося в эти идеалы лишь то видоизменение, что вместо перувианских 'сынов солнца' и их чиновников национальным производством будет заведывать социалистическая каста».

Так писал Плеханов в 1883-1884 годах. А через двадцать лет по поводу ленинского централизма Плеханов 1-го мая 1904-го года писал в «Искре»:

«Если централизм Ленина восторжествует в «Российской социал-демократической рабочей партии», если Цека партии будет наделен диктаторскими полномочиями, как этого требует Ленин, то тогда перед каждым съездом Цека всюду раскассирует все недовольные им элементы, всюду посадит своих креатур и, наполнив этими креатурами все комитеты, без труда обеспечит себе вполне покорное большинство на съезде. Съезд, составленный из креатур Цека, дружно кричит ему 'ура', одобряет все удачные и неудачные действия и рукоплещет его планам и начинаниям. Тогда у нас, действительно, не будет ни большинства, ни меньшинства, потому что тогда у нас осуществится идеал персидского шаха... Это просто-напросто была бы мертвая петля, туго натянутая на шее нашей партии, это **бонапартизм**, если не абсолютная монархия старой, дореволюционной 'мамеры'».

Таких, вполне сбывшихся, предсказаний Плеханова, сделанных в разные периоды его деятельности очень много в книге профессора Барона «Плеханов — отец русского марксизма». В своей критике ортодоксального марксизма и исторического материализма профессор Барон вполне прав. Но во второй части своей книги, где Барон рассказывает о политической позиции Плеханова во время первой революции 1905-1907 годов, и позже об отношении Плеханова к войне 1914-1918 годов и о позиции Плеханова в революции 1917-го года у него много неточностей и грубых ошибок, свидетельствующих о по-

верхностном знакомстве автора с историей освободительного движения в России и с историей международного социализма.

Так, например, на странице 132-ой он говорит о дружбе Плеханова и переписке его с Карлом Либкнехтом. С Карлом Либкнехтом Плеханов никогда не дружил, а дружил он и переписывался с отцом Карла Либкнехта, Вильгельмом Либкнехтом. На стр. 170-ой он пишет, что Эдуард Бернштейн в 1898-ом году начал печатать в журнале Карла Каутского "Die Neue Zeit" серию статей, в которых он подверг критике некоторые из основных тезисов Карла Маркса. В действительности же критику марксовской теории в "Die Neue Zeit" Бернштейн начал еще в 1896-ом году и закончил в 1898-ом году. На стр. 181-ой Барон пишет, что «Маркс в своем Коммунистическом Манифесте отметил с искренним одобрением недавнее завоевание английским рабочим классом десятичасового рабочего дня». В «Коммунистическом Манифесте», опубликованном впервые в 1848-ом году Маркс ничего подобного не писал и не мог писать, а писал это он через 14 лет, в 1864-ом году в Учредительном Адресе Международного Товарищества Рабочих (Первого Интернационала). На стр. 163-ей автор пишет, что в 1889-ом году на Учредительном Конгрессе Второго Социалистического Интернационала в Париже Плеханов в своей речи, якобы, сказал: «Революция в России победит как движение рабочего класса или совсем не победит». На самом деле Плеханов сказал что «революционное движение в России победит как рабочее движение или совсем не победит», а это не одно и то же. На стр. 331 Барон пишет, что в 1915-ом году Плеханов начал издавать в Париже оборонческую еженедельную газету «Призыв» «в сотрудничестве с правыми социал-демократами и правыми социалистами-революционерами». «Среди них, — пишет он, — были эс-еры Авксентьев, Бунаков и Аргунов и бывшие социал-демократические депутаты Государственной Думы Г. А. Алексинский и Белоусов». На самом деле Авксентьев и Бунаков до войны не были правыми эс-ерами, а Г. А. Алексинский был лидером большевиков во второй Думе и до войны часто бывал левее даже самого Ленина.

В своей оценке Плеханова, как политика в широком смысле слова, профессор Барон слишком полагается на большевистских биографов Плеханова и на тех лево-социалистических историков и мемуаристов, которых Плеханов в 1917-ом году вполне справедливо называл «полуленинцами». И от этого книга Барона значительно пострадала. Нарисованный им портрет политика Плеханова мало похож, а местами совсем не похож на оригинал. Так, например, профессор Барон вслед за большевиками повторяет, что «Плеханов, почти всю свою жизнь потративший на то, чтобы организовать пролетариат в самостоятельную политическую силу, в 1905-1906 годах

резко критиковал революционную тактику большевиков и **меньшевиков** и готов был поддержать любую инициативу либералов в борьбе за настоящую конституцию, какая бы она ни была умеренная».

Профессор Барон цитирует Каутского, который в 1906-ом году был согласен с Лениным. Но позднее, как известно, не только все меньшевики, но и часть бывших видных большевиков признали, что прав тогда был Плеханов, а не Ленин и не Каутский. Да и сам Каутский это признал. В другом месте своей книги профессор Барон пишет, что в 1905-1906 гг. Плеханов не писал в главных социал-демократических органах, выходивших тогда легально в Петербурге и в Москве, а писал только в своем «Дневнике социал-демократа» и в газете «левых демократов» — «Товарищ». Это тоже не верно. В первой большой легальной газете меньшевиков — «Начало», выходившей в Петербурге в ноябре 1905-го года, Плеханов числился сотрудником. Но газета эта просуществовала только семнадцать дней и была закрыта правительством. Тон в этой газете задавали Троцкий и Парвус, которые тогда были очень лево настроены и Плеханов в **частном письме** действительно критиковал политическую линию газеты, но в легальных меньшевистских газетах 1906-го года «Курьер», «Наш курьер» и других Плеханов писал много и даже опубликовал в них целую серию статей под заглавием «Письма о тактике и бестактности». В 1906-1907 годах Плеханов также был редактором толстого марксистского журнала «Современная жизнь», выходившего в Москве, где сотрудничали видные меньшевики с Мартовым во главе. В «Товарище» Плеханов писал, когда ежедневные меньшевистские газеты были закрыты.

На Стокгольмском съезде Российской Социал-демократической Рабочей партии весной 1906-го года Плеханов выступал, как один из лидеров меньшевиков, а на Лондонском съезде партии в 1907-ом году Плеханов был главным политическим оратором меньшевиков и его речи потом были изданы отдельной брошюрой под заглавием «Мы и они». «Мы» — это значило **меньшевики**, а «они» — **большевики**. В предисловии к этой брошюре, которая, кстати сказать, не вошла в Собрание сочинений Плеханова, изданное Госиздатом, Плеханов, между прочим, отвечает большевикам, которые говорили, что «сегодняшний Плеханов» (то есть Плеханов 1907-го года) уже «не тот же самый революционер Плеханов прошлых лет». Именно в меньшевистских легальных газетах и журналах Плеханов проповедывал, что социалисты должны поддерживать требования Первой Государственной Думы об ответственном министерстве. «Реакция старается нас изолировать, — писал Плеханов тогда в одной из своих статей, — мы должны сосредоточить все свои силы на том, чтобы изолировать реакцию». И с этим тогда были согласны все меньшевики.

Самая неудачная глава в книге профессора Барона «Плеханов — отец русского марксизма» — это глава под названием «От интернационализма к национализму». Здесь Барон пишет, что «Плеханов, который в течение почти сорока лет призывал русский народ к свержению царского правительства, во время войны призывал народные массы России защищать это правительство и его усилия вербовать русских добровольцев для французской армии символизировали собой полный отход его от своих принципов». Это опять-таки не соответствует действительности. Плеханов никогда не призывал к защите царского правительства. Плеханов писал:

«Россия принадлежит не царю своему, а своему трудящемуся населению. Кому дороги интересы этого населения, тот не может быть равнодушен к судьбам России... Мы должны восставать против эксплуатации одного народа другим, как мы восстаем против эксплуатации трудящейся массы господствующими классами. Я сочувствую своей родине, когда она подвергается нападению и не сочувствую ей, когда она нападает... Я никогда не говорил, что русский пролетариат заинтересован в победе русского империализма, и никогда этого не думал. Я убежден, что он заинтересован лишь в одном: чтобы русская земля не сделалась предметом эксплуатации в руках германских империалистов, а это нечто совсем другое».

Вслед за большевиками профессор Барон повторяет, что Плеханов с наступлением мировой войны в 1914-ом году из интернационалиста якобы превратился в русского националиста. На самом деле Плеханов в своем первом же докладе в Париже на собрании русских социалистов-эмигрантов в сентябре 1914 года об отношении социалистов к войне сказал:

«Войну начала Германия. Она является нападающей страной. Германия полудеспотическая страна. Бельгия, Франция, Англия — демократические страны, поэтому обязанность социалистов всего мира их защищать. Если победит Германия, то она заберет у России территории, расположенные у моря и которые являются воротами России в Европу. Россия превращена будет в германскую колонию, в рынок для сбыта германских товаров. Промышленность самой России упадет. Российский рабочий класс вследствие этого сильно ослабеет и политическое, экономическое и социальное развитие России, таким образом, будет отброшено на многие десятилетия назад».

Дальше, тоже вслед за большевистскими историками и бывшими «интернационалистами», профессор Барон повторяет, что виновниками первой мировой войны были не только Германия и Австро-Венгрия, но также союзники, то есть Англия, Франция и Россия. Но такие авторитетные германские социалисты, как Эдуард Бернштейн и

Карл Каутский, еще во время войны утверждали, что виновниками мировой войны были не Англия, не Франция и не Россия, а власти Австро-Венгрии и германские милитаристы и империалисты. А после германской революции Каутский, специально исследовавший вопрос о виновниках войны по архивам германского министерства иностранных дел, опубликовал книгу, в которой установил полную ответственность Германии за возникновение мировой войны. И в своем последнем труде «Социалисты и война», опубликованном Каутским на немецком языке в Праге в 1947-ом году, за год до его смерти, он пишет: — «Мировую войну 1914-го года Германия хотела и планомерно ее подготовляла, но объявили эту войну превентивной войной. Мировая война не была продуктом капитализма или империализма».

Это именно то, что утверждал и Плеханов в годы войны и с чем теперь согласны все европейские и американские серьезные, беспристрастные историки. В этой же книге Каутский, между прочим, также указывает, что Плеханов пришел к своей позиции в войне, не потому, что он якобы стал русским националистом, а благодаря, именно, своему **интернационализму**, потому что он сознавал необходимость безусловной защиты европейской демократии. «Как интернациональный демократ, — пишет Каутский, — Плеханов считал необходимым защиту европейской демократии, которой грозила бóльшая опасность со стороны германского империализма, чем со стороны русского абсолютизма».

На стр. 332 Барон пишет, что позиция, занятая Плехановым во время войны, «изолировала его буквально от всех его бывших соратников». Это тоже не верно. Не только Л. Г. Дейч и Вера Засулич, бывшие вместе с Плехановым в 1883-ем году основателями «Группы освобождения труда», заняли такую же позицию по отношению к войне, но и А. Н. Потресов, один из бывших основателей и редакторов «Искры» и Петр Маслов, один из старейших и виднейших теоретиков марксизма, были оборонцами и нигде не заявляли о своем несогласии с Плехановым. После же падения царского самодержавия, они открыто солидаризировались с его взглядами на войну и на революцию. С Плехановым с самого начала войны были вполне согласны — бывший старый меньшевик и редактор серьезного марксистского журнала «Современный мир» Николай Иорданский и старый социал-демократ Борис Кричевский, бывший редактор «Рабочего дела» и некоторые другие бывшие видные социал-демократы.

В конце своей книги профессор Барон признает, что Плеханов оказался прав в своем предсказании, что пока германская армия не будет побеждена, никакой революции не произойдет в Германии и

что победоносная Германия навяжет России чрезвычайно тяжелые для нее условия мира. Как известно, в результате Брест-Литовского мира Россия была расчленена, она потеряла свои приморские территории и свободный выход в Европу. Только в результате разгрома германской армии на западном фронте Германия вынуждена была капитулировать и Брест-Литовский мир был аннулирован.

Барон признает, что сбылось предсказание Плеханова о том, что, захватив власть, большевики, опирающиеся на незначительное меньшинство населения, неминуемо вызовут гражданскую войну в России и большевистское правительство в состоянии будет только организовать всероссийский голод, а не свободный социалистический строй.

Еще за несколько месяцев до большевистского переворота Плеханов предвидел, что при слабости и нерешительности Временного правительства, в результате постоянного давления на него со стороны левых социалистов, возглавлявших Петроградский и Всероссийский Советы Рабочих и Солдатских Депутатов, Ленину и его сторонникам удастся захватить власть. Гуляя в то время однажды по набережной Невы с известным бельгийским социалистом Де-Брукером, Плеханов, указывая ему на Петропавловскую крепость, где в царские времена содержались многие заключенные революционеры, заметил: «Через три месяца моя очередь быть там». Захватившие власть большевики не заключили больного Плеханова в Петропавловскую крепость, а подослали к нему в дом матросов, которые грозили его убить. Большевики, если бы и не убили Плеханова, то наверное со временем арестовали бы. Но жене Плеханова и его друзьям тайно от большевиков удалось перевести больного Плеханова во французскую лечебницу в Петрограде, а потом в Финляндский санаторий, где он 30-го мая 1918-го года и умер.

Говоря о победе большевиков, профессор Барон пишет, что «такой авторитет, как Троцкий, подтверждает, что без Ленина большевики не победили бы». К словам Троцкого «без Ленина» профессор Барон должен бы был еще прибавить: «...и без огромнейшей финансовой и другой помощи, которую большевики до захвата ими власти и в течение восьми месяцев после захвата власти, получили от правительства Вильгельма II и от германского генерального штаба». Но об этом профессор Барон почему-то совершенно умалчивает, хотя все документы об этом из архивов германского министерства иностранных дел были опубликованы в Германии, в Англии и в Америке за три года до выхода книги профессора Барона.

Книга «Плеханов — отец русского марксизма» — первая подроб-

ная биография Плеханова. В ней много интересных, до сих пор неопубликованных материалов, но это не исчерпывающая и далеко не объективная биография одного из замечательных русских людей, который в 1917-1918 годах олицетворял собой всю трагедию русской революции и трагедию свободолюбивой русской интеллигенции.

Д. Шуб

НИКИТА СТРУВЕ: *«Христиане в Советском Союзе»*.

N. STRUVE. "Les Chrétiens en URSS". Edit. "Seuil". Paris. 1963.

Книга Никиты Струве «Христиане в Советском Союзе», вышедшая по-французски в парижском издательстве «Сёй», является по существу первой попыткой дать полную картину положения религии в Советском Союзе с начала революции до наших дней. Обычно все книги, написанные на эту тему — а их довольно много — ограничивались либо одной какой-нибудь стороной религиозного вопроса, либо преследовали политические и апологетические цели. Главное качество книги Струве — это ее полнота и объективность. Здесь собраны сведения решительно о всех сторонах церковной православной жизни: об ее административной организации, о внешних сношениях, о богословской школе, о епископате, о духовенстве, о народе, и, наконец, о всех вне-православных, вне-церковных проявлениях религиозности. Каждое утверждение обосновано ссылкой на документы, при чем использован колоссальный материал. И использован — **объективно**.

О церкви в Советском Союзе принято писать либо только отрицательно, как чуть ли не об открытой союзнице антирелигиозного партийного режима, либо же только положительно и даже восторженно. Ни того, ни другого в книге Струве нет. И благодаря этой объективности, книга оказывается подлинно трагическим документом. Твердой и спокойной рукой нарисована картина такого бесправия, такой жестокости, такого систематического гонения, которых мы еще не видели. С этой точки зрения особенно значительна глава «Новые испытания», посвященная новой волне преследований религии, поднявшейся с 59-го года. Глава эта значительна потому, что вскрывает одно из главных противоречий религиозной политики советского правительства. А именно, в то время, как после смерти Сталина началась некая (пусть самая относительная) «либерализация режима», для Церкви и для религии вообще началось новое и усиленное гонение — закрытие храмов (больше шести тысяч!), монастырей, семинарий, новая волна антирелигиозной пропаганды и судебных процессов.

Почему же все это произошло? Книга Струве «Христиане в Советском Союзе» является косвенным ответом на этот вопрос, ибо она по-

казывает, что **только** (подчеркиваем — **только**) открытым насилием обеспечивается успех антирелигиозных сил. И школа, и диамат, и монополия всех без исключения способов информации — печати, радио и так далее — оказывается не в состоянии не только преодолеть религию, но и остановить ее рост. И это через сорок лет после установления диктатуры. А это значит, что религия в Советском Союзе оказывается единственным по значению и силе опровержением всей официальной идеологии. И тут возможна только борьба не на жизнь, а на смерть.

Книга читается с захватывающим интересом. Страницы о таинственной ликвидации Митрополита Николая, об его смерти, о похоронах — незабываемы, как незабываемы и страницы о народной религиозности, неумирающей несмотря ни на что.

Вот что в конце своей книги «Христиане в Советском Союзе» пишет Никита Струве: — «Церковь снова в подполье, в катакомбах... В своих официальных актах Церковь не пробует больше бороться с гонением. Время мужественных выступлений, время открытого отлучения отступников прошло. Все это слишком дорого стоило Церкви. Современные руководители Церкви — по необходимости, расчету или хитрости — проповедуют подчинение... **Врата адовы не одолеют Церкви** — это обещание Христа, которое уже столько раз верующие в Советском Союзе видели оправданным, повторяется как лейтмотив в посланиях патриарха, в проповедях епископов, в статьях журнала Московской Патриархии, в письмах и высказываниях верующих. Наши дни сравниваемы с тьмой Гефсимании... Церковь сознает себя живущей в Апокалипсисе».

А. Шеман

К. ПИГАРЕВ: *Жизнь и творчество Тютчева.* Изд. Академии наук СССР. Москва. 1962. Стр. 373.

Всегда приятно писать отзыв о серьезной хорошей книге. Вдвойне радостно, когда эта русская книга «оттуда», где столько лжи, вранья и передергиваний. Издания Академии наук СССР сплошь и рядом неаккуратны, с ошибками и плохо прокорректированы. (См., напр., издание «Героя нашего времени» М. Лермонтова).

Пигаревы известны, как собиратели и издатели разных материалов и статей о Ф. Тютчеве. Книга Кирилла Васильевича Пигарева прекрасно издана, с большим вкусом и пониманием книжного искусства. Дано пятнадцать иллюстраций, среди них портреты двух жен поэта и его любви — Е. Л. Денисьевой, по акварели работы Иванова. Кроме того, автор довольно обстоятельно познакомился и использовал «запретную» эмигрантскую и заграничную литературу о Тютчеве; тут и

Д. Чижевский, и Д. Стремоухов. Автором книги приведен и новонайденный архивный и эпистолярно-архивный материал, касающийся жизни и творчества великого лирика. Конечно, без Маркса-Энгельса нельзя, но и цитата из сих вождей-«пророков» к месту и ничего не портит.

Труд К. Пигарева сразу захватывает читателя огромным, старательно (кроха за крохой, камень за камнем) собранным материалом, настоящим знанием эпохи и своего предмета. К. Пигарев уже и в монографии о Д. Фонвизине показал себя серьезным и вдумчивым литературоведом, образованным и в области философии. Осторожность, порою крадущегося, замедленного подхода к ряду вопросов и проблем в изучении Тютчева исключительно удачна и примечательна. Разбор стихотворений, всех сколько-нибудь значительных, из наследия поэта дан и с их идейной и с чисто формальной стороны. Стих изучен до мелочей, ритм, размер, использование поэтом в стихе пиррихийев и т. п. проделано более, чем удовлетворительно. И всюду видна горячая любовь автора книги к избранному поэту, но это не слепая, а зрячая любовь, желающая знать правду, оценить человека со всеми его достоинствами и слабостями. Автор исключительно тактичен в обращении с работами предшественников, и это и приятно и достойно. Если я позволю себе нечто заметить о некоторых стихах Тютчева, то делаю я это не как упрек, а как привнесение и своей крохи в изучение и наслаждение лирикой поэта. Но прежде, чем говорить об этом необходимо подчеркнуть, что книга К. Пигарева — единственная (к большому стыду!) монография о Тютчеве в СССР. О Тютчеве после Аксакова следовало бы иметь не одну единственную, а ряд книг.

О связи Тютчевской лирики с «Пушкинской школой», о издании ряда стихотворений в «Современнике» под редакцией Пушкина давно и хорошо известно. Ряд сближений стихов обоих поэтов сделан по новому и в труде К. Пигарева. Например, сходные по теме и названиям стихотворения «Олегов щит». В своей книге «О лирике А. Пушкина» (1963, стр. 127-130) и я коснулся влияния стихотворения «Я помню чудное мгновение», на Тютчевские стихи «К. Б.». На стр. 244 это же стихотворение разбирает К. Пигарев с точки зрения влюбчивости поэта. Мне думается, что стихи о поэте Тютчева «Ты зрел его в кругу большого света» имеют в себе отзвук Пушкинских из «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон». В них есть и слово «дик» («рассеян, дик иль полон тайных дум») соответствующее Пушкинскому «дикий и суровый». Или в «Сижу задумчив и один». (1835 г.): «Но ты, мой бедный, бледный цвет, Тебе уж возрожденья нет», разве не отзвук стихов о листьях, весне и невозвратно уходящих годах в «Евгении Онегине»: «...сближаем думою смущенной мы увяданье наших лет, которым возрожденья нет». «Осенний вечер» Тютчева следует сравнить с «Осенью» Пушкина.

Но вот, что мне кажется: К. Пигарев прошел мимо влияния Б. Паскаля и Якова Бёме. Как не вспомнить «Мыслящий тростник» первого, читая стихи «...Душа не то поет, что море, — И ропщет мыслящий тростник?» (1865 г.). С Яковом Бёме Тютчев, вероятно, был знаком по лекциям Баадера и изданию трудов этого певца *Ungrund'a* и *Urgrunda* по изданию 1831 г. К. Шиблера.

Р. Плетнёв

«АВТОБИОГРАФИЯ» РУДОЛЬФА НУРЕЕВА.

RUDOLPH NUREEV. "Authobiography". Dutton. New York. 1963.

В Нью Йорке вышла прекрасно иллюстрированная автобиография Рудольфа Нуреева. Кто такой Нуреев — все знают. В прошлом это — один из ведущих артистов балетной труппы Ленинградского театра имени Кирова. Во время парижских гастролей этой труппы Нуреев отказался вернуться в Советский Союз и остался на Западе. Здесь Нуреев быстро выдвинулся в первые ряды мировых балетных танцовщиков. Теперь он ведущий артист лондонского Королевского балета и приобрел всемирную известность.

Талант Нуреева общепризнан. Но на Западе о Нурееве-танцовщике часто спорят. Одни, как например, парижский хореограф Сергей Лифарь или историк балета Мартин, почему-то пытаются умалить успех Нуреева в балетном искусстве. Другие, напротив, в танцах Нуреева видят — новое, «порыв освежающего ветра, ворвавшийся в классический балет наших дней», как писал один из балетных критиков. Среди так отзывающихся о Нурееве — выдающиеся знатоки балета, как, например, критик лондонского «Обсервера» Александр Бланд, один из редакторов ньюйоркского журнала «Данс магазин» Анатолий Чужой, директор балета Сити Сентер в Нью Йорке Линкольн Кирштейн, оформитель многих балетных постановок, театральный художник Евгений Берман и другие. По мнению последних, у Нуреева много бесспорных артистических достоинств. И, в частности, высокая техника балетного мастерства у Нуреева органически срослена с драматическим искусством.

Приведем отрывок из «Автобиографии» Рудольфа Нуреева. Нуреев пишет: «Наша повседневность насквозь пронизана драматизмом, и если этот драматизм живет во мне, то только потому, что я взял его из жизни, а не из книг. Я не спорю с теми, кто считают меня крайним индивидуалистом. Это верно. Я никогда не хотел быть таким, как все, раствориться в коллективе. Я инстинктивно рвался к независимости, к своей свободе и находил ее не в драматизме самой жизни, а в том, что помогало мне возвыситься, взлететь над ней... Я был еще очень мо-

лод, когда почувствовал, что именно танец может мне дать для этого музыкальные — лирические и романтические — крылья».

В этой же книге Нуреев предостерегает западного читателя от того, чтобы придавать политическую окраску его высказываниям об индивидуализме.

Рассказывая, как он начал с самодеятельности, а кончил тем, что стал ведущим артистом Кировского балета, Нуреев говорит, что на его пути, особенно в провинции, ему приходилось встречать немало танцовщиков, внешнее раболепие которых перед коллективом не мешало им быть высокомерными выскочками, презрительно относящимися к товарищам по работе.

Многие критики Запада отмечают, как большое достоинство Рудольфа Нуреева и его высокую простоту, которую ищут многие, но которая не всем дается и всегда бывает признаком подлинной артистичности.

«Автобиография» Рудольфа Нуреева — это необыкновенно искренняя книга, которая много говорит о жизни, о переживаниях, о настроениях советской молодежи. Эта молодежь всячески противится тем силам, которые стараются нивелировать ее индивидуальность и превратить человека в робота. Борьба за сохранение творческой индивидуальности против этих сил примитивного коллективизма и антикультуры характерна, конечно, не для одного Рудольфа Нуреева. В «Автобиографии» Нуреев пишет:

«Я не вижу ничего антисоветского в естественном для молодого артиста стремлении ознакомиться с незнакомым ему миром искусства. Разве можно считать предательницей птицу только за то, что она хочет перелететь из своего, так хорошо знакомого ей, сада в соседний сад, где все кажется новым и необычным. Почему я не могу самостоятельно принять решение, которое сделает недоступное для меня доступным. Пусть я был своенравен и недисциплинирован, но я не был изменник, когда я на свой страх и риск решил сравнить свое искусство с чужим и тем обогатить свой собственный творческий опыт... Что касается всякого искусства и искусства балета, в частности, то для всех видов искусства будет лучше, если артистам и художникам будет разрешено свободно общаться на всем земном шаре. Визы для въезда в искусство надо давно давать без всяких затруднений».

Нет сомнения, что эти мысли Рудольфа Нуреева разделяют многие люди искусства в Советском Союзе.

Вяч. Завалишин

АНДРЕЙ СЕДЫХ. *Замело тебя снегом, Россия*. Рассказы. Изд. «Нового Русского Слова». Нью Йорк. 1964.

Среди русских зарубежных писателей у Андрея Седых есть свое своеобразное место. Он по-преимуществу — писатель-юморист. И сейчас, когда ушли почти все зарубежные русские юмористы, — Аверченко, Тэффи, Черный, Дон Аминадо, — Андрей Седых остается, пожалуй, неким одним из последних могижан зарубежного юмора. Но юмор А. Седых — на свой лад. В его таланте никогда не было «резких углов», никакой издёвки над изображаемым, ничего зло-сатирического, никакого хохота. Юмор его всегда почти грустный, лиричный, подчас окрашенный библейским «суета сует, все суета и суета всяческая».

В отчетной книге по числу страниц большое место занимает описание А. Седых его путешествия по Испании. Это яркое описание. Прочтя его, многим, пожалуй, захочется полететь в страну Дон Кихота, в старый Мадрид, в Толедо, в Севилью и так далее. Но художественная тяжесть книги не в этом интересном описании путешествия по Испании. А в семи рассказах, написанных в обычной шутливо-грустной манере писателя. Излюбленные темы А. Седых — эмигрантские будни, эмигрантский быт, та «заметенная снегом Россия», которой он и ранее посвятил немало талантливых рассказов. И в этой книге — те же темы: неприкаянная старость Константина Алексеевича, эмигрантское приобретение и продажа «собственного дома, сантименты вокруг влетевшей в окно канарейки и другое. Особняком стоит рассказ из еврейской жизни «Пурим», во многом напоминающий новеллы И. Бабея.

Говоря о прозе А. Седых мне хотелось бы отметить некоторые из ее неоспоримых достоинств. Первое — у А. Седых есть умение «вести рассказ», именно то умение, за отсутствие которого когда-то упрекали русскую литературу «Серапионовы братья», и чему придавал большое значение Е. Замятин. У А. Седых рассказ всегда крепко дан, и это действительно *рассказ* о каком-то интересном событии, захватывающем читателя, а не рыхлый очеркизм и не утопающие в тонах и полутонах «эссэ». Нет, тут всегда есть «история», всегда есть для читателя полезная пища и за рассказываемым событием он невольно будет следить, и будет их захвачен. И второе достоинство этой прозы — точный, выразительный язык, без всяких лишностей, без всех этих избыточных «кто, что, который». Экономный язык: лучшие слова в лучшем порядке. Вы естественно чувствуете, что у

этого писателя рука опытная и есть тот вкус к прозаическому повествованию, отсутствие которого — бич множества прозаиков.

Отчетная книга А. Седых читается с удовольствием и отдохновением.

Р. Гуль

АННА КАШИНА-ЕВРЕИНОВА. *Н. Н. Евреинов в мировом театре XX века.* Париж. 1963.

Театралы всего мира хорошо знают Н. Н. Евреинова, как режиссера, драматурга, знают его философию театра. Отчетная книга нужна будет всякому, кому интересна история русского театра и, в частности, тому, кого интересуют творчество и биография Н. Н. Евреинова. Правда, заглавие книги не совсем соответствует ее содержанию. Сама А. А. Кашина определяет цель этой книги так: — «осветить деятельность Николая Николаевича Евреинова, одного из выдающихся представителей русского театра 20-го века, за время его пребывания за границей». Вот именно этому периоду — работе Н. Н. за границей (с 1925 года по 1953-й) и посвящена эта книга.

Книга читается с большим интересом и благодаря талантливому изложению и благодаря интересным фактам славы и терний замечательного режиссера Н. Н. Евреинова. Из нее читатель узнаёт как много за 28 лет жизни за границей Евреинов потрудился как драматург, постановщик, лектор и наконец как автор книг по театру. Достаточно сказать, что известная пьеса Евреинова «Самое главное» переведена на 23 языка и шла в 24 странах. А книги о Евреинове или книги, где много говорится о философии театра Евреинова, изданы на всех главных европейских языках.

Очень хорошо, что Анна Александровна придала своей книге характер живого непосредственного рассказа. История начинается с ее раннего знакомства с ее будущим мужем Н. Н. Евреиновым. С того дня, когда впервые во время Кронштадтского восстания Евреинов пришел на квартиру А. Кашиной и сразу же «наповал» влюбился в Кашину, и сделал ей немедленное предложение выйти за него замуж. А потом — и страдный и славный двадцативосьмилетний путь эмигрантской работы, где Евреинов знавал и большой успех и тяжкие неудачи.

Прекрасно описан отъезд из России 1925 года, прощанье с Псковом. Потом — Варшава, Прага, Париж и наконец Америка. И опять — Париж, годы полного преуспевания, постановка Евреиновым «Снегурочки» и «Царя Салтана» для Русской Оперы князя Церетелли и другие успехи. Но затем пошли годы неприятных кинематографиче-

ских неудач, когда под влиянием одного дельца, «злого гения» — «Евреинов все меньше и меньше интересовался театром, больше думая о кинематографических гонорарах». Но все эти «бизнесы антиискусства» были не в природе Евреинова, он был только художник. И, конечно, из астрономических кинематографических гонораров ничего не вышло. Об этом времени Анна Кашина пишет с болью, ибо воображаемые гонорары, сулимые «злым гением», увели большого артиста от его единственного жизненного дела — от театрального искусства. Кончается книга описанием последних лет жизни Н. Н. в Париже.

Книга о Евреинове читается с жадностью. И хорошо, что в ней много прекрасно выполненных портретов Н. Н. и других иллюстраций к его жизни и творчеству.

Р. Гуль

ИСПРАВЛЕНИЯ

В кн. 75 «Н. Ж.», в статье Ю. П. Иваска «Волшебные звуки», на стр. 159-й 18-я строка сверху должна читаться: «В стихотворении «Бой» он 'нанизывает' свистящие с». Кроме того, Ю. П. Иваск просит нас исправить допущенную им ошибку на стр. 162-й, «Ведь диминутивов в классической латыни нет». В классической латыни диминутивы встречаются, хоть и значительно реже, чем в русском языке.

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- Т. А. БЕРЕЗНИЙ — Жемчужины русского поэтического творчества. Избранные стихотворения от конца 18 века и до нашего времени. Нью Йорк. 1964 (350 стр.) .
- СЕРГЕЙ ШАРШУН — Неприятные рассказы. Изд. «Вопрос». Франкфурт н/М. 1964.
- С. П. МЕЛЬГУНОВ — Воспоминания и Дневники. Вып. I и вып. II. Париж. 1964.
- ВИКТОР БУЛИН — Как жил Человек. Повесть. Изд. автора. Кливленд. 1963.
- “ARENA” — 17 January 1964, 3/6. Published by PEN Center for Writers in Exile. London, England.
- ANNALI — Sezione Slava. V Istituto Universitario Orientale. Napoli, 1963.
- АРХИЕПИСКОП ИОАНН С. Ф. (Шаховской). Листья Древа. Опыт православного духоведения. Нью Йорк. 1964.
- VICTOR ERLICH — The Double Image. Concepts of the Poet in Slavic Literatures. The Johns Hopkins Press. Baltimore. 1964.
- ISAAC DON LEVINE — I Rediscover Russia (1924-64), Duell, Sloan and Pearce. N. Y. 1964.
-
-

.....

“Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л”

под редакцией

Р. Б. ГУЛЯ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАСHEВА

ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ ГОД ИЗДАНИЯ

●

В 1964 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

●

Подписная цена 9 долл. в год (за 4 книги)

Цена одной книги — 2 дол. 25 цент.

Во Франции — 8 франков.

●

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway

New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня.

.....